

КОРОТКИЙ МИГ УДАЧИ

НИКОЛАЙ КУЗЬМИН

НИКОЛАЙ
КУЗЬМИН



КОРОТКИЙ
МИГ
УДАЧИ



НИКОЛАЙ
КУЗЬМИН
**КОРОТКИЙ
МИГ
УДАЧИ**

*ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ*

Художник Ю. Баранов

МОСКВА
„СОВЕТСКАЯ РОССИЯ“
1982

P2
K89

К $\frac{4702010200-150}{M-105(03)82} 121-82$

ПОВЕСТИ







КОРОТКИЙ МИГ УДАЧИ

В твоём последнем стремительном повороте не было чувства страха, через несколько секунд после него ты встретил неизбежную судьбу, такую же холодную, как снег на твоих лыжах, и тебя не стало. Твои глаза закрылись навсегда. Но в свете близкой победы они уже видели высшую цель.

Эпитафия Илио Колли,
разбившемуся
в Кортина д'Амнеццо

У того, кто шел впереди, на спине громоздился большой, тяжело набитый рюкзак. Второй тащил две пары горных лыж, увязанных ремнями. Они шли молча, сильно согнувшись, ступая след в след. Двое других поднимались валежке. Журналист, собираясь в горы, взял у знакомых туристские ботинки и нарядную теплую куртку с капюшоном. Поднимался он неумело: часто перебегал с одной обочины на другую, перепрыгивал грязь и ручьи и скоро стал задыхаться. Четвертый, хирург, шел экономно, как человек, который не первый раз в горах.

Двое впереди, с рюкзаком и лыжами, свернули с раскисшей дороги на узкую тропу, глубоко протоптанную в сыром оседающем снегу, и пошли куда-то в сторону. Не оглядываясь, они продолжали идти размеренно. Журналист остановился и подождал, пока подойдет товарищ. Надоевшую куртку он все чаще откидывал с плеч, подальше от горевших щек и страдальчески вертел головой, стараясь вздохнуть поглубже.

— Подъемчик...— проговорил он, унимая вздымавшуюся грудь. Он оглянулся вниз, на далекий, застланный туманом город, и перевел глаза вверх, куда уходила черная грязная дорога.

— Устал?

Журналист, держась обеими руками за грудь, покрутил головой.

— Колет немного.

— Еще два поворота,— сказал хирург, не останавливаясь.

На тропу за лыжниками он не свернул, а пошел по самому краю размокшей дороги, ступая в натоптанные следы. Журналист, балансируя руками, побрел через дорогу, выбрался на снег и принялся топать и елозить ботинками, счищая налипшую грязь.

Когда они поднялись на базу, лыжники, свернувшие на тропу, были уже там. Разувшись, ребята сидели на низенькой лавке у стены домика и с наслаждением шевелили пальцами босых ног. На солнцепеке земля подсохла, ноги лыжников с закатанными до колен штанами покоились на валявшихся ботинках. Рядом, на лавке, сохли носки. Когда хирург и журналист, оступаясь в талом, взявшемся водой снегу, проходили мимо, лыжники лениво повернули головы, но глаза почти не открыли: разомлели. Журналист, удаляясь, раза два оглянулся.

База состояла из десятка маленьких, обитых шифером домиков. Кое-где были открыты настежь окна, и на подоконниках, ногами внутрь, замотав головы майками, сидели парни, подставляя солнцу здоровенные голые спины.

Из крайнего домика, куда направлялся хирург, вышел высокий, очень загорелый и очень седой, совсем белоголовый лыжник в ярко-голубых брюках, сильно натянутых штрипками.

— Вадим Сергеевич!— обрадовался он.— Почему же не позвонили?

— Здравствуй, Сережа,— устало проговорил хирург, пожимая ему руку. Он глубоко вздохнул, впервые за всю дорогу, и снял большие темные очки.

Журналист, отдыхая, выжидающе стоял поодаль. Хирург сделал ему знак подойти.

— Познакомься, Сережа. Хочет написать о последних соревнованиях.

Стремясь поскорее завязать сердечные отношения, журналист осклабился и долго тряс седому лыжнику руку. Ни улыбка, ни затянувшееся рукопожатие не понравились Седому. Он бесцеремонно высвободил руку и насмешливо спросил:

— Конечно, напишется что-нибудь капитальное: с выводами и прогнозами?

— Может быть, может быть,— с наигранным радушием отвечал журналист, профессионально не замечая неприязни.

Седой отвернулся от него и тронул хирурга за локоть:

— Удивительно, но почему-то именно в спорте каждый считает себя глубочайшим специалистом. Ни в одной области нет таких эрудитов, как в спорте!..

Они подошли к домику, и Седой стал ждать, пока гости соскребали грязь с ботинок.

— Он что, псих?— украдкой спросил обидевшийся журналист.

— Потом,— обронил хирург и пошел в домик.

— Сюда,— показывал Седой.— Прямо и направо. Да вы же знаете.

На крылечке, часто поплеывая в баночку с кремом, сидел на корточках и яростно чистил огромные горболыжные ботинки парень с могучими руками, в майке и вязаной шапочке. Он привстал и посторонился, давая журналисту пройти. Помпончик на его шапочке свешивался до самого плеча. Журналист залюбовался богатырским торсом парня.

— Голиаф!— восхищенно проговорил он в коридоре.— Вадим, ты обратил внимание?

Седой толкнул ногой тонкую фанерную дверь.

— Позвонили бы заранее, я бы все приготовил. Ну, комнату мы вам сейчас организуем. Вот, нравится? Потом скажу ребятам, чтобы принесли постели.

— Как снег, Сережа? В городе совсем сухо.

— Утром подмораживает. Самое лучшее с одиннадцати до двенадцати.

— Жеребьевки не было?

— Вечером.

— Желаю счастливого номера.

Седой скоро ушел, предупредив, что зайдет перед ужином. Гости остались устраиваться. В комнате стояли три пустые

койки. Вадим Сергеевич зачем-то проверил, надежно ли стоит койка, снял куртку, постелил и лег. Потом, морщась, завозился и положил ноги в ботинках на спинку. Журналист некоторое время смотрел, пригнувшись, в окно. Прямо от домика начинался отлогий, бесконечно белый склон. Далеко вверху виднелись опоры канатной дороги. Солнце заливало склон, горы и ущелье, тянувшееся, как можно было разглядеть, мимо базы и дальше вниз. На самом верху склона, где начиналось яркое, густых и свежих красок небо, сверкал гребень перевала. Снизу, из города, из окна прокуренной редакции, журналист часто заглядывался на его далекое, недостижимое сверкание. Отсюда перевал казался близким, он был хорошо виден, весь закрытый вечным снегом. Оттого что можно было отчетливо разглядеть, какой это нетоптанный, тысячелетний снег, перевал еще больше, чем снизу, казался недостижимым. Журналист подумал, не распахнуть ли окно, однако открыл только форточку. Сухой воздух приятно покалывал в горле.

В домике стоял крепкий запах лыжной мази и сапожного крема. Видимо, так пахло во всех комнатах, во всех домиках. Запоминая все это как начало будущего репортажа, журналист сел на койку и, расставив толстенькие ноги в неуклюжих ботинках, привалился спиной к горячей батарее.

— Смотри, здесь еще топят.

Его спутник, не открывая глаз, лежал молча.

— Слушай, Вадим, это не тот ли, случайно, Сергей Максимов, который выступал в Италии? Я помню, что-то писал о нем и... об этом... австрийце, что ли? Ну, который все золотые медали на Олимпиаде собрал.

— Тот самый,— сквозь дремоту ответил хирург.— Седой тогда был в сборной. В Италии ему не повезло — сломался. Австриец подарил ему свои очки и шапочку.

— Это когда Илио Колли разбился?

— Примерно...

— Ага, теперь вспомнил. А очки эти еще у него?

— Конечно. Прекрасные очки. Штучная работа. Таких нет ни у кого.

— Хорошая деталь для нашего брата,— записывая что-то в блокнот, заметил журналист.— Ты меня вообще-то просвещай, старик. А то я во всем этом... слабовато. Кое-что почитал, правда, поднахватался, но — мало. А у меня, признаться, одна мыслишка проклеивается. Антуражу не хватает, спецфики, деталей. Понимаешь?

— Завтра нахватаешься,— сонно отозвался Вадим Сергеевич, недовольно дернув щекой.

Журналист заметил это и обиделся.

— Ладно, ладно, дрыхни. Психи вы все тут какие-то!..

Сырой туман, поднимавшийся каждую ночь из долины, остановился на полдороге к базе. Над городом внизу висела плотная пробка тяжелых испарений, горы же оставались чистыми всю ночь, четко обозначаясь своими изломами на аспидном безоблачном небе. Низко над домиками горели крупные ясные созвездия. Далекий город угадывался отсюда по смутным россыпям огней.

— Постоим, если не возражаешь,— разнеженно предложил журналист, запахиваясь в куртку и натягивая на голову капюшон. С наслаждением вдыхая сухой морозный воздух, он не отрываясь смотрел на очень близкие звезды. Здесь, в горах, они казались крупнее, чем оттуда, снизу.

— Как дышится-то, а?..

Вадим Сергеевич без всякого интереса посмотрел вверх, потом раззевался и махнул рукой:

— Пошел я.

Огорченный журналист потащился следом.

— Ну, старик,— сказал он,— что-то ты совсем...

В клубе, откуда они вышли, не переставая играла радиола. Танцующие были в грубых тяжелых ботинках, толстых свитерах и туго натянутых брюках. Танцевали медленно, глаза в глаза. Не очень ярко светили две лампочки без абажуров. Табачный дым слоился под низким потолком.

Хирург, поглядывая на танцующих, разговаривал с Седым. Только что состоялась жеребьевка завтрашних соревнований, и Седой, пришедший в клуб прямо с заседания судейской коллегии, был недоволен. Судейская коллегия, боясь, что весеннее солнце быстро испортит подмороженный за ночь склон, разбила всех участников соревнований на две группы. В первую вошли те, от кого ожидалось хорошие результаты. Они стартуют первыми. Седого включили во вторую группу.

— Чинуши проклятые!— ругался он.— К тому времени каша будет, а не склон. Пустить бы их самих по этой каше, посмотрел бы я!..

При тусклом свете лампочек лицо Седого казалось темным, словно у индейца, сильно обозначились скулы и белела, как неживая, сплошная седина на голове. Рассказывая, он поглядывал в дымную толчею тесного зала, где обращала на себя внимание красивая танцующая пара: стройная женщина в изящных брючках и молоденький парнишка, отчаянно жмурившийся от закушенной сигареты. Пышные волосы женщи-

ны перехватывала широкая лента, держалась она прямо и спокойно, руки ее лежали на узеньких мальчишеских плечах партнера. Вадим Сергеевич дружески помахал женщине и потом несколько раз ловил ее нетерпеливый озабоченный взгляд, направленный в их сторону.

— С кем это Марина?— спросил Вадим Сергеевич, наблюдая за танцующей парой.— Я его что-то не знаю.

Седой взгляделся.

— Зверь малый. В прошлом году на Чегете попал в десятку. Через пару лет он многим накатит.

— Растут, выходит, пацаны?

— Ого, еще как! Вот посмотришь завтра.

— Ну, завтра я болею за тебя.

— А!— снова расстроился Седой.— Толку-то!..

Ласково разглядывая индейское, сожженное на горном солнце лицо немолодого лыжника, Вадим Сергеевич не заметил, как подошли, оставив танец, женщина со своим молодым партнером.

— Сережа, я тебя совсем потеряла!— заявила женщина, приветливо кивнув хирургу.— Как сквозь землю провалился!

— Чего ты выдумываешь?— терпеливо возразил Седой.— Никуда я не проваливался. Просто был на жеребьевке.

— Ну и?..— она вопросительно умолкла.

Седой помялся.

— Да так... Неважно, в общем.

Женщина неожиданно рассмеялась и, взяв Седого под руку, прижалась щекой к его плечу.

— Расстроился? Все к лучшему, милый, все только к лучшему. Просто бог услышал мои молитвы. Пора ведь и о нас с Максимкой подумать. А то он скоро тебя дядей будет называть. Слышишь?— дядей.

— Глупости ты говоришь, Марина!— с досадой упрекнул ее Седой, быстро взглянув на хирурга. Мальчишка, стоявший в сторонке, почувствовал себя совсем лишним.

— Почему глупости?— обиделась Марина и, словно призывая их в свидетели, посмотрела на молчавшего хирурга и на своего партнера по танцам.— Нет, милый, откатался свое, и хватит. Хватит, хватит и хватит! Сколько можно? Вадим Сергеевич, скажите хоть вы ему — до каких же пор? Устала я. Устала, как раб, как... не знаю кто. От одного массажа устала. Взгляните на мои руки. Это что — разве это женские руки? Грабли...

— Марина...— с нажимом в голосе остановил ее Седой.

Некоторое время они гневно смотрели друг другу в глаза. На них оглядывались танцующие в зале.

— Может быть, мы все-таки обойдемся без семейных сцен? — произнес вполголоса Седой.

Марина взялась за виски и легонько потрясла головой.

— Ах, как мне все это надоело!.. Идемте, — вдруг обратилась она к смущенно дожидавшемуся мальчишке и, схватив его за руку, потащила в круг танцующих. — Идемте, идемте. Я хочу танцевать. Веселиться так веселиться!

Увлекаемый ею мальчишка несколько раз умоляющими глазами взглянул на расстроенного Седого, и скоро они затеялись в толчее зала. Вадим Сергеевич украдкой посмотрел на своего собеседника. Седой, опустив голову, покусывал губы.

Внезапно в углу, где стояла радиолa, возник шум и привлек внимание Седого и хирурга. Шумели зрители, державшие пари. Кто-то из лыжников затеял спор, что сделает сто сорок приседаний на одной ноге. На эту удочку обычно попадались малоопытные люди, не знавшие, что для тренированного горнолыжника такое упражнение не представляет трудности. Вадим Сергеевич увидел издали мелькающую голову спортсмена. Руки на бедрах, с ногою на весу, вихрастый парень без усилий, словно мячик, садился и подскакивал, садился и подскакивал, — счет перешел уже за сотню...

Понаблюдав, что там происходит, Вадим Сергеевич дружески стиснул плечо Седого, призывая его забыть неожиданную выходку Марины. Седой признательно вздохнул: «М-да, такие вот дела...»

Чтобы переменить разговор, он окончательно повернулся спиной к залу и спросил о журналисте, спутнике хирурга.

— Вот не люблю братию! — признался он, как бы извиняясь за свою неприветливость при знакомстве. — Ничего не могу с собой поделать.

Вадим Сергеевич молча прикрыл веки, в знак того, что все помнит и понимает его. Речь шла о давнем случае, когда один газетный корреспондент, писавший о соревнованиях за рубежом, объяснил хроническое отставание советских горнолыжников не чем иным, как трусостью на сложных альпийских супертрассах. Вадим Сергеевич читал этот отчет и знал, с какой обидой восприняли спортсмены несправедливый тот упрек. Он считался завсегдатаем соревнований горнолыжников, несколько раз вызывался быть врачом на базе и превосходно знал этих отчаянных людей, по существу играющих своим здоровьем, своей жизнью. Каждый учебный спуск, любая рядовая тренировка могли окончиться тяжелыми увечьями, если не ги-

белю,— ведь скорости на склонах, крутых, ухабистых, порой обледенелых, превосходили сотню километров в час. Бывая на соревнованиях, Вадим Сергеевич сам много раз спешил к месту падения и наспех, на живую руку накладывал повязки с шинами. Сломавшихся спортсменов спускали быстро в город, и там, в операционной, он долго, скрупулезно собирал изломанные кости,— тяжелый инвентарь, как правило, вел к сложным переломам.

Корреспондент, писавший о соревнованиях, конечно же, судил поверхностно и скороспело. И все же, как сознавал Вадим Сергеевич, в отчете был затронут профессиональный недуг горнолыжников. Неторопливый и спокойный наблюдатель, он много раз бывал свидетелем того, к каким психологическим последствиям ведут жестокие падения на трассе. После лечения спортсменам приходилось убивать немало времени и сил, чтобы преодолеть в себе мучительный барьер и снова обрести свободное и вдохновенное владение умом и телом на самом трудном склоне. И часто, слишком часто он наблюдал, как слаб оказывался человек — страх был сильнее всех его услий.

Перед глазами у него всегда была погибшая судьба Максимова, теперь немолодого и потрепанного неудачами, а некогда счастливого соперника самых известных, самых именитых. Седой сломался на знаменитой Стратофане, итальянской супертрассе чемпионов и самоубийц, сломался накануне зимних Олимпийских игр, когда в командах всех без исключения стран проводилась селекция окончательного состава участников.

Соревнования в Италии вошли в историю как «мясорубка»: из всех принявших старт до финиша дошла едва ли четверть. А ведь на Стратофане стартовали асы мирового спорта! Элита отдыхающих, собравшаяся той зимой на модном альпийском курорте, получила острое и пряное, незабываемое зрелище.

Русские горнолыжники за рубежом еще ни разу не были сильнейшими, и вся советская команда болезненно ощущала на себе общее пренебрежение зрителей. В отеле, где разместились участники соревнований, было шумно, многоязыко, даже ослепительно, жадные до впечатлений зрители узнавали знаменитых лыжников, газеты много писали о французах, японцах, итальянцах и особенно о загадочном австрийце, который на протяжении вот уже нескольких лет блистательной спортивной карьеры всячески избегал шумихи вокруг своего имени, чем еще больше подогревал азарт пронырливых газет-

речи Седому послышалась откровенная насмешка.— Опять будут только в пятом десятке.

Взглянув на лицо русского спортсмена, «мадам Смерть» вполголоса обронила:

— Тише. Мне кажется, он все понял.

— Он?— репортер с улыбкой оглянулся.— Вы меня смешите, дорогая.

В огромных вертящихся дверях отеля показался австриец, тот самый — знаменитость, чемпион, победитель многих международных трасс, и репортер, скользя как по льду, полетел к нему навстречу.

Чемпион был в легких башмаках для бега, в свитере и шапочке, он возвращался с ежедневной пробежки. Простонародное лицо австрийца казалось утомленным, как после целого дня работы. Пересекая холл, он что-то ответил донимавшему его корреспонденту, и тот обрадовался, будто подарку, и немедленно застрочил в блокноте. Так уж велось в эти дни — газеты писали даже о причудах чемпионов. Об австрийце было известно все. Обитатели курорта знали, что каждый день, в любую погоду, он обязательно бегаёт около часа. Здесь его маршрут от отеля до «Фонтана дев» и обратно. Выступает австриец только на лыжах фирмы «Кнайсл». Сообщалось также о его снаряжении: перчатках, куртках, рейтузах, ботинках, даже об очках, не менее знаменитых, чем он сам, подарке не то какой-то кинозвезды, не то известного общественного деятеля...

Австриец скрылся в лифте, уехал наверх, и Седой увидел в холле своего соседа по номеру, тоже молодого, такого же, как и он, с надеждами на будущее лыжника. Попав впервые за рубеж, парнишка помешался на зажигалках. Каждую свободную минуту он мыкался по холлу, крутился в баре, высматривал и приставал с настойчивыми предложениями поменяться, вытаскивая из кармана полную горсть значков. «Камрад,— все бойчее тараторил он и ловко цеплял на грудь владельцу зажигалки несколько значков.— Россия... Кремль... Сувенир!..» В первый же день он удивил Седого хозяйственной немальчишеской смекалкой. В каком-то магазинишке возле отеля он разузнал, что за девять оптом купленных брюк хозяин выдает десятые бесплатно, и он уговорил команду, собрал деньги и как наградой за свою находчивость обзавелся, не затратив ни копейки, нарядными заграничными брюками.

Седому он в тот день признался с сожалением:

— Меня еще в Москве предупредили, что здесь хорошо идет наша оптика и водка. Не подготовился, дурак! А на

Олимпиаде, говорят, вообще потрясающие гешефты можно провернуть. Чемодан икры увези — машина!

Пока что он набивал чемодан зажигалками.

Через стеклянные вертящиеся двери мимо поклонившегося швейцара проследовал один из обитателей номеров бельэтажа, невысокий надменный красавец со щегольскими злодейскими усиками на загорелом лице. Распахнутая доха его была осыпана снегом, — погода портилась. «Мадам Смерть» со своим спутником издали радостное восклицание. Красавец, пышущий здоровьем, снял шляпу и подошел. Улыбка из-под усиков, дружеская болтовня, как равной, достались даме, спутнику ее — лишь снисходительно протянутая рука. Впрочем, тот был и этим осчастливлен. «Мадам Смерть» спросила сигарету, красавец, не переставая улыбаться и говорить, учтиво щелкнул зажигалкой.

В этот момент красавца кто-то бесцеремонно тронул за плечо.

— Камрад!.. Россия... Сувенир!..

Сначала красавец был шокирован и удивлен. Чего от него добывается этот плечистый и нахальный молодец с целой горстью какого-то металлического хлама? На помощь ему поспешил бельгиец, которому любитель сувениров уже успел примелькаться. Брезгливо вздернулись надменные усики красавца. От зажигалки он избавился, как от испачканной вещи, и теперь возмущенно отпихивался от значков, которые молодец настойчиво цеплял к его дохе. И снова его выручил расторопный бельгийский репортер. Сначала он показал нахальному молодцу, что — хватит, хватит, получил и уходи, пожалуйста, затем сделал знак швейцару, с самого начала тревожно наблюдавшему за всей сценой.

Швейцар величественно повел любителя сувениров к столу с журналами, за которым сидел Седой. Красный от стыда, любитель сувениров пытался отделаться от своего представительного сторожа:

— Да иди ты от меня! Что я — пьяный? Серега, ты же волокешь по-ихнему. Скажи ему, барану!

Швейцар, однако, не отстал, пока не сдал его с рук на руки, как нашкодившего мальчишку. Парень обрадованно, как в убежище, забился в глубокое мягкое кресло.

— Лопочут что-то, лопочут — ни черта не поймешь... А зажигалочка — люкс! — Довольный приобретением, он подбросил на ладони металлическую фигурку обнаженной женщины. — Видал? Шик-блеск!

Седой, не в состоянии забыть брезгливого шевеления уся-

ков, стыдась перед швейцаром и перед всеми, кто не назойливо, но зорко наблюдал со всех концов за происшествием, вполголоса выругался и встал.

— Нашел камрадов, дурак! Пошли давай домой.

Светлые глаза любителя сувениров выразили ясное непоколебимое удивление.

— Да в гробу я их видел, в белых тапочках!— И он пожал своими широченными плечами.— Что мне с ними — детей крепить?

— Лыжи бы лучше проверил,— настаивал Седой, дожидаясь, пока тот поднимется из кресла.— На окантовку еще в Москве жаловался.

Не переставая любоваться зажигалкой, парень беззаботно махнул рукой:

— Ты что, на собственные похороны торопишься? От Колли, говорят, один блин остался. А он нам всем на одной ноге накатил бы. Да и погода — выйди, глянь...

...Соревнования на Стратофоне открывались скоростным спуском, и в этот день в Альпах разыгрался ураганный ветер. Стрелка термометра спускалась к тридцати Альпини, итальянские горные стрелки вдоль трассы под укрытием скал жгли щедрые костры, и дым пылавших бревен мешался с жесткою поземкой, переметая льдистый склон. Эти сугробы плотного, спрессованного ветром снега известны у спортсменов под названием «тупого снега», он словно смешан с песком и резко гасит скорость, схватывая лыжи. Вот на такой же трассе в канун соревнований, не справившись с замипкой на «тупом» снегу, разбился о гигантскую сосну известный горнолыжник Илио Колли.

Неудачи начались с того, что первых стартовавших сорвало ураганом с трассы. Зрители, скопившиеся на самых каверзанных участках, истерично вскрикивали и своим привилегированным любопытством сильно мешали врачам и спасателям.

Японец, взявший второй приз, летел по склону с отчаянием камикадзе, он продержался чудом и после финиша, еще в запале сумасшедшей гонки, весь в снегу, насквозь продутый ветром, стужей, с заледеневшими губами, только и сказал обступившим его репортерам, что спуск в таких условиях — это «харакири с разбега». Вечером, на церемонии вручения наград, он был уже совсем иным — изыскан, вежлив, неулыбчив, но и тогда, привычно щурясь от вспышек фотоаппаратов, он твердо заявил, что дети его никогда не будут горнолыжниками.

Перед Максимовым ушел со старта плечистый молодец, любитель сувениров, — «Купец», как стали звать его в команде после истории с зажигалками. Спортсмен с тяжелой массой всегда имеет преимущество на спуске — сильней разгон и выше скорость, и этот лыжник был единственной надеждой русских на мало-мальски удовлетворительное место. Вчера на совещании у руководителя команды Купец заверил клятвенно, что оправдает, не подведет, приложит максимум усилий. Он подкреплял надежды и сегодня. Руководитель, тренер, врач, ребята из команды готовили его, как к бою. Затянутый, закованный в тяжелые спортивные доспехи, он выкатился к старту, словно заряженный снаряд. И странно было видеть, как после вчерашних заверений, после всех надежд и сборов начал он дистанцию.

Купец не рад был преимуществам своего веса. Едва попав на трассу, он сразу же поставил лыжи боком и сбросил скорость, и как только из-под его ног взорвался первый вихрь снега, в толпе зрителей послышались насмешки. Седому показалось даже, что в иностранной болтовне проскакивало что-то насчет заглавных крупных букв названия страны на куртке лыжника... Купец, однако, выдержал характер до конца. Не забывая частыми глиссадами гасить головокружительную скорость, он упирался изо всех своих немалых сил, боясь этого жадного, разгонистого склона, по которому недавно отчаянный, летевший, как болид, Илио Колли пронесся к последней секунде своей жизни. Он выдержал всю эту трудную, убийственную трассу, счастливо миновал опасные места, но финишировал под хохот, свист и улюлюканье толпы.

Седой все это слышал, видел и, стиснув зубы, ждал своего номера. Он понимал, что Купец, не видя шансов на успех, не хочет понапрасну рисковать, ибо падение — это увечье, долгое лечение, а значит, отчисление из сборной, но, вспоминая, как заверял вчера Купец товарищей, с каким волнением он обещал не подвести и оправдать доверие, Седой считал, что такой обман, такая низменная расчетливость граничит с предательством.

У самого старта, подняв воротники от ледяного ветра, расположилась группа, знакомая Седому. Красавец в подпоясанной дохе топорщил усики и зябко поводил плечами. Выступление Купца его даже не позабавило. Он был простужен, сердит и невежливо отворачивался от мертвой маски спутницы неунывающего бельгийца, — сегодня, на морозе, она синюшностью застывшего лица как никогда оправывала свое курортное прозвище. Красавца оживил серебряный стаканчик,

налитый бельгийцем из фляжки. Не снимая перчатки, он махнул его в рот, поперхнулся и, пережидая набежавшую слезу, дул в усы и пялился на лыжника с громадными буквами на груди. Передохнув, красавец ткнул в сторону лыжника пустым стаканчиком и что-то спросил. Бельгиец засмеялся, поворотился спиной к Седому и стал показывать вниз, на трассу, где только что закончилось позорище Купца.

«Гады!— Седой разозлился.— Ну, погодите...»

Раздалась команда стартера, и он ринулся с такой решимостью и сразу же набрал такую скорость, что знатоки и все, кто наблюдал, умолкли, в недоумении протерли очки. На грубых, неуклюжих лыжах, с варварскими примитивными креплениями, русский горнолыжник своей отчаянной отвагой напоминал последнего защитника державшейся в осаде крепости. Смех у костров пропал, все с интересом поспешили ближе к трассе. В поступке русского спортсмена угадывалось гораздо большее, чем жажда приза.

Седой все же упал, сорвался там, где билсь самые искусные и смелые. Но все равно — его полет по Стратофане отмечен был как подвиг, и некоторые доброжелательные репортеры припомнили для параллели самые кровавые недели начального периода большой войны России с немцами. И только наш корреспондент в своем скупом отчете о первом дне соревнования отметил, что из двух стартовавших на Стратофане кое-какой результат показал лишь Купец, а Максимов так вообще не закончил дистанцию. И это язвительное «вообще» больнее всего оскорбило покалеченного спортсмена.

Победителем трассы, как и ожидалось, стал австриец. Через несколько дней, когда курорт очистился от назойливых репортеров, он неожиданно нанес визит Максиму в больницу.

В палате Седого, светлой, солнечной, окнами на снежный склон горы, австриец столкнулся со всей советской командой, уезжавшей на завтра в Швейцарию, на новые соревнования. Пока в дверях палаты кипела вежливая суматоха узнавания, знакомств и поздравлений, Седой оправился от удивления и спокойно встретил знаменитого гостя.

В больничной палате прославленный чемпион чувствовал себя с такой же будничной уверенностью, как и на склоне. Взглядом знатока окинул он уверенного в бинты и гипс спортсмена, ногою ловко пододвинул себе стул и сел так, чтобы лежавшему не приходилось поворачивать головы. При близком знакомстве он вообще оказался парнем добродушным и компанейским. Разговор шел на английском, и безыскусная речь австрийца выдавала в нем человека, изучившего чужой

необходимый язык в случайных коротких поездках, в пестрой утомительной суете переполненных отелей. Иногда, подыскивая слово, чемпион краснел, как мальчишка на экзамене, и, нетерпеливо прищелкивая пальцами, ждал подсказки. Однако обиходной речью он владел уверенней и часто употреблял жаргонные словечки, которых русский лыжник не понимал.

Седого не обмануло первое впечатление от простонародного лица австрийца — отец его, как оказалось, был рабочим. «Хорошим рабочим», — подчеркнул австриец, подняв палец. «Квалифицированным», — подсказал Седой, и гость обрадованно закивал: «Да, да, именно!» Уважение к русским, рассказывал он, у него как раз от отца. Однажды в лагере при оборонном заводе, где работал отец, русские военнопленные с голыми руками пошли на охрану. Почти все они погибли, но несколько человек сумели вырваться и уйти в горы. Эти люди затем хорошо воевали в итальянских отрядах партизан. Одно время об этом много писали в газетах...

Австриец не скрывал, что в жизни ему здорово повезло. Он один из тех, кому посчастливилось прорваться в большой спорт. Он поймал свой миг удачи. Талант? Может быть. Но он-то знает — чтобы удержаться в спорте, одного таланта мало, пужно все время... как это? — да, да, режим! Всю жизнь режим! Иначе удача отвернется. Это трудно, но — что делать? Спорт — хороший, превосходный заработок. Если бы не лыжи, его семье пришлось бы туго. Отец состарился, инвалид. Растут сестренки. И пойди он на завод, стань рабочим даже такой квалификации, как отец, он не имел бы и сотой доли своих нынешних доходов. А лыжи не только кормят его со всей семьей, но и позволяют обеспечить будущее. Вот он катается и выигрывает призы на лыжах фирмы «Кнайсл». Об этом трубят газеты, и это, прежде всего, прекрасная реклама для хозяина фирмы. Понятно, что хозяин фирмы.. как это? — симпатизирует ему! Австриец, подмигнув, рассмеялся. Все построено на этом, вздохнул он, он — им, они — ему...

Сейчас один изобретатель предложил оригинальное крепление лыж: при падении спортсмена замок автоматически освобождает его ногу. Такое крепление сводит к минимуму травматизм на соревнованиях. Если бы Седой имел автоматическое крепление, он пострадал бы только от падения, — так, пустячок. По взаимной договоренности австриец первым поставил на свои лыжи автоматическое крепление и, словно по секрету, сказал об этом какому-то репортеру в холле отеля, а уж тот постарался! В результате — реклама на весь мир...

На чемпиона, как он признался, большую обиду имеют его

отечественные фирмы, выпускающие снаряжение для горнолыжников. Неплохое снаряжение, можно сказать, даже отличное. Однако французы, их конкуренты, предложили ему лучшие условия, и он уже несколько лет катается во всем французском. Австрийцы, понятно, не удержались от упреков: дескать, родина, патриотизм... Позвольте, господа, а почему никто не вспомнил этих громких слов, когда его состарившегося отца выставили на улицу? Почему? Забыли? Тогда и он не станет напрягать свою память! Нет, не станет. Слова, знаете, словачки, а...

Не договорив, чемпион поднялся, прошелся по палате и, остановившись у окна, стал глядеть на склон горы, где ребята, скатываясь, лихо крутили слаломные петли. Однажды он чему-то рассмеялся, крикнул: «Молодец!..» Когда он подошел и сел возле Седого, лицо его снова было ясно и беспечно. Мальчишкой он тоже целыми днями не уходил с горы. У них в городке каждый ребенок едва ли не с первых шагов становится на лыжи. Так что победы на самых сложных современных трассах закладывались еще тогда, в детские годы...

После недолгого молчания австриец глянул Седому в глаза и признался, что случайно был свидетелем его спуска и видел его неудачу. Ну, что ему прежде всего понравилось? Правильным, совершенно правильным он считает решение проскочить на полной скорости тот проклятый поворот, где упало столько лыжников. Так и нужно — хочешь выиграть, все время держись на пределе. Иначе в спорте делать нечего. Те, кто ловчат и трусят, это... тьфу!.. не спортсмены, а... — и австриец произнес какое-то короткое жаргонное словечко. Торможения и сбросы, рассуждал он, настоящий брак в работе горнолыжника, и пусть соревнования на Стратофане не что иное, как акробатика, все равно — каждый спортсмен должен идти к победе по идеально вычерченной линии на склоне. Однако почему он вышел на дистанцию на таких длинных лыжах? Куда смотрел его тренер? При такой погоде и на такой трассе, как Стратофана, необходимы лыжи короткие, эластичные, удобные для быстрого маневра. Ведь Седой потерял темп и вовремя не вписался в поворот из-за своих тяжелых, грубых лыж!.. И потом... — пусть только русский друг не обижается! — у него совсем недостаточно тренированности. Это же сразу бросается в глаза! Он что, долго не тренировался? И вообще — где он готовился к соревнованиям? Много он накатал километров? Сколько раз он проходил дистанцию за одну тренировку?

Спohватившись, что его откровенность может обидеть рус-

ского лыжника, чемпион покраснел и, спасаясь от пеловкости, забросал его вопросами.

Седой нисколько не обиделся, но и отвечать не торопился. Наивный парень! Сколько раз за тренировку?.. Да всего один раз! Один-единственный! Готовилась команда на чудесной трассе, но, чтобы добраться к перевалу, приходилось несколько часов тащиться на своих ногах, с лыжами на плечах, во всем снаряжении. Так что все время тренировки отнимал подъем. А он еще спрашивает — сколько раз?..

Но ведь не поворачивается язык сказать ему всю правду!

Краснея перед гостем за свой невольный обман, Седой не сказал, а только показал ему три пальца — три спуска.

— Как?! — подскочил австриец. — Всего три раза? Всего?!

И долго не мог прийти в себя от изумления. Вот уж недаром русских считают фанатиками! С такой подготовкой, да еще с таким инвентарем решиться выступать на Стратофане — это, простите, безумие. Это все равно что с голыми руками бросаться на вооруженную до зубов охрану! Лучшие зарубежные лыжники: австрийцы, французы, японцы... — чемпион, перечисляя, методично загибал пальцы, — итальянцы... да, да, итальянцы тоже, потому что Илио Колли был прекрасный, отважный лыжник!.. — все они: простреливают трассу по десять — двенадцать раз за тренировку. Как, есть разница? Причем все их силы уходят только на освоение техники спуска. Только! Подъем наверх им не стоит ничего. К их услугам подъемники и даже вертолеты. А так... — и австриец, не в состоянии ничего больше добавить, развел руками. Взгляд его сочувственно обвел сверкающую белизной палату.

— Что же вас заставляет так откровенно рисковать жизнью, если это, конечно, не секрет? Плохие дела? Совсем плохие, да? У вас есть какая-нибудь специальность, кроме лыж? — добивался чемпион. — Вы неплохо говорите по-английски. Вы что, где-нибудь учились? Может быть, даже закончили колледж?.. Ведь все это... — он кивнул на перевязанное тело лыжника, — потребует больших денег. Больших!

— Все устроится, — улыбнулся Седой, тронутый заботой гостя. Он и в самом деле уже задумывался, что лечение может оказаться нелегким. Больше того, он боится, что такое падение, такое увечье — это-о... (теперь уже он зацелкал пальцами, подыскивая слово). «Да, да, — с готовностью подхватил австриец, — кто тонул, тот боится воды, да? Кого сбила автомашина, боится перекрестков... Тут главное — преодолеть самого себя!» Он это хорошо знает... Так вот, продолжал Седой, если ему даже придется бросить лыжи, совсем бросить, он де-

ликом отдастся давно задуманной работе. О, это очень интересно и увлекательно! В горах, где готовилась сейчас советская команда, давно пора построить что-то вроде современного зимнего курорта: с отелями, канатными дорогами, бассейнами. У них там Альпы, настоящие азиатские Альпы! Вот, кстати, и база для подготовки горнолыжников. Тогда уж ребятам не придется тащиться пешком к перевалу. Да и вообще русским настало время занять свое место и в этом великолепном виде спорта!..

— Так вы строитель?— с уважением перебил его австриец.

— Архитектор.

Вот оно что! Молодое задорное лицо гостя разочарованно потухло. А он-то думал...

— Не понимаю,— признался он после некоторого молчания,— зачем же тогда вы...— и не договорил, ограничившись тем, что обвел рукою палату, койку и лыжника на ней.

— Это долгий разговор,— ответил Седой, невольно забавляясь разочарованным лицом австрийца.

Откинув полу белоснежного больничного халата, гость вдруг достал из кармана и положил на тумбочку лыжную шапочку и очки,— Седой даже не поверил своим глазам,— да, очки, знаменитые очки чемпиона!

Удивление и радость русского спортсмена восстановили у австрийца чувство затаенного превосходства. Он снова стал держать себя хозяином положения. Все, рассмеялся он, скоро конец сумасшедшему режиму, конец этим проклятым лыжам. Он еще выступит в Испании — там ожидаются бриллиантовые призы, ну и конечно на зимней Олимпиаде. А после этого — конец. Никаких лыж. У него есть несколько предложений больших рекламных бюро, его приглашают сниматься в кино. В конце концов он, наверное, окончательно поселится в Мексике, купит там отель, женится. С деньгами везде хорошо!

Жалко, подумал Седой, что в общем-то хороший, душевный разговор закончился такой безудержной мальчишеской похвальбой. Он почувствовал себя утомленным. Чужая страна, чужие люди — все чужое! И ему захотелось домой, скорее домой — хоть на костылях, хоть на носилках!..

Выздоровление после Стратофаны неожиданно затянулось дольше, чем ожидалось, и Седой не выступал несколько лет.

Прошла на следующий год Олимпиада, и австриец, гость Седого в больничной палате, удивил мир, завоевав золотые медали во всех видах горнолыжных соревнований. После такого триумфа он действительно бросил спорт и, по сообщениям га-

зет, ушел в добровольное изгнание в какую-то страну, где целиком отдался увеличению накопленного капитала.

Советские спортсмены на Олимпиаде одержали командную победу. Однако на фоне успехов хоккеистов, гонщиков, фигуристов особенно бесславно выглядело выступление наших горнолыжников. Из газетных отчетов Седой узнал, что Купец, надолго закрепившийся в сборной, сумел занять всего лишь сорок седьмое место.

— Ка-кой позор! — проговорил Седой, покачивая головой. Он протянул Марине развернутую газету. — Возьми, пожалуйста. Я немного похожу.

— Пять минут, не больше, — предупредила Марина, помогая ему встать из кресла и убирая в угол костыли.

Когда-то тоже горнолыжница, теперь же постоянный врач в команде, Марина не позволяла ему впасть в отчаяние и, как могла, поддерживала его уверенность в месяцы унылого безделья. После большого, затянувшегося перерыва они едва дождались первых зимних стартов. Марина уверяла, что подготовлен он ничуть не хуже, чем прежде, перед Стратофаной. Но разве и тогда он был достаточно подготовлен? К тому же из головы Седого не выходило предупреждение австрийца о боязни тонувшего к воде... И вот, находясь как будто в превосходной форме, Седой тогда безнадежно проиграл и спуск, и слалом, и многоборье. Марина позаботилась, чтобы неудачи не слишком обескуражили Седого, вместе с командой они отправились на новые соревнования и — снова поражение. И так пошло из года в год. Марина растерялась. Но, кажется, она вовремя догадалась, что происходит с лыжником, подбитым словно птица влёт, и первой поддалась благоразумию: зачем ломать натуру, для чего? Да и молодость, лучшая пора для спорта, слава богу, уже за плечами. Хватит... Седой остался в одиночестве. Даже травмированный, познавший страх на головокружительном смертельном вираже, он все еще надеялся на что-то и, преодолевая неудачи, не оставлял тяжелых, изнурительных тренировок.

Вадим Сергеевич спросил:

— Мы с тобой давно не виделись, Сережа. Как у тебя... как жил, живешь? И вообще...

— А, что рассказывать!.. — Седой уставился на кончики своих ботинок. — Слушай, как это у вас в медицине называется: раздвоение души? Во мне сейчас постоянно сидит какой-то настырный дьяволенок. Ты знаешь, сколько он портит мне крови! Стоит только выкатиться на старт, как он тут же начинает шипеть: скинь, тормозни, не будь ослом! Он считает, что

это он настоящий лыжник и слушайся я его, все было бы давно о'кей! Дипломат, черт подери, как наш Купчишка! И я ему постоянно сую в рожу, затыкаю ему пасть: молчи, заткнись, пошел к черту!

— И... удается?— спросил Вадим Сергеевич, деликатно стараясь не показать особенного интереса,— все эти годы, сколько приходилось наблюдать, он не узнавал Седого.

— Когда как,— признался Седой.— Но сил на него уходит — ужас! Честное слово! Из-за него меня хронически стало не хватать до финиша. Хронически! Или это трассы стали длиннее? Минуту, полторы я еще держусь, а там... А главное — ты понимаешь?— главное: у меня сейчас какое-то гениальное прозрение. Честно, честно! Я вижу, чувствую, знаю, как я должен идти трассу. Этого самого опыта, которого так не хватало,— у меня его сейчас хоть отбавляй! Господи, говорю, если бы мне его тогда,— понимаешь? Да я бы, кажется, самому австрийцу на одной ноге накатил!

Вадим Сергеевич улыбнулся:

— Если бы молодость знала, если бы старость могла?

— Именно! И знаешь — эту красивую величественную старость — черт бы ее подобрал — я почему-то представляю себе в образе одной... ну, скажем, знакомой. Омерзительная маска с похотливыми губищами, такими — знаешь! — намалеванными, жирными. Тьфу... Ты не поверишь, но мне теперь кажется, что эта поганая бабища висит у меня за плечами, как рюкзак, и жмет, давит к земле. Что это, по-твоему, окончательный финиш? Лыжи за печку и на пенсию? Неужели мне от нее теперь ни разу не убежать?

Вадим Сергеевич долго и раздумчиво почесывал бровь, не решаясь взглянуть в блестящие глаза своего взволнованного собеседника.

— Сережа,— медленно проговорил он наконец,— будь моя воля, я бы тебя завтра на старт не допустил. Не обижайся, но тебе нельзя... тебе опасно выступать. Да и вообще... Ведь ты, кажется, уже давно даже в десятку неходишь?

— Даже из второй группы хочешь вытурить? Дескать, заваливайся на перину и жуй манную кашку? Хватит с меня манной каши! Еще зубы не все потеряны!..

Он был обижен, оскорблен. Откуда-то свалился журналист, в подпитиц, веселенький, с лоснящимся лицом, и помешал — засуетился, затараторил, сердечно заглядывая обоим в глаза.

— А мы тут компашку клеили. Мировые, знаете ли, парни! Честное слово. Не слышали — балдежная песня: «У лошади была грудная жаба»...

Седой, все еще бледный от обиды, отворотился и через плечо кивнул хирургу:

— Ну, я пошел.

— Сережа, постарайся хотя бы выспаться как следует. Слышишь? Подмораживает. Я представляю, какой будет завтра склон.

Оба, хирург и журналист, молча проводили его удаляющуюся фигуру. В последний раз проплыла и скрылась в клубах морозного пара из дверей скульптурная седая голова. Вадим Сергеевич увидел, как из толчи танцующих выбралась Марина и побежала к выходу.

Журналиста распирали впечатления, и его пугало вечернее одиночество. Когда они вышли из клуба, он молча тащился следом за товарищем, но едва впереди показались домики базы, напомнил:

— У нас бутылка.

Хирург неожиданно ответил согласием, и журналист приятно оживился.

— Ты знаешь, — увлеченно заговорил он, забегая вперед, — у них тут свой особый мир. Свой фольклор, свои песни. Свои герои — да, да! О твоём Максимове рассказывают целые легенды. Хотя он и псих, но, кажется, действительно любопытный экземпляр.

Сумрачно шагая в темноте, Вадим Сергеевич пожал плечами:

— Обыкновенный человек, по-моему.

Не обращая внимания на нелюдимость товарища, журналист снова забежал вперед, придержал его и, секретничая, возбужденно приподнялся на цыпочки.

— А очки? А шапочка австрийца? А вот уже многолетнее желание найти себя после падения и выиграть хоть какие-нибудь соревнования? Это же сюжет, старик! Сюжетище! И я все это вижу, вижу! Понимаешь? Чувствую! Мир настоящих мужчин. Как в старые рыцарские времена. А? Представляешь, один летит и бьется, на его место тотчас заступает другой, третий. И так без конца. Молодость! Смелость! Мужество!

— Да, — подавляя зевок, согласился Вадим Сергеевич, — но не забывай, что жизнь в спорте очень коротка. Каких-нибудь десяток лет. Только наберется парнишка опыта, а сил уже не остается.

— Тогда тем более. Понимаешь — тем более! Как вечный бой за молодость. И тут, старик, — ты этого не понимаешь, не чувствуешь!.. — тут же, кроме всего, еще трагедий навалом.

Трусы. Покалеченные. И герои, которым на все наплевать. А? Нет, это писать надо, писать!

Сбивая снег с ботинок, Вадим Сергеевич поднялся на крыльцо. Его нисколько не трогала горячность собеседника. В узком коридорчике журналист невольно замолк: за тонкой фанерной стенкой брэнчала гитара.

Лыжи у печки стоят,
Гаснет закат за горой,
Вот и кончается март,
Скоро нам ехать домой.
Здравствуйте, хмурые дни,
Горное солнце — прощай!

— Вадим! — шепотом позвал восхищенный журналист. — Чувствуешь? Это же поэзия! Романтика!

Задержавшись на крыльце, Вадим Сергеевич прислушался, но не к песне. Он узнал усталые голоса Марины и Седого.

— ...Все это можно было бы высказать и наедине. Зачем устраивать семейные скандалы?

— Прости, Сережа, но я так измучилась!

— Да, — вздохнул Седой, — все измучились, и только мне одному сплошной праздник!

— Ну, не ехидничай, пожалуйста. Просто я немного сорвалась... Как у тебя сегодня ноги? Давай-ка помассируем. Легонький массаж не повредит... Мне, кстати, предлагают купить кофточку. Французская. Очень милая и не так уж дорого. Ты не против?

— Опять Купец открыл свои лабазы?

— Плюнь. Какое тебе дело?

Вадим Сергеевич вломился в свою комнату и, пошарив по стене, щелкнул выключателем. Лампочка висела на длинном шнуре. Журналист проворно сунулся к рюкзаку и стал рыться.

— Стакан есть? — спросил он, доставая бутылку.

Стакан стоял на подоконнике. Вадим Сергеевич понюхал его, затем налил из графина воды, поболтал и выплеснул за порог. Журналист прислушался к тому, что делается в соседней комнате. Оттуда доносилось короткое звяканье железа по железу, и Вадим Сергеевич пояснил, что кто-то из спортсменов оттачивает напильником металлическую окантовку лыж.

— Может, пригласим кого? — предложил журналист, указывая на бутылку.

— Перестань. Ребята на режиме.

— По глоточку-то! Это же не футбол, не бокс. С горочки на лыжах.

— «С горочки»...— Вадим Сергеевич, рассердившись, опрокинулся на постель и задрал на спинку ноги.— А ты представляешь, с какой скоростью скатывается человек с этой самой горочки?.. Мировой рекорд сейчас на спуске больше ста восьмидесяти километров в час. Сто восемьдесят! Это же полет, почти свободное падение. Представляешь, что значит упасть на такой скорости? Мало того, что тебя издерет о лед. Тебя еще переломает. Ты видел горнолыжные ботинки? А лыжи? Так вот, еще недавно эти увесистые снаряды крепились к ногам намертво. И вот упав попробуй с таким грузом на ногах! Кости ломаются, как макароны. Ты не представляешь, что значит крученный перелом. Нога как мочалка, держится на одних лоскутках...

— Послушай,— взмолился журналист, прижимая к груди бутылку,— ты рассказываешь какие-то космические ужасы!

— Это уникальный вид спорта. Горнолыжник должен иметь стальное тело и электронный мозг. Да, да, не ухмыляйся — именно мозг. Здесь не годится это ваше... «сила есть, ума не надо». Нужен ум, да еще какой! На склоне парням приходится решать тысячи задач — тактических, технических, просто психологических, и на все им отводятся мгновения. Мгновения! Ты имеешь хотя бы понятие о трассе настоящих соревнований? Это бугры и колдобины. Лед. Самые дикие, самые невероятные повороты. И попробуй зазеваться хоть на долю секунды — на долю!..— не обработать, как они говорят, какой-нибудь бугор или яму... Да вот увидишь завтра сам.

— И все-таки находятся люди, которые не только катаются, но ставят рекорды. Взять Тони Зайлера или этого... последнего... Жана Килли.

— Ну, это выдающиеся спортсмены! Победить на Олимпиаде во всех трех видах многоборья — это, я тебе скажу...

— Так кто спорит, старик!

Некоторое время журналист молчал, покачивая головой, и прислушивался к монотонному вжиканью напильника за стеной. Бутылку он держал в руке.

— Как перед сражением, да? Помнишь: «Тот штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус...»

— Последние соревнования. В городе весна.

— Тебе много наливать?

— Ты пей сначала сам. Я потом...

— Вот уж оставь! На. Я тебе немного.

— Ну, твое здоровье.

Журналист проследил, как было выпито, улыбнулся.

— Я сейчас подумал: сколько же мы с тобой не обща-

лись, старик? Ты очень изменился. У тебя измученный вид.

— Да так что-то... Не обращай внимания.

Аккуратно налив себе, журналист хотел выпить и вдруг задумался, держа стакан на уровне глаз.

— Интересно...— проговорил он, медленно поворачивая перед собой стакан.— Я сейчас наблюдал за твоим Седым. У него черное лицо, породистая голова, совсем белая. Я думаю, ему уже немало? А?

— Наш возраст. Тридцать шесть. Может, тридцать пять. А может, тридцать семь или восемь.

— Я к чему это спрашиваю? Мне сегодня рассказали, что по делу ему давно уже пора утихомириться. А он все еще...

— Да, он парень крепкий. Я его люблю. Настоящий спортсмен.

— Однако карьеры, я гляжу, у него не получилось. Ведь он, кажется, так ничего и не достиг?

— Карьера!— усмехнулся Вадим Сергеевич.— Словечко-то какое! «Не достиг»... Да он достиг того, чего можно пожелать каждому! В спорте, дорогой мой, важны не одни медалисты. Медалей единицы, а спортсменов миллионы. И пусть многие не завоюют ни одной медали в жизни,— ни одной!..— а все-таки каждый из них хоть раз да выиграет какой-то свой, важный только для него финиш. И вот как раз этими вроде бы незаметными победами и важен спорт.

— И все-таки что останется после него? Что вообще останется после таких? След на склоне? Но это, прости меня, все равно что след птицы. След чайки, альбатроса. Красивое мгновение. Вжик — и все.

— Почему вжик? Хорошенький вжик! Тогда что такое вообще спорт? Ради чего эти люди живут, истязают себя на тренировках, ради чего они летят по склону навстречу, как иногда некоторые шутят, собственным похоронам? Нет, в спорте каждый победитель, кто не отступил, кто не поддался страху, унынию, даже старости. Да, да! И вот эти победы — самые важные.

— Да нет, это-то я все понимаю. Все это азбука, старик. Я другое хочу сказать. Возьмем конкретно Седого, его судьбу, его надежды в молодости и вот что он сейчас... Ведь это, если говорить откровенно, финиш. Большой, окончательный финиш.

С минуту они помолчали.

— И все-таки это спорт,— возразил Вадим Сергеевич.— Вот подожди, завтра сам увидишь. О, завтра должно быть очень интересно! Вот посмотришь.

— Ты надеешься — он выиграет?

— Что значит — выиграет? Важно, что он не проиграет. И вот за это его уважают. Да таких и следует уважать.

— Ах, черт, как об этом хочется написать! По-настоящему. Я уже вижу, как все это ложится. Понимаешь — вижу, чувствую! Нет, ты этого не чуешь. Ты человек вообще какой-то... без эмоций. Сухарь, деляга, узкий специалист. Погряз в своих аппендиксах и переломах. Я, конечно, понимаю... но не это же главное, старик. Не это!

Вечернее уединение, вино и задушевность собеседника настроили его возвышенно. Ему захотелось обличать и каяться. Сейчас, когда он столкнулся с миром людей, живущих смелостью, дерзанием, порывом к подвигу, ему впервые показалось, что сам он живет слишком обыденно, неинтересно, погрязнув в быте, в мелочах, в каких-то повседневных добываниях. Хотел квартиру в центре — и добился. Немало сил ухлопал, чтобы пробить в издательстве книжонку очерков, — кажется, удастся тоже. Теперь неплохо мебель поменять... Бывали у него интрижки, урывочный и тайный грех на стороне, и совестно потом перед терпеливою стареющей женой. Или компанией давнишней соберутся, усядутся вокруг графинчика, селедки с луком и, пьяно, преданно уставившись глаза в глаза, самозабвенно и нестройно заревут: «Говоря-ат, не повезет, если черный кот дорогу перейдет...» Как-то не так все, не хватает чего-то... такого... настоящего...

Вовремя спохватившись, он удержался и ничего не сказал, не выдал. Схватил бутылку и нахлестал себе в стакан, однако отхлебнул расчетливо и скупое и долго после этого сидел задумчиво, почесывался и моргал, — понемногу приходя в себя.

— Ты все-таки хорошо сделал, старик, что взял меня с собой. Какой-то мир другой здесь, не так, как там, у нас. Да, да, я это сразу заметил. Твоего Седого взять. Он же ровесник мне, но ты сравни нас, посмотри на меня. Посмотри! — С бутылкой и стаканом в руках журналист повернулся и поднял локти, показывая себя, толстенького, с задранной на брюхе курткой. — Ископаемый! Вообще я сегодня очень много размышляю. Даже в дороге. Ты заметил, кстати как шли эти двое впереди нас?.. Вот невнимательный ты, старик! И это беда твоя, беда. Ну, да я не об этом... Мне сейчас хочется послать все к черту, отрешиться, запереться и засесть за настоящее. Понимаешь? Засесть, никого не видеть и не слышать и трахнуть вдрут, как из пушки. Романище! О человеке! А? Не печатают только.

Он снова сунулся выпить, прикинул — не много ли? — и отставил стакан.

— Почему ты молчишь, старик? Ты чем-то расстроен? Так поделись, облегчи душу. Я же вижу, чувствую — ты какой-то не в себе...

Вадим Сергеевич в задумчивости теребил себя за кончик носа.

— Слушай, а тебе никогда не хотелось написать о человеке, который мечтает ходить? Просто ходить. На своих на двух. Журналист фыркнул:

— Что-нибудь такое... из Маресьева? А? Эх, старик, старик, ты безнадежно испорчен классикой. Сейчас, дорогуша, двадцатый век. Сейчас читатель ждет, чтобы его дернули рашпилем по нервам. Понимаешь? Вот возьму и трахну пьесу! А? Причем совсем без героев. Какие к черту герои? Сидит на сцене женщина и треплется по телефону. Женщина и телефон. И все! Представляешь? Например, такая вот женщина, как эта Марина... Или еще лучше — один магнитофон... Кто-то взял и рассыпал пленки. Порвал, перемешал — вакханалия. И вот включают эти обрывки. Чужая жизнь — кусками, кусками. Причем самыми нелепыми — страшными, смешными. Ты представляешь?

Разгорячившись, он жадно, словно сообщнику, заглядывал хирургу в глаза.

— У меня в клинике сейчас, — подождав немного, продолжал Вадим Сергеевич, — конструктор один. Попал после аварии. Интересный человечек. Прекрасный специалист, лауреат. Но — паралич ног и никакой надежды. М-да... И вот целыми днями он сидит в каталке на балконе и смотрит на горы. Мы с ним иногда разговаривать беремся. «Знаете, говорит, доктор, куда мне больше всего хочется пойти? Вы думаете, в театр, в ресторан, даже в горы? В туалет. На своих ногах. Два года в туалете не был».

— Слушай, — вскричал журналист, — так это же блеск! Это же деталь! Деталища! Ты представляешь, как она может лечь? Эх, ни черта ты... Я представляю, сколько ты видишь, наблюдаешь и как мог бы грохнуть. Ну скажи, скажи — почему вы такие инертные? Леня вам, что ли, сесть и написать? Ведь жизнь, жизнь же проходит! Нет, не я буду, если не заберусь как-нибудь к вам. Черт с тобой, но только потом не обижайся, что тебя обокрали. Слышишь?

— У тебя там еще осталось в бутылке? — спросил Вадим Сергеевич.

— В бутылке? Навалом. Налить тебе?

— Ты себе налей. Ты, видимо, выпьешь и захочешь еще прогуляться?

— Да... в общем-то... я собирался. А что?

— Когда будешь уходить, будь добр, выключи свет. И приготовь себе заранее постель, чтобы потом не шуметь. Я сегодня хочу выспаться.

— Ну, старик...— журналист возмущенно поднял полненькие плечи.— Сухарь, совсем ты сухарь становишься. Просто черт знает что! Дремучий пенё какой-то!

Взглянув на него, Вадим Сергеевич рассмеялся и, потянувшись с койки, поймал его за полу куртки.

— Не сердись. Просто у меня была канительная неделя.

Журналист еще немного поворчал, но отошел. Он был отходчив.

— Как будто все мы в райских куцах... Ты посмотри на своего Седого. Он же нисколько не моложе тебя. Ты сам записал себя в пенсионеры.

— Кесарю кесарево...— Вадим Сергеевич, успокоив приятеля, снова откинулся на подушку и сладко, протяжно зевнул.— А с Седым, кстати, мы сегодня хорошо поговорили о раздвоении души. Вот тебе еще одна, как ты их называешь, деталь. Попробуй-ка представить себе, что внутри каждого из нас сидит какой-то маленький человечек. И вот на крутых поворотах судьбы он вдруг высовывает свою мордочку и начинает шипеть — советовать, наставлять, толкать к действию. И все в общем-то зависит от того, сумеешь ли ты заткнуть ему рот или же дашь ему возможность занять твое место..

— А что?— оживился журналист.— Это ложится. Знаешь, и здорово ложится! Модерново, свежо... Здесь можно здорово завинтить!

— Давай держай. Пиши...

— Ха, так сразу и пиши! Тут помыслить надо. Тут не просто... Это тебе не аппендикс вынуть.

Они надолго замолчали. Горела лампочка на длинном шнуре. Журналист, посапывая, пальцем разводил на столе лужицу пролитого вина. Теплая куртка не сходилась на его животе.

— Ладно, спокойной ночи.— Вадим Сергеевич отвернулся к стенке и завожился, устраиваясь.— Я сплю.

Журналист ещё посидел, разглядывая намоченный в вине палец, потом грузно уперся руками в стол и поднялся, обдернул куртку.

— Интересно, танцы еще не кончились?

Подождал — хирург лежал молча, не отзываясь.

— Н-ну, ладно,— и, громко топая, вышел.

Из коридора, не возвращаясь, он протянул руку, пошарил по стене и выключил свет. Затем наклонил голову и заслушался: из комнатки в конце коридора по-прежнему слышалось негромкое меланхолическое пение под гитару:

Снизу кричат посзда,
Месяц кончается март,
Ранняя всходит звезда,
Где-то лавины шумят.

Привычным движением он полез за блокнотом, осторожно, словно боясь помешать пению, раскрыл его и поискал, где бы пристроиться. Писать, удерживая блокнот на весу, было неудобно, и он в конце концов прислонился к стене. Часто встряхивая ручку, чтобы не сохло перо, он писал долго и увлеченно, писал до тех пор, пока не закрылся клуб и на гулком крылечке домика послышались топот ног и громкие молодые голоса...

Бодро трубя какой-то марш и колотя себя по животу, журналист громко маршировал по комнате.

— Вставай, засоня! Вставай, лентяй!— кричал он товарищу и топал, топал ногами.— «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало...» Хватит вылеживаться! Подъем!

Отбросив с лица одеяло и сильно щурясь, Вадим Сергеевич долго не мог понять, что происходит. Журналист маршировал вокруг стола в одной майке. Его белые сдобные руки были мокры.

— Чудное утро, старик. Я давно на ногах. Я сейчас снегом умылся! Советую от души... Вставай!

— Господи, вот событие-то...— проговорил Вадим Сергеевич и, посапывая со сна, полез под подушку за часами.

Журналист оживленно присел на краешек его постели.

— Старик, ты обратил вчера вниманиис на этого Буцефала, на этого Голиафа, на Геркулеса на крылечке? Вчера, когда мы приехали? Представь, я с ним сейчас познакомился. Оказывается, малый проехал всю Европу. Где только не побывал! Все знаменитые зимние курорты. Альпы! Средиземноморье! Вот жизнь, а?— И он опять, трубя и маршируя, затопал по комнате. Полная поясница его, никак не обозначаясь, переходила в широкие плоские бедра. Бока свешивались через брючный ремень колбаской.

Вадим Сергеевич, позевывая, лежал с утомленным видом и поглаживал голую грудь.

— Этот Голиаф обещал, что нас с тобой поднимут на канатке. Будем смотреть со старта. Поднимайся, все давно уже встали.

— Мы и без него поднимемся, без твоего благодетеля.

— Ну, ну, старик. Дурное настроение оставь при себе. Здесь не место. Да и утро... Ты только глянь!

Откинув одеяло, Вадим Сергеевич спустил голые ноги. На горячей батарее лежали его высохшие носки.

— Подвинь, пожалуйста, табуретку,— попросил он, начиная одеваться.

— Мы с ним хорошо потолковали. Я уже кое-что взял на карандаш.

Поматывая головой и зевая, Вадим Сергеевич шнуровал ботишки.

— Сам все поймешь, без всяких там... Учись только наблюдать...

— Старик, ты даешь оскорбительные советы!

— Ах, да... Учи ученого!— Вадим Сергеевич рассмеялся и вдруг вскочил, сделал руками несколько энергичных движений и заинтересованно выглянул в окно. В глаза ему ударил царственный цвет склона под синим пологом небес.

— Да, денек как на заказ. Но — мороз. Представляю, что делается на склоне.

— На склоне полно народу. «Серенада солнечной долины».

— Как раз это-то меня меньше всего интересует...

Позавтракали они самыми последними. Журналист, низко склонившись над тарелкой, торопливо подбирал скользкие остывшие макароны. Перед тем как откусить хлеб, он каждый раз промокал ломтем испачканные губы.

— Ты заметил, какие сегодня горы?— говорил он, неряшливо жуя набитым ртом.— Изумительное освещение! Черт возьми, только сейчас начинаешь понимать, как много потеряно в жизни. Все-таки буржуем не так-то плохо быть, а? Мне этот Буцефал рассказывал: великолепный курорт, отборная публика. Кинозвезды. Вверху катаются на лыжах, а через несколько минут — трах!— и на фуникулере на пляж. Купайся на здоровье!

Вадим Сергеевич, потянувшись за компотом, промолчал.

— Слушай, старик, мне предлагают здесь изумительный свитер. Французский! Но дорого, черт... А пока смотри, чем я разжился. Правда, здорово? — Он достал шариковую ручку с игривым изображением женщины и стал поворачивать ее так и эдак, отчего женщина на рисунке одевалась и раздевалась... — Были карты еще... тоже, знаешь, такие... с картинка-

ми. Перехватили! Можно зажигалку достать. Хочешь? Очень оригинальную.

Допивая компот, Вадим Сергеевич насмешливо посмотрел на него поверх стакана:

— Это Купец... или, как ты его называешь, Голиаф твой благодетельствует?

Журналист смутился:

— Какая тебе, слушай, разница?.. Так не хочешь? А я свитер все-таки возьму. Черт с ней, с дороговизной!

Солнце уже поднялось, когда они вышли из столовой. Со склона, сверху, слышался ровный машинный шум, — это работал подъемник канатной дороги. По склону, далеко вверх, часто скатывались разноцветные фигурки лыжников. Многие только поднимались, все в яркой униформе — куртках и рейтузах, плотно обтянувших тело.

Застывшая ночью грязь уже отходила и ноги оскальзывались на кочках. Однако выше, сразу за домиками, лежал схваченный морозом снег, плотный, как асфальт. От домиков базы до канатной дороги, все время в гору, тянулась сильно ухоженная тропа. По неопытности журналист взял слишком быстрый темп, но Вадим Сергеевич остановил его, и они пошли медленно, один за другим, приноравливаясь к шагу лыжников. Все, кто поднимался, несли с собой увязанные ремнями лыжи. Вспыхивали искорки на отточенных металлических гранях. Лыжники тащились по тропе, монотонно переставляя ноги, обутые в неуклюжие массивные ботинки.

Начиная задыхаться, журналист сошел с тропы и остановился.

— Послушай, старик... это они вот здесь и развивают... свою дикую скорость?

Приподняв темные очки, Вадим Сергеевич огляделся.

— Нет, здесь километров под восемьдесят. Самое страшное выше. Во-он — отсюда плохо видно — «Верблюд». Видишь бугор? Но и это еще не самое... По сегодняшнему фирну опасно на Смычке. Особенно в «Трубе». Во-он, видишь, поворот и сразу вниз? Крутой раскат, почти обрыв? Вот там несег. Этот кусок как на Стратофане. Его все боятся.

— Любопытно... — Журналист из-под ладошки рассматривал склон. — Ты мне потом все это повтори. «Верблюд», «Труба»... Это что, условные названия?

— Домашние.

— Как бы мне хотелось хоть разочек, а? Представляю себе! Я же никогда подобными геройствами... Не бегал, не плавал. Даже не подрался ни разу! Представляешь? «Рожденный

ползать летать не может»... Ах, черт возьми, как это, должно быть, захватывает!

Они посторонились и замолкли, пропуская мимо себя вчерашнего парнишку с Мариной. Затянутый в черные рейтузы с оранжевыми лампасами, парнишка нес тяжелые лыжи и ступал с отрешенным видом. В мыслях он был уже на трассе, бесконечно рассчитывая самый оптимальный вариант спуска по сегодняшней погоде. Марина налегке шла следом за ним в своих кокетливых изящных брючках, в просторной светлой куртке. Волосы ее были забраны под шапочку, лицо наполовину скрыто под очками. Близко взглянув на нее, журналист разглядел ровный и сильный загар на щеках и на шее.

Вадим Сергеевич молча поклонился ей, она придержала шаг.

— Что же вы? Идемте.

Он кивком головы показал на своего спутника и с улыбкой развел руками. Марина остановилась и взглянула на отдыхающего журналиста.

— А Сергей?— спросил Вадим Сергеевич.— Уже наверху?

— Давно.

— Как он? Спал?

— Притворялся, что спал. Но я-то знаю... А трасса сегодня...— она посмотрела на замерзший плотный склон.— Лететь будут, как камни.

— Ему не скоро. К его номеру отпустит.

— Посмотрим.— Она вздохнула и пошла дальше.

— О чем это вы, а?— немедленно придвинулся журналист.— Что-нибудь такое?..

За время разговора он извелся от любопытства.

— Так. Пустяки.— Вадим Сергеевич отвернулся и продолжал подъем.

На тропе не прекращалось безмолвное мерное шествие навьюченных лыжами людей. Никто не торопился, никто не разговаривал. Молчаливые, в пестрых тесных одеждах, с запрятанными под очками лицами, лыжники напоминали обитателей какой-то иной планеты, не знающих здешнего языка.

Где-то на полпути журналист снова остановился и посмотрел вниз. Домики базы становились все меньше. У журналиста не было очков, и солнце беспощадно резало глаза. Похмелье сказывалось сердцебиением и омерзительным вкусом во рту,— собираясь в горы, он забыл зубную щетку.

Обгоняя молчаливых лыжников, сбоку тропы размашисто шагал плечистый Купец. Он легко нес лыжи с палками на од-

ном плече. Поравнявшись с журналистом, он сдвинул очки на лоб и дружески помахал перчатками.

— Опаздываете... Здравствуйте, Вадим Сергеевич. Не узнаете?

— Привет,— обронил хирург, едва взглянув, и в такт шагу продолжал равномерно покачивать плечами.

Купец, круша ботинками подстывший комковатый снег, ушел вперед.

— Ты разве знаком с ним?— удивился журналист.

— Немного.

— Но так неприветливо!

— Не люблю молодца,— сберегая дыхание, скупое ответил Вадим Сергеевич.

Неожиданно журналист замотал головой и стал жадно хватать воздух раскрытым ртом. Он успел тронуть спутника за плечо. Вадим Сергеевич терпеливо остановился.

— Ты зря много разговариваешь,— с упреком сказал он.— Мы же на большой высоте.

Минуты две журналист стоял с испуганными глазами. Позади них уже никого не было.

— Сейчас это пройдет,— сказал Вадим Сергеевич.

Он посмотрел наверх. До подъемника оставалось совсем немного.

Журналист наконец отдышался и боязливо ощупал грудную клетку.

— Черт возьми, все-таки не мешало бы придумать какой-нибудь транспорт. Так и до инфаркта недалеко.

— На будущий год начинается большое строительство. Подъемники прямо от порога отеля. Несколько линий канатной дороги. Даже бассейны.

— Заманчиво,— улыбнулся журналист.— Современный курорт?.. Но ты заметил, старик, как поднимался этот... Голиаф? Вот сердце, надо полагать! Да и вообще...— он показал размер плеч и груди.

— Сейчас увидишь его на спуске,— насмешливо проговорил Вадим Сергеевич.

— А что такое? Трус?

— Пошляк. В каждом деле есть свои пошляки. Этот — в спорте. Ну, тронулись?

— Подожди. Я не совсем понимаю. Ты хочешь сказать, что он не рвется в чемпионы?

— А зачем ему рваться? Ведь чемпионом можно стать, а можно и сломаться. Причем шансов сломаться в сто раз больше. Так он уж лучше так, середнячком. Тренеры охотно

берут его в сборную. Железный кадр для зачетных очков — никогда не упадет. Отсюда и поездки за рубеж и все прочее.

— Ну что ж, старик, не каждому же быть чемпионом. Сам же говорил — медаль одна, а претендентов — вон их сколько!

— Но если бы все были такими, как... этот, то не было бы ни Чкалова, ни Толстого... ну, кого еще... Есенина, Гагарина, И к пересадке сердца еще не приступили бы.

— О, ты что-то уж слишком серьезно, старик!

— А спорт и есть серьезное дело. Я имею в виду, конечно, настоящий спорт. И вот если хочешь написать что-нибудь стоящее, выкинь из башки все эти свитера, зажигалки, ручки с бабами. Не забывай, что у этого молодца, как и у каждого, кто выступает за рубежом, во всю грудь написано название страны. Вот тебе главная деталь и основной антураж.

— Ну, старик... — недоверчиво возразил журналист, — ты что-то совсем уж... Какая-то Курская дуга получается!

— Видишь ли, я считаю, что в любом деле надо выкладываться полностью и без оглядки. А иначе ни черта не получится. И я бы на твоём месте... А впрочем, смотри сам. Пиши как знаешь. Ты отдохнул? Идем?

Трогаясь за своим спутником, журналист спросил:

— И он всю жизнь выступает так вот — посерединке?

— Конечно. Такие люди считают, что молодость дана для того, чтобы обеспечить старость. Вот эти в спорте делают карьеру.

— Так, значит, старость и ему страшна?

— Н-не думаю... Видишь ли, он почти всего уже добился. У твоего Голиафа машина, прекрасная квартира. Говорят, дачу строит. Ну, а что касается зарубежных поездок, так он будет ездить еще больше.

— Позволь, а в качестве кого? И вообще — кем, ты думаешь, он станет?

— Как кем? Чиновником. Скорей всего, представителем. А может быть, и тренером. Не удивлюсь, если он даже диссертацию защитит.

— Хорош, однако, тренер!

— Так в этом-то и беда наша!

На бугор, откуда начиналась канатная дорога, они взобрались из последних сил.

— Воистину старость не радость, — только и проговорил, переводя дух, журналист.

Здесь было многолюдно и пестро. К подъемнику тянулась разноцветная очередь. Многие стояли на лыжах.

Глухо урчал мотор подъемника. Из большого кирпичного сарая непрерывно выплывали кресла, подвешенные на толстом канате. Сиденье мягко подхватывало лыжника и, раскачиваясь, уносило его наверх, к сверкающему перевалу. На всем протяжении канатной дороги, насколько можно было видеть, в воздухе висели люди. Обратно кресла возвращались пустыми.

Зрители располагались по склону, скапливаясь возле особенно трудных участков трассы. Некоторые не теряли надежды подняться к старту и застенчиво стояли в общей очереди, выделяясь среди спортсменов городской распушенностью в одежде. Лыжники, скатываясь сверху, летели, не сбавляя скорости, прямо к подъемнику и с особым шиком тормозили в самый последний момент, осыпая ожидающих в очереди целыми гейзерами сухого мерзлого снега из-под окантовки лыж. Оборвав полет, они поднимали очки, и в их глазах еще несколько мгновений сохранялось отрешенное выражение птиц, упавших с неба.

Туча снежного крошева неожиданно обладала журналиста и Вадима Сергеевича с головы до ног. Это Седой, совсем неузнаваемый, затянутый в эластик, с разгону оборвал свой лет, врубившись лыжами у самых их ног. Лицо его было закрыто черными огромными очками, знаменитыми австрийскими очками, подарком чемпиона.

— Доброе утро! Как ночевалось?— прокричал он, пока Вадим Сергеевич и журналист отряхивались от снега.— Идемте, я вас пропущу. А то вы до вечера не подниметесь.

— Как склон? — спросил Вадим Сергеевич.

— Тянет. А в «Трубе» — просто кошмар.

— Ты зря расходуешься перед стартом.

— Да ну! Надо же было прикинуть.

— Я надеюсь, Сережа, ты будешь взрослым человеком.

Седой усмехнулся. На его темном энергичном лице блеснули белые зубы.

— Как понесет, доктор. Есть надежда, что и нам склон достанется в порядке. Надеюсь, вы не откажете мне в своем искусстве, если что?

Вадим Сергеевич рассердился:

— Твои шуточки, знаешь!..

— Идемте, идемте!— заторопил их Седой и стал проталкиваться к подъемнику, щучкой проскальзывая в толчее ожидающих своим гибким мальчишеским телом.

Авторитет его был велик,— их пропустили беспрекословно.

— Позвольте... а как мне с этим механизмом?— пискнул

журналист, со страхом глядя на приближавшееся кресло. В очереди лыжников раздался смех.

— Беритесь левой рукой за стойку!— крикнул Седой. Больше он ничего не успел сказать. Кресло ударило журналиста под колени, он изо всех ухватился за металлическую штангу и почувствовал, что сиденье подхватило его.

— Оп-па!— восхищенно воскликнул он, задирая ноги. Кресло, просев, чиркнуло днищем по снегу и, раскачиваясь, поплыло наверх, набирая высоту.

— Замечательно!— прокричал журналист, оборачиваясь.

Седой и Вадим Сергеевич снисходительно переглянулись.

Под ногами было метров двадцать, не меньше. Плавное падение в разреженной морозной синеве, неторопливое потряхивание кресла на опорах сначала пугали журналиста, и он цепко держался обеими руками за штангу. Ноги его висели над бездной. Глубоко под ним, обрываясь в ущелье, тянулся склон, очень неровный, в буграх и рытвинах, раскатанный до слюдяного блеска. Поглядывая вниз, он нашел, что плотный, непробиваемо укатанный склон трассы сохраняет голубоватый цвет глубокого излома льдины,— видимо, от утреннего сияния молодого весеннего неба.

В это время во всю ширь уютного нарядного распадка, достигнув блистающего перевала, прогремел усиленный динамиками голос судьи на финише. И тут же журналист расслышал настойчивый позывной посвист сзади. Не отпуская штанги, он опасливо оборотился — метрах в пятнадцати за ним, раскинувшись привольно в кресле, висел Вадим Сергеевич. Он звал товарища и энергично предлагал взглянуть куда-то в сторону и вверх. Чего он там? Недоумевая, журналист взглянул и очарованно застыл: одинокая фигура лыжника уже стремительно неслась по трассе.

Склон заливало ослепительным и равнодушным солнцем. В сиянии, в потоках света катившийся от перевала лыжник отчаянно удерживался на ногах, ведя упорную борьбу с разгонистой неудержимой силой скорости, со стрелкою судейского секундомера и с постоянными коварствами жесткого, неласкового склона, бросавшего его на ямах и буграх, словно сорвавшийся с обрыва камень. Он был в полнейшем одиночестве на всем отвесном бесконечном склоне, живое существо на тоненьких напрягшихся ногах, с мгновенными реакциями мозга и с бешеною деятельностью сердца, перегонявшего вскипающую кровь.

Когда спортсмен мелькнул внизу, под креслом, и укатился дальше, до слуха журналиста донесся краткий грозный грохот

лыж по фирну. Совсем забыв о страхе, он свесился из кресла, намереваясь проследить, как одолеется загадочная страшная «Труба», о которой его предупреждал Вадим Сергеевич. Не одолелась! Отважно устремившись на раскат, спортсмен согнулся почти вдвое и пропал из виду за холмом, но через несколько мгновений взлетели вверх обломки лыж и показалось кувыркавшееся тело. Упавшего тащило метров семьдесят, пока не погасилась скорость. К нему бежали с санками спасатели, спешил, оскальзываясь, врач.

Широкий звучный голос из динамиков равнодушно констатировал падение: «Номер такой-то сошел с трассы».

Наверху, где с кресел прыгнули сначала журналист, затем Вадим Сергеевич, работала судейская бригада. Спортсмены стартовали через равные промежутки времени. Тепло одетый человек, в валенках и шапке, держал флажок у груди лыжника, дожидаясь, пока снизу не раскатится разрешающий голос из динамика: «Финиш готов». «Внимание!» — кричал тогда судья у телефона, и человек в валенках вскидывал флажок, освобождая путь.

С подъехавшего кресла прямо на лыжи прыгнул Седой и, надевая на ходу перчатку, картинно, на прямых ногах, заскользил к самому старту. Объехав группу ожидающих лыжников, он резко затормозил, ловко поставив лыжи поперек движения. Из-под ног у него взметнулось небольшое облако изрубленного снега.

— Знаешь, — возбужденно зашептал журналист, — мне страшно нравятся эти султанчики из-под лыж. Хоть на киноплёнку!

— Красиво, — согласился Вадим Сергеевич, — но лучше обходиться без них. Тормозить — значит терять скорость.

— Жалко, это так красиво. Правда ведь? Очень зрелищно.

— Ну, теперь помолчим.

У края трассы, навесив концы толстых лыж над склоном, стоял и дожидался старта Купец. Он словно от озноба поводил массивными плечами и беспрестанно поправлял очки, всякий раз задевая флажок, который человек в валенках держал поперек его груди. Старт задерживался, потому что в динамиках гремел голос информатора, представлявшего зрителям имени того спортсмена: участник Олимпийских игр, призер первенства страны, участник недавнего мемориала во Французских Альпах... На здешние последние в году соревнования сборная страны прилетела прямо из Франции.

Услышав наконец команду старта, Купец мощно оттолкнулся палками, и журналиста поразило, как словно ожили

увесистые окантованные лыжи и неудержимо заскользили вниз, врезаясь металлическими граями в искристый крепкий фирн. Склон властно подхватил спортсмена и понес, и скоро журналисту показалось, что за напрямшей широкой спиной неистово вихрится снег. Вот на какой-то неприметной кочке лыжника бросило, он потерял сцепление со склоном, но машинально сбалансировал руками, палками, своей ожившей спиной и, приземлившись на опущенную лыжу, стал плавно заходить на поворот.

— А что? Ничего! — тоном знатока заметил журналист.

— Перед «Верблюдом» скинет, — сквозь зубы процедил Вадим Сергеевич.

И в самом деле, в том месте, где раскатанная лента трассы взлетала на целую систему беспорядочных холмов, из-под лыж спортсмена взметнулась туча снежной пыли.

— Заюлил, — насмешливо сказал кто-то из лыжников на старте. — Весь снег сvezет.

— Да уж этот не раскатится!..

Журналист придвинулся к товарищу:

— Я смотрю — не любят его?

— Естественно, — отмахнулся Вадим Сергеевич, не переставая наблюдать за спуском.

Погашенная скорость позволила спортсмену благополучно миновать один из самых каверзных участков трассы. И все же на крутом горбе «Верблюда» его едва не выкинуло лыжами вперед. Понадобилась мощь всего литого тренированного тела, чтобы удержаться на ногах и не упасть... В дальнейшем Купец шел на пределе осторожности, щедро украсил склон фонтанчиками снежных взрывов и только на прямой у финиша стал бешено работать палками, наверстывая время.

— Ну вот, надежно и зачетно, — прокомментировали сзади этот благополучный спуск.

— А мне понравилось, — с вызовом сказал журналист. — Молодец, я считаю. Что бы ни говорили, а у него пока лучший результат. Ведь так?

Не ввязываясь в спор, Вадим Сергеевич уклончиво пожал плечами. Он мог бы согласиться, что да, еще несколько падений тех, что дожидаются на старте, и этот благоразумный, осторожный лыжник станет чемпионом. Но это будет лишь случайность, досадная несправедливость, ибо, как правило, для достижения победы необходима не только угрюмая воля и исполнительность, как это видели сейчас на склоне, но также артистизм, вдохновение, тоска груди по ленте финиша. Счастливый миг победы требует порыва, самоотречения, го-

товности пожертвовать для этого годами жесточайших тренировок. Только при этом не погибнет спорт как таковой, только тогда через удел отважного Илио Колли человек придет к блистательным победам Зайлера и Килли, собирающих все золото Олимпиад.

— Давай посмотрим дальше,— отказался от разговора Вадим Сергеевич.

От журналиста не укрылось раздражение товарища, он скептически умолк и отодвинулся.

Дальнейшее, однако, заставило его раскаться в своем скептическом неверии, и он схватился за блокнот. Он видел: на бугре, с которого едва не улетел благоразумный, осмрительный Купец, случилось маленькое чудо. Вот так же лыжами вперед там кинуло очередного лыжника настолько сильно, что он перевернулся в воздухе, ударился спиной о склон, вновь подскочил, как мячик, и изумленно, сам тому не веря, приземлился на ноги, на лыжи. Спуск продолжался, радио молчало, и очевидцы, замершие наверху, с недоумением переглянулись.

— Впервые вижу!— признался бледный от волнения Вадим Сергеевич.

Затем еще одного бросило с «Верблюда», он грохнулся уже не так удачно и отломил носки у лыж. И все же напряжение его было настолько велико, что он, не замечая ничего, вскочил, опять согнулся и замер в стойке, с палками под мышками. Пока к нему добрались, тронули, растормошили, он, как загипнотизированный, так и стоял на изуродованных лыжах, обломками зарывшись в снег.

— Что там такое? Почему они летят?— спросил Вадим Сергеевич и оглянулся. Близко к нему стоял Седой.

— Контруклон.— Через очки Седой взглянул на солнце.— Припекает уже, поэтому и...— он показал рукой, как выбрасывает на подтаявшей площадке разогнавшегося лыжника.

У ног Седого на корточках согнулась Марина. Сняв варежки, она крепко массировала ему колени.

— Лодыжки не болят?— спросила она, не поднимая головы.

— Обойдется,— скупое отозвался Седой, прислушиваясь к ощущениям в закованных ногах.

Журналист, наблюдая и прислушиваясь ко всему, что происходило вокруг, засмотрелся на аскетическую фигуру немолодого лыжника, затянутого в доспехи, словно рука в перчатку. Его поразило лицо спортсмена, лицо той великолепной чеканки, которая вырабатывается суровым режимом и одержи-

мостью идей. Он сунулся было поделиться своими наблюдениями, однако Вадим Сергеевич указал ему на старт:

— Постой, это должно быть интересно.

У края трассы, перед флажком стартера, стоял и ждал команды сосредоточенный парнишка в черных рейтузах с оранжевыми броскими лампасами. Вакуум предстартовой минуты, когда спортсмен слышит стук собственного сердца, томил его, он пригибался, снова выпрямлялся, нетерпеливо взглядывая на невозмутимого человека в валенках. Он ничего не замечал по сторонам, он весь был там, на склоне, среди коварных неожиданных загадок ненадежной, местами начинавшей таять трассы.

Едва взмахнул флажок, он сильным и стремительным укол палок в снег послал себя вперед. Со старта видели, что он, не маневрируя, понесся прямо на бугры. «Торопится!» Вадим Сергеевич отметил излишне устремленную вперед посадку молодого лыжника, отчего в конечном счете лыжи зарываются носками и теряют скорость. На буграх заносчивым ногам парнишки достался бешеный удел рессор — смягчать удары и броски. И все же где-то он не рассчитал, перенадеялся. Перед «Верблюдом» его вдруг выстрелило, как из катапульты, и понесло на каменную осыпь. Какие-то мгновения, зависнув в воздухе, он оставался неуправляемым. В последний миг он все же дотянулся до земли, коснулся склона острым цепким кантом лыжи и отвернул, но тут же снова подлетел — уже на самом гребне — с утробным и произвольным вскриком: «У-уп!..»

— Пацан! — проговорил с заметным облегчением Вадим Сергеевич. — Бугор не обработал.

К нему придвинулся с блокнотом наготове журналист.

— Как, как ты сказал?

— Бугор, говорю. Если бугор — поджимай ноги. Яма — выпрями...

Перед «Трубой», на повороте, парнишку силою инерции вдруг потащило юзом по размороженному фирну; взметнулась туча снега; но он поставил лыжи на ребро, на самый кант, и быстро прекратил скольжение, однако опытный Вадим Сергеевич отметил про себя, что волочение убило набранную скорость, отняло несколько секунд. Конечно, и Седой, и остальные, кто еще не стартовал, учтут это в своих расчетах.

Досадуя, что из-за непредвиденной заминки может погибнуть целый год тяжелых тренировок, парнишка ринулся в «Трубу» с такой яростью, что зрителям, всем, кто следил за трассой, невольно стало страшно. Вадим Сергеевич даже на

цыпочки привстал, словно надеясь разглядеть, что там произойдет, в этом неудержимо разгоняющем провале перед последней финишной прямой.

Те несколько мгновений, что лыжник ниоткуда не был виден и в полном одиночестве среди отвесных узких круч вел бешеную гонку, над всем распадом, от перевала и до первых безмятежных домиков внизу, оцепенело ожидание. Но вот он показался далеко на выезде, он несясь вихрем, пригибаясь к лыжам и зажав под мышками палки,— в последний раз блеснул на солнце его оранжевый лампас.

Миновав ревущую толпу на финише, он облегченно разогнулся и, жадно набирая воздух, отдался плавному ненапряженному скольжению. Он укатился далеко от зрителей, остановился и утомленно потащил с лица очки.

— Ну что?— Вадим Сергеевич азартно заблестел глазами.— Антураж это тебе или нет? Вот пиши о таких, пиши. О них должны все знать, все. Вся страна! В конце концов, они не для одних себя стараются.

— Черт возьми!..— приговаривал журналист, лихорадочно записывая и едва не ломая карандаш.— Слушай, я, кажется, начинаю понимать... Вот это пацаны, а? Дьяволы какие-то!

Возбужденному, ему хотелось говорить не умолкая — судить одних, хвалить других, давать прогнозы, ибо нигде, как только в спорте, не чувствует себя так вольно дилетант. Впрочем, теперь ему и в самом деле становилось непонятно, как мог он сразу не заметить такой подделки, как великолепно выглядевший по сравнению с другими Купец... Однако состязаниям еще не виделось конца, и журналист, взглянув туда, куда с волнением смотрел Вадим Сергеевич, пристыженно осекся и притих: на старте приготовился Седой.

В эту минуту загредел внизу динамик и по склону прокатился голос с финиша, сообщавший результат парнишки. Седой услышал и, не поверив, насторожился. Но нет, все было правильно, поправки не последовало. Тогда он что-то буркнул медлительному человеку в валенках и шапке, тот согласился и опустил флажок. И все увидели, как лихорадочно Седой стал обрывать на палках кольца.

— С ума сошел...— пробормотал Вадим Сергеевич, невольно продвигаясь ближе. Он испугался за Седого: если уж он кольца обрывает, желая до предела сократить сопротивление воздуха при спуске, значит, пойдет на все...

Задержка миновала, оторванные кольца остались на снегу. Стартер вновь поднял свой флажок.

Седой придвинулся, навесил лыжи над обрывающейся

трассой. Он выглядел спокойным и несуетливым, смотрел перед собой и только вниз и лишь с одним не мог управиться — с произвольным мелким перехватыванием палок, словно принаравливался сжать их еще крепче и надежней.

В установившейся нелегкой тишине протяжно, резко закрипел под лыжами Седого снег, и в тот же миг послышалась команда, взмахнул флажок, и лыжник, только что стоявший безучастно, взорвался и понесся вниз по склону, как на коньках, раскатистыми длинными шагами. От его уверенных разгонистых толчков на крепком фирне высеклись изящные, как будто лезвиями беговых коньков, полосы елочкой. Набрав скольжение, Седой приставил лыжу к лыже, сомкнул колени и, подхватив под мышки палки, согнулся вдвое.

Он ощутил привычное сопротивление упругой массы воздуха, вдруг ставшего почти что осязаемым, почувствовал, как в щеки, в грудь, в колени уперлась мягкая волна как будто встречного потока, и понял, что идет с предельной скоростью, с той идеальной скоростью, когда трепещут и вибрируют пристегнутые крепко лыжи, трепещут, рыскают носками, но не уходят из-под власти и моментально реагируют на импульсы команд, с какой-то электронной четкостью рождающихся в лихорадочном мозгу.

Со старта видно было, как эластично, мягко обрабатывал он первые препятствия. Его натруженные, опытные ноги вкрадчиво и четко отзывались на малейшую неровность склона. Там, где азартных и неопытных подбрасывало в воздух и они потом должны были терять секунды, чтобы удержаться на ногах и не упасть, Седой катился без толчков и взлетов, он неся, как по смазанной поверхности, «облизывая» перекосы, ямы и бугры какими-то звериными движениями, непостижимыми для глаза наблюдателя.

— Слушай, он как пантера! Да? — влюбленно заливался журналист.

Бугры перед «Верблюдом» были серьезным испытанием и для Седого. Вадим Сергеевич, болея за него, рассчитывал, что он не станет рисковать и сбросит скорость. Тем более что у него был небольшой запас во времени — те самые секунды, которые парнишка потерял перед «Трубой» на боковом скольжении. Однако сам Седой судил иначе. Запас в секундах им принимался во внимание лишь теоретически. Он сохранит этот запас в том случае, если пройдет всю трассу идеально. Но склон уже разбит и с каждой минутой становится все мягче, а значит, не исключена возможность, что где-нибудь он не удержится и так же, как его предшественник, зачертит юзом.

К тому же он не забывал, что приближается мгновение, когда ему на плечи навалится уже не раз испытанная тяжесть и он будет тащить ее с собой по склону до самого конца. Каких-то две минуты спуска, коротенький отрезок времени, но как ни торопился он, как ни готовился, а избежать навала тяжести не мог! Сегодня она тоже не отступится, хотя он много и настойчиво тренировался, держал режим, неплохо выспался, искусно и расчетливо намазал лыжи и даже кольца с палок оборвал! Успеть бы проскочить, пока она прицепится, хоть половину трассы!..

Коварные и страшноватые для новичков бугры перед «Верблюдом» Седой преодолел почти по воздуху. Его трепещущие, режущие с воем воздух лыжи касались фирна только на мгновения, но для него было достаточно и этого, чтобы, сохраняя ураганный темп, не потерять осмысленности в действиях и полностью владеть собой. В лицо ему, обугливая щеки, хлестал шершавый плотный ветер, но он глазами, надежно защищенными стеклом, с настойчивостью лазера прощупывал летящий к нему под ноги застывший склон и караулил тот, самый коварный холм, с подтаявшим контруклоном. И только он подумал, как по лицу его мазнуло холодом со стороны,— это мелькнула сбоку каменная осыпь,— и вот он... талый, скользкий, как намыленный, безудержно бросающий вперед... Седой успел податься корпусом навстречу, как бы опережая ноги, и опередил, но тут же вылетели лыжи, и он, взмывая вверх, исторг такой же, как и все, утробный дикий вскрик: «У-уп!»

Теперь, пока летел он по параболе, Седой поджал к груди колени и дал расслабиться своим немолодым и покалеченным ногам. Но если бы еще вздохнуть, набрать побольше воздуха! Тогда он сохранился бы и для «Трубы». Ах, эта проклятая «Труба»! Он знал, что солнце там не тронет снежного покрова,— значит, лететь придется словно по льду и следует заранее готовиться, чтобы хватило сил исполнить два каверзных, нелегких поворота,— один, как он понимал сейчас, уж чересчур тяжелый,— длинный правый поворот с обратным виражом («Бедные, бедные ноги»). Другой как будто легче. Да что там легче! Если бы он был в начале трассы, а то... Как хочется, однако, разогнуться, расправить затекающие плечи и чуточку вздохнуть! Всего только вздохнуть, набрать побольше воздуха, расправить грудь. Ему сейчас совсем немного нужно. Это мальчишки, с их запасом сил и молодости, могут наивно полагать, что путь к победе будто бы неисповедим, и часто ждут счастливого момента, миг удачи,— к нему же, с возрастом и

неудачами, давно уже пришло прозрение, и он узнал кратчайший, верный подступ к достижению успеха, и вот как раз таким путем он и надеялся достичь сегодня финиша. Но, к сожалению, он также знал, насколько это трудно, сложно, изнурительно и, словно скряга, собирающий по крохам, экономя на десятках мелочей. Годами ждал он, когда и для него блеснет счастливый миг победы, он шел к нему настойчиво, не отступая, через увечья и седины приобретая необходимый тяжкий опыт. Он еще с вечера заботливо отгрунтовал свои испытанные лыжи и только утром тщательно, как будто заболевшего ребенка, натер их мазью. Особенно внимательно отшлифовал он боковые грани — чтобы не потерять на скорости на частых поворотах. Напильником он бережно подправил металлические канты, смягчил закраины у самого носка, прошелся наждаком и выверил продольные бороздки, которые помогут на прямых участках трассы. (Прямые он решил простреливать на максимальной скорости.) И все же он чего-то не учел еще, какой-то самой неприметной мелочи, потому что, когда он принаравливался поэкономней выкатиться на «Трубу» и замышлял уже для подстраховки приподнять, разгрузить внутреннюю лыжу, чтобы не завалиться и не упасть, лыжи вдруг медленней, чем ожидалось, вошли в кривую перед бугорком, и его выбросило корпусом вперед. Приземление пришлось на одну лыжу. Он машинально сбалансировал и выпрямил колени, дав лыжам вырваться, подставиться под тяжесть всего бешено сражавшегося тела.

«Акробатика... Черт, может, сбросить малость? Запас как будто есть», — невольно выскочила осторожная мыслишка, однако он тут же изругал себя за малодушие и трусость, — зычно, по-хозяйски, рывкнул на того, другого, кто со своею осторожностью, с оглядкой все время лез к нему с советами. Как будто удалось — замолк...

Надолго ли?

Он знал, что страх на склоне постоянный спутник лыжников, всех — начинающих и знаменитых, и в этом никто из них не видел ничего зазорного, потому что иначе на трассах спуска резвились бы кому только не лень. Больше того, страх составлял одну из привлекательных сторон, позволяя человеку ощутить жизнь на пределе сил. Искусство горнолыжника в том и состояло, чтобы загнать поглубже страх и в то же время удержаться, не переступить этот последний роковой предел своих возможностей и сил.

На Стратофане он был полон сил и намеревался одолеть ее одним запасом молодости. Мальчишество! Не только лыжи,

как сказал тогда австриец, были причиною его падения. Да, верно, он потерял темп и не успел вписаться в поворот, но темп утерян был из-за того, что шел он на отчаянно напрягшихся ногах, не чувствуя неровностей ухабистого склона. Теперь же, после всех увечий, после лечения и многих новых неудач, он походил на мудрого и опытного зверя на охоте. Едва подумав о «Трубке», он стал, как на рессоры, распределять на обе ноги тяжесть тела, чтобы от перегрузок на резком вираже не сорвались бы лыжи. Он затаился, задержал дыхание — сейчас вот самый страх, самое ответственное и тяжелое...

Не сбавляя хода, он устремился на поворот и стал смело резать угол, с удовлетворением почувствовав, что тот, кто скачивался перед ним, соскреб весь ненадежный талый снег и для него остался крепкий выскобленный фирн, в который так и врезались его отточенные лыжи.

К восторгу зрителей, он заложил каллиграфический, как по линейке прочерченный вираж.

— Наскреб старик силенок! — услышал позади себя Вадим Сергеевич. — Лупит напрямую.

Чудовищная тяжесть перегрузок, возникшая на повороте, совсем сдавила лыжника, пригнула его к лыжам, он задохнулся, словно от удущья, стиснул зубы, но выдержал, закончил поворот, как вдруг, уже влетая в створ «Трубы», почувствовал, что почему-то ничего не видит впереди, — какое-то затмение, провал, потеря зрения. «Ага!..» — злорадно закричал в его душе тот маленький человечек, обиженно молчавший до сих пор.

Еще совсем недавно, на предыдущих состязаниях, Седой не удержался и уступил ему, — поставив лыжи боком, сбросил скорость. Теперь в его душе всплеснулась злость, — он разозлился так, словно впервые разглядел вблизи, у самых глаз, глумливую ухмылку своего советчика. За все эти годы он надоед ему, надоед своим назойливым присутствием, своею постоянной осторожностью, своею трусливой волею над ним. Он утомил его. «Пошел ты!..» — выругался Седой, весь колотясь от бешеной, неистовой вибрации на льдистом и крутом раскате. Вонзаясь головой в свистящий встречный ветер, он сжался еще больше и наперекор тому, кто поучал его, совсем пригнулся к лыжам. Оскал его лица был страшен.

Потеря зрения, позволившая страху прикоснуться к его сердцу, была мгновенной, от непосильной перегрузки, и скоро он почувствовал, что с глаз сошла неведомая пелена, а вместе с ней пристыженно замолк и тот, внутри. А может быть, он

замолчал в испуге, страхась все возрастающей, неудержимой скорости? Во всяком случае, он больше не зудел, не ныл, не лез с советами. Седому показалось даже, что он расстался с ним где-то в этой ужасной, разгоняющей «Трубе», в какой-то самый страшный, самый напряженный миг. И теперь он снова получил свободу, он снова был один, хозяином на трассе, — как некогда в свои счастливейшие годы...

Впереди оставался поворот, затем еще один, полегче, а дальше уже ровная, спокойная прямая к финишу. «Конец!» — возликовал он, понемногу разгибаясь и готовясь к быстрым и заученным маневрам тела, чтобы проскочить последние препятствия.

На повороте его резко вынесло на рыхлую грядку нарубленного сбоку снега и дернуло от торможения. С такой заминкой справиться не стоило труда, однако в тот же миг одною лыжей он попал на бугорок совсем невидимый под снегом. Без подготовки, не расслабив ногу, он словно получил удар под лыжу и, подлетев, стал медленно валиться набок. «Держать... Держать!..» — скомандовал он, напрягаясь, чтобы не перевернуться и устоять. Однако сил, чтобы хоть как-то выровнять падение, уже не оставалось, — все, без остатка, было отдано на склоне, а особенно в «Трубе», где он на этот раз избавился, удрав от своего настырного советчика. Последнее, что видел и запомнил падающий лыжник, было кумачовое полотнище финиша, до которого оставалось совсем недалеко...

Впоследствии Вадим Сергеевич так и не мог припомнить, что подсказало ему мысль о несчастье. Еще висела пауза, когда исчезнувший в «Трубе» спортсмен на несколько секунд скрывался с глаз и всем, казалось, слышен был короткий реактивный грохот лыж на ледяном раскате, еще белел и нежился под полуденным теплым солнцем безмятежный мирный склон, еще никем не сказано было угрюмым погребальным голосом: «Аминь!..», а он уже бежал к ползущим на канате креслам, проваливался в снег и, поднимая высоко колени, размахивал руками...

На длинных специальных санках Седого повезли на базу. Склон изодрал спортсмена словно теркой. Нарядная, подогнанная по фигуре форма висела клочьями. Вадим Сергеевич, проваливаясь по колена, спешил за санками и на ходу осматривал места, где трением о лед расплавил эластик, — там тело почернело от ожогов. Седой что-то бессвязно бормотал и пырвался встать.

Удерживая санки от разгона, спасатели покрикивали на

сбегающихся зрителей. Со склона подъезжали лыжники, пристраивались к группе и, не обгоняя, молчаливо скатывались вниз. Двое ребят везли подобранные лыжи с палками, третий нашел где-то в снегу слетевшие очки Седого. Падение, как убедился Вадим Сергеевич, было жестоким, и все же он надеялся, что вовремя сработали автоматические лыжные крепления. От бокового резкого удара они должны освободить упавшего спортсмена от тяжелых и опасных лыж.

Чтобы спуститься к домикам базы, спасателям предстояло пересечь трассу соревнований. Вся группа с санками остановилась у широкой раскатанной полосы. Сверху, приближаясь к «Трубе», неслась фигурка согнувшегося лыжника.

Седой воспользовался остановкой и неловко приподнялся в санках. Лицо его кривилось от боли, он, словно пьяный, мотал растрепанною головой. Вадим Сергеевич присел рядом с ним и попытался осмотреть ноги. Седой зажмурился и застонал — каждое прикосновение причиняло ему невыносимые страдания.

В это мгновение мимо них вихрем пронесся вырвавшийся из «Трубы» лыжник. В низкой стойке, с палками под мышками, он напряженно смотрел вперед, впиваясь глазами в праздничный кумач финишного полотнища.

Седой, поворотив голову, медленно проследил, как лыжник, со свистом рассекая воздух, умчался дальше. Скоро с финиша донесся радостный крик зрителей.

— Жалко,— пробормотал Седой, избегая взглядов тех, кто наблюдал за ним.— Оставалось совсем немного.

Потом он разглядел лоскут одежды, свисавший с локтя, сердито оборвал и бросил в сторону. В прореху на колене увидел ссадины на теле, потрогал осторожно пальцем и убито покачал головой...

Таким, сидящим в санках, истерзанным до неузнаваемости, его застала прибежавшая Марина.

— Ну, ну, ну... Спокойно,— поспешил встретить ее Седой.

Она с разбегу бросилась к нему и, стоя на коленях, цепко, профессионально прошлась своими сильными, натренированными пальцами врача по его изорванным ногам.

— Как тут? Не больно? А тут?

Вскрикнув от боли, Седой дернулся всем телом и запрокинул обескровленное лицо. Он упал бы навзничь, если бы не Марина. Обняв за плечи, она бережно уложила его обратно в санки и сделала нетерпеливый знак трогаться.

Вадим Сергеевич подобрал сложенные ребятами обломки лыж и палки. Молоденький парнишка в черных рейтузах

с оранжевыми лампасами приблизился к пострадавшему и положил ему на грудь его потерянные очки, огромные, причудливо изогнутые, с резиновой плотной окантовкой,— предмет всеобщего любопытства и зависти. Что-то произошло с лицом сломавшегося лыжника,— взяв очки, Седой рассматривал их долго и задумчиво, поворачивая так и эдак. Затем он подцепил их пальцем за резинку, качнул небрежно раз, другой, вдруг раскрутил и запустил с таким расчетом, чтобы их сумел поймать стоявший рядом юный лыжник с оранжевыми лампасами.

— Держи!..— сказал он и, даже не взглянув на счастливо просиявшего парнишку, улегся и закрыл глаза.

Громкий, усиленный динамиком голос с фьиниша попросил всю группу с санками очистить трассу спуска. Соревнования продолжались.

1972 г.



НА ЗЕМЛЕ ОТЦОВ

1

Поезд пришел глубокой ночью, и крохотная станция на несколько минут ожила. Константин Павлович соскочил на землю, отошел в сторонку и поставил чемодан. Скоро рассвет, потом утро, и надо будет искать попутную машину. А пока ничего не оставалось делать, как ждать.

Из вагона, в котором ехал Константин Павлович, вышла старуха с лицом богородицы, всю дорогу доедавшая черствые праздничные булочки, и ушла в темноту тяжелым мужичьим шагом. Спрыгнул хвастливый юркий мужичонка, севший на поезд только сегодня утром, но успевший надоесть всем. Мужичонка вез в мешке двух повизгивавших поросят и боялся, что его ссадят. Спрыгнув с высокой подножки вагона, он взял из тамбура мешок с поросятами, кинул через плечо, поросята даже не пискнули. И тоже ушел...

Под мутной, еле светившей лампочкой у входа в станционный домик Константин Павлович разглядел дежурного — мордастого вялого парня в красной фуражке и майке-безрукавке. Парень ежился спросонья, отчаянно зевал и чесал под фураж-

кой древком флажка,— ждал, пока уйдет поезд. А поезд, темный, присмиривший, казалось, затих здесь до утра. Под полной луной блестели влажные от росы крыши вагонов.

Дежурный, потирая озябшие голые плечи, предупредительно выслушал Константина Павловича и успокоил, что уехать отсюда — плевое дело, дожждаться бы только рассвета. Рядом элеватор, машины туда со всего района зерно возят. Дежурного поразили непонятный плоский ящик, висевший у приежжего через плечо, берет и легкое щегольское полупальто, и он выразил готовность открыть «залу». Константин Павлович удержал дежурного, побежавшего было за ключом, поблагодарил и отказался,— на свежем воздухе меньше клонило в сон.

В маленьком пристанционном садике он нашел скамейку и сел. На минуту закрыл глаза, как бы собираясь с мыслями, но порядка в мыслях не было. Последняя неделя выбила Константина Павловича из привычного равновесия, и все эти дни он испытывал непонятное возбуждение, какое-то странное чувство великой неустроенности в жизни. Так было в дороге, так было и сейчас. Константин Павлович видел себя то на последней выставке молодых художников, то в пустом поезде ночной электрички, то вдруг вспоминались ему недавние попутчики — молчаливая старуха с лицом богородицы и надоевший щербатенький мужичонка с поросятами в мешке.

На станции, в стороне, сонно пробил колокол. Поезд, не подавая голоса и без огней, тронулся тихо, неслышно. Сквозь редкие деревья прохладного садика Константин Павлович видел проплывавшие мимо залитые луной крыши вагонов. Поезд ушел, но еще долго слышен был учащавшийся перестук колес. А когда замер и он, вдруг издалека-издалека донесся долгий ликующий крик паровоза над спящими лесами. И Константин Павлович пожалел, что ему пришлось сойти так рано. В дороге ему понравилось, он много стоял у окна, разговаривал с людьми, живо выбегал на станции,— и теперь, оставшись ночью один, подумал, что хорошо ехать, торопиться все дальше и дальше на восток, зная, что новый день ты встретишь гораздо раньше многих, оставшихся там, позади, на привычных обжитых местах, расставаться с которыми трудно, хлопотно и неудобно!

Неделю назад Константин Павлович отправился на ежегодную выставку молодых художников. Посещали ее немногие, — у молодых еще не было громких имен,— но именно здесь, в этих небольших скромных залах, начиналась слава будущих мастеров. Константин Павлович помнил, что так было

и с ним, когда он, еще молодой, никому не известный художник, выставил свою первую работу «Расставанье». Тогда все — и знатоки, и крупные мастера, у которых посещение выставок молодых вошло в традицию, — все тогда в один голос признали, что художнику удалось очень просто и неназойливо передать какое-то осеннее щемящее чувство грусти, впечатление легкой поэтической скорби. Перед картиной хотелось стоять и думать; хотелось вспоминать и вспоминать, и чем дальше, тем больше работа молодого художника входила в известность. Картину стали упоминать в перечне достижений отечественной живописи, а самого автора приглашали в комитеты и комиссии. Постепенно недавний начинающий художник стал «уважаемым Константином Павловичем» и непременно участником выставок, чествований, юбилеев.

Константин Павлович был счастлив, как может быть счастлив человек от большой, всеми признанной удачи. Миновали, как он думал, времена поисков и сомнений, а самое главное — позади годы нужды, когда приходилось чуть ли не разрываться, выполняя какой-нибудь пустяковый заказ для заработка на хлеб, и в то же время думать о том, что лежало на сердце, мечтать о счастливом времени, когда не нужно будет «гоняться за халтурой», а отдавать все силы работе для души. Теперь, думал он, пришел долгожданный успех и он будет работать только для души.

Однако Константин Павлович не торопился приступать к работе. Еще слишком шумен был успех «Расставанья», слишком свежи впечатления неожиданной удачи; к тому же массу времени занимали всевозможные общественные нагрузки, и чем дальше, тем их становилось больше, и Константин Павлович не отказывался от них, а наоборот — принимал с удовольствием. В них его привлекало сладкое бремя признания и популярности, и наедине с собой Константин Павлович все чаще думал с гордостью, что он первый интеллигент в поколении, — отец его едва умел расписаться. В то время Константин Павлович не задумывался над тем, что талант требует самоотверженного отречения, жесточайшей дисциплины. Как первому грамотному в роду, ему надо было бы стиснуть зубы и работать, работать, тем более что в стране тогда наряду с хозяйственными небывалого величия заботами росли и свои собственные художники, но Константин Павлович дорвался до непробованной сладости славы, хлебнул ее и слег — от нежности, от сытости. «Отравился», — как впоследствии с горечью признался он сам себе.

После успеха «Расставанья» Константин Павлович пове-

рил в себя и поэтому очень удивился, когда о его второй картине, которую он выставил через несколько лет, поговорили лишь в силу инерции,— все еще под впечатлением от первой работы. Тогда он не придавал этому особенного значения и выставил третью картину. Но и о ней только помянули где-то в обзоре, и все. Зато с новой силой заговорили о «Расставанье», словно не хотели обидеть уважаемого мастера. Константин Павлович понял это и задумался. Он знал, что «Расставанье» не устарело, наоборот, чем дальше, тем больше люди будут любить постоять перед картиной и с грустью вспомнить невозвратно прошедшие годы. Но ему хотелось новых успехов, а успехов не было. И тогда он решил, что масло, видимо, устарело, и взялся за графику. Но о работах его сдержанно отзывались, и только.

У Константина Павловича опустились руки. Как у всякого истинного художника, некогда сделавшего первый в жизни мазок, живопись должна была заполнить всю его жизнь. Как он был счастлив, когда пришел успех «Расставанья»! Но потом появилась какая-то неодолимая тяжесть, он много писал, выставлял и всякий раз мучился от сознания того, что все это неполноценно. Со временем Константин Павлович забросил и графику, стал искать новые пути, новые средства. О его поисках говорили, писали, но успеха, такого, как от первой картины, не было. Что-то непонятное стояло на его пути, лежало на душе и кисти и не давало счастливого ощущения свободы и радостной наполненности.

В последнее время Константин Павлович писал совсем мало. Он все чаще стоял перед своей первой картиной и — странное дело! — искал секрета ее до сих пор огромного успеха.

В тот раз, неделю назад, на выставке молодых художников только и разговоров было что о работе недавнего выпускника училища. Константин Павлович отдал внизу пальто и трость почтительному, давно знакомому швейцару и стал подниматься. Он любил эти мало посещаемые выставки, любил легкую среду начинающих художников, их товарищей и восторженных подружек, любил с каждым годом все больше, как грустное воспоминание о собственной молодости.

Константин Павлович вошел в зал и сразу увидел, где повешена картина. Он неспешно приблизился, никем не замеченный остановился позади всех. На первый взгляд картина не привлекала ничем Простенький сюжет, никаких, как их называл Константин Павлович, «моднейших выкрутасов». Но скрытая левитановская сила картины начинала действовать исподволь, едва человек задерживался и давал

себе труд посмотреть минуту, другую. Картина будила в душе что-то давным-давно пережитое и, казалось, забытое навсегда, но вдруг сейчас вот всплывшее и властно тронувшее незажившие места. Константин Павлович скрестил на груди руки, взял себя за подбородок и засмотрелся, задумался. Он понимал — у молодых художников была пора увлечения Севером. Но среди обилия давно приевшихся пейзажей именно эта работа почему-то обращала на себя внимание. Константин Павлович, засмотревшись, отметил и прочувствовал скрытое настроение картины. То был Север России, забытая покосившаяся старина, истлевающая на покое. Но вот что странно — чувствовался и сегодняшний бегущий день, и Константин Павлович долго не мог догадаться, в чем же удалось схватить и передать это художнику. Уж не в тучах ли, вернее — в освещении туч, медлительных и величавых, вобравших в себя, в свои хмурые тяжкие подбрюшья, короткий миг неласкового лета и скоро обещавших державный холод глухой российской зимы?

К нему подвели автора — знакомиться. Константин Павлович очнулся и от всего сердца пожал неуверенную, робкую руку. Молодой художник был смущен. Константин Павлович только что думал о собственной молодости и сейчас, оглядывая автора картины, лучше чем когда-либо понимал, что значили косицы нестриженных волос на висках, худая шея, морщинка на неумело отглаженном воротничке дешевенькой рубашки. Это были следы вдохновенной борьбы в полном забвении о самом себе.

Молодой художник не умел скрыть счастья, оно так и плескалось в его огромных, чуточку угрюмых, нетерпеливо искрящихся глазах.

После выставки расстроенный Константин Павлович поехал на дачу, но по дороге передумал и сошел с электрички. Пустой поезд, мелькая окнами, унесся в темноту. Константин Павлович постоял, пока не привыкнут глаза. Он думал, что раньше, в молодые годы, все было проще. Вот это, он знал, он пишет для денег, а вот это — для души. Но потом пришла обеспеченность, пришли успех, известность, и он думал, что работает только для души. А вышло, что писал он только для почета, для того, чтобы быстренько, без усилий и наблюдений, которые не оставляют, не должны оставлять художника всю жизнь, «сделать» вещь и удержаться на волне неожиданно свалившейся славы. «Отравился, разменялся на медяки...»

Константин Павлович вздохнул, поднял воротник и посмотрел на небо.

«Да,— решил он,— надо ехать. Поеду, съезжу, может и заряджусь на большое-то от родных мест».

На другой день он собрал чемодан, захватил мольберт, альбом, краски и поехал в родную деревню, где не был с тех пор, как уехал в училище. Сестра Константина Павловича до сих пор работала в колхозе, изредка писала ему и все приглашала приехать погостить.

2

Недалеко от станции, как объяснил утром дежурный, протекала речка, там обычно купались приезжавшие на элеватор шоферы. «На косушку кому-нибудь сунете — в два счета доставят». Дежурный ради случая был в чистой, но мятой рубашке и по-прежнему в красной, сильно выгоревшей фуражке, которая, видимо, никогда не снималась. Он был неумело вежлив, и Константин Павлович, чтобы только избавиться от его приторного внимания, отправился на речку. «Я бы сопровождал вас, да мне местный встречать,— извинился напоследок дежурный.— Но больше чем на косушку не давайте. А то они любят заломить с интеллигентного человека».

На речке было тихо, хотя несколько запыленных остывающих машин стояло на берегу, у самой воды. Шоферы, побросав где попало одежду, стояли по колено в воде и наслаждались покоем и свежестью. Время было страдное, и в преддверии жаркого дня отдыхали и люди и машины.

На дороге, по которой только что пришел Константин Павлович, слышались тележный дребезг, щелканье вожжей, и легкая подвода рысью выехала на берег. Однорукий возница с рыжими бровями и в пыльном картузе посмотрел на дремавшие у воды машины, на стоявших в сонной речке шоферов и отъехал в сторонку. Торопясь выкупаться, он не стал распрягать, а лишь ослабил супонь и кинул лошади охапку свежескошенной травы. Константин Павлович подошел ближе и с удовольствием уловил, что к бодрящему аромату речной свежести прибавился тонкий и сильный запах конской упряжи. Бренча удилами, лошадь хрустела сочной травой и часто вскидывала голову, словно для того, чтобы лучше видеть, как раздевается однорукий возница.

Инвалид ловко стянул рубаху, скинул сапоги и долго прыгал на одной ноге и тряс другой, чтобы сбросить штаны. Неуверенно ступая по холодной сырой гальке, он подошел к солнечной воде и попробовал ногой — холодна ли? Ему стало зябко, и он потер единственной рукой сильные крутые бока

и усыхающее обезображенное плечо. Солнце поднималось над степью раннее и горячее, и вдалеке, над одиноким стационарным домиком, в пустынных неохватных пространствах копились волны зноя. Однорукому было жаль будить воду. Он пошевелил лопатками и, козырьком приставив к глазам руку, осмотрелся по сторонам. Что-то неуловимо безмятежное показалось Константину Павловичу в этом простом движении изуродованного войной человека, и он пожалел, что нет у него под рукой альбома и карандаша — двумя-тремя штрихами схватить позу отдыхающего инвалида, особенно этот поразивший его жест единственной руки к глазам.

Однорукий возница засмотрелся, как неподалеку шофер моет автомобиль. Загнав машину в реку, шофер черпал ведром и хлестал водой в сизые от пыли борта и крылья. Вода скатывалась, оставляя сверкающую на солнце мокрую поверхность. Утреннее купанье словно придавало машине бодрости, она с удовольствием подставляла свои посеревшие на проселках бока под сильные удары воды из ведра. Притомившаяся в упряжке лошадь замерла с пучком травы в зубах и смотрела, как шофер проворно черпает и льет на машину воду.

Константин Павлович не утерпел и заговорил с инвалидом, когда тот, не забредая особенно глубоко, окунулся с головой и тут же, ахнув и взмахивая рукой, стал выбираться из воды. Однорукий охотно ответил, будто только этого и ждал, — компанейский оказался человек.

— Э, мил человек, — говорил он за одеваньем Константину Павловичу, — я на этих машинах всю Европу преодолел. Как, бывало, сядем, да как дернем, — не поверите: сотню километров за сутки пролетали. Где-то по сторонам бой, выстрелы, а мы знай свое — вперед. Гнали мы его, сердешного, как зайца... Так что плюньте на эти машины. Я, например, на них после войны и глядеть не могу. С лошадью, как увидел после демобилизации, чуть не в обнимку полез, ей-богу! Душевная скотина лошадь: ни тебе грому, ни тебе грохоту. Спокойненько — трух-трух... Хочешь пой, хочешь думай. Подождите, я вот сейчас своего встречу, и мы часика за три как ангелы доедем.

Инвалид оказался из той деревни, где жила сестра Константина Павловича, на станцию он приехал встречать учителя, ездившего «в район».

— У нас тут колхозов осталось: раз, два и обчелся, — рассказывал он, вдеваясь мокрой головой в рубашку. — На совхозы мода пошла. А на что совхозу лошадь? У них вон... — мах-

нул на машины.— Всех куриц подавили. Нет, скоро лошадь только на выставке увидишь.

Однорукий долго не мог сладить со штанами и даже застеснялся при постороннем. Скулы его порозовели, улыбка обнажила великолепные мелкие зубы.

— Вот ведь зараза,— беззлобно ругался он, проталкивая ногу в завернувшуюся штанину. Протолкнул, отбросил с глаз мокрые свалывшиеся волосы.— Правду кто-то говорил, что лучше без ноги, чем без руки. А как по холостому делу да у какой-нибудь солдатки застукают меня? Куда я без штанов? Форменный «хендехох»!— Он сел на гальку и стал обуваться.— Мне тут как-то рассказывал один заезжий... Вас, я извиняюсь, как звать-то будет? А, значит, тетке Дарье нашей братом приходитеесь? Очень хорошо... Так вот, рассказывал мне один проезжий старичок. Поймали они конокрада на деле... ну, в старое, значит, еще время. Поймали и, по обычаю по старому, посадили его раз да другой на землю. Знаете, как это садят-то? Нет? А это поднимают его, сердешного, конокрада-то, да со всего размаху и бьют, я извиняюсь, задним местом оземь, а лучше о пень. Исключительное наказание, после этого не надо и на поруки брать. Так вот, ударили его таким манером раз да другой и стали пальцы ему рубить...

— Ужас какой-то!— невольно содрогнулся Константин Павлович.

— А как иначе-то?— беспечно возразил инвалид, ловко наворачивая портянку.— Газетку ему читать? Раньше этого в моде не было. Так, значит, рубят ему пальцы, а он об одном молит. Жизни ему не жалко, а богом просит, чтобы оставили хотя бы два пальца. «Штаны, говорит, чтобы застегнуть». Вот тут и суди, мил человек,— однорукий поднялся на ноги и улыбнулся широкой хорошей улыбкой,— суди, что нашему брату важнее. Выходит, важнее штаны в порядке содержать. Ну, садитесь, подъедем сейчас к станции, заберем нашего и айда — пошел. Думаю, пока жары нету — доберемся.

Солнце начало припекать, когда они подъехали к станции. До реки отсюда было далековато. Подошел местный поезд, однорукий поставил подводу в тень и пошел встречать.

Константин Павлович остался лежать в телеге, на траве. Косили траву, как он догадался, рано утром, по росе. Она еще не успела завянуть и пахла влажными соками земли. Сырой этот запах напомнил Константину Павловичу луговую свежесть раннего утра, когда солнце еще томится за высоким берегом парной уснувшей речки, напомнил петушиный переклик в оранжевом тумане на заре и еще что-то, родное и за-

бытое с годами, но сейчас подступившее к сердцу и памяти, как неясная дымка навсегда прошедшего детства. Лошадь лягала ногой и крутила хвостом, отбиваясь от назойливых мух. Константин Павлович мечтательно щурил глаза и покусывал сочную пресную травинку. Не верилось, что он далеко от Москвы, где-то на затерянной под огромным жарким небом земле, не верилось, что на несколько месяцев брошена дача, заперта квартира, остались пылиться шкафы с книгами и старый дорогой рояль, за которым он любил думать долгими вечерами, не зажигая огня. Все это брошено до осени, до поздних московских заморозков, когда так тепло и уютно становится в ресторанах, где тебя давно знают и встречают с уважением, когда начинается жизнь в салонах выставок и в концертных залах. Константин Павлович представил себя на концерте, в притихшем зале, когда меркнет, приглушается свет, смолкают настраиваемые инструменты и все внимание публики на ярко освещенном бархатном занавесе,— и с внезапной тоской оглядел приземистое, обитое дождями здание станции, чахлый садик и жалкую подводу с изъеденной мухами лошадепкой.

Пришел однорукий и с ним учитель, которого он ходил встречать. Учитель был в кепке и старом брезентовом плаще. Он без всякого внимания поздоровался с Константином Павловичем, снял плащ и посмотрел, куда бы его положить. Константин Павлович приподнялся и сел. Сидеть было неловко, и он не знал, куда девать себя. Учитель небрежно бросил в телегу плащ, подскочил и сел сам. Однорукий возница, хлопоча вокруг подводы, видел, что Константин Павлович оказался в самом задке телеги, он мимоходом подвинул в сторону плащ, освобождая художнику больше места, и наконец уселся, подпрыгнув на телегу так же, как и учитель. Оглянулся:

— Ну, поехали?

— Давай,— тихо уронил учитель

Инвалид неистово закрутил вожжами, лошадепка поджала хвост и, влезая в хомут, сорвалась на мокрой под копытами земле.

— Но-о, ишь ты!— злорадно крикнул возница, но ударить вожжами пожалел. Покатили.

Трясло телегу отчаянно. Хорошо еще, что спасала трава. Окончательно расстроившись, Константин Павлович пожалел, что не стал искать попутной машины. Сел бы в кузов, один, а тут трясись несколько часов, да еще изволь отвечать на расспросы, которыми не преминут засыпать приезжего... Однако

на него никто не обращал внимания. Однорукий и учитель переговаривались впереди о чем-то своем, и Константин Павлович, сморенный солнцем и душным запахом начавшей вянуть травы, мог только догадываться, что разговор идет о каком-то тракторе и о запасных частях, необходимых для ремонта. Оба они часто упоминали Корнея Ивановича,— имя это всякий раз вызывало старого художника из забытья.

Телегу обгоняли машины, и Константин Павлович морщился от тяжелой горячей пыли, которая долго висела над дорогой. Он пробовал укрывать лицо полой пальто, но тогда становилось совсем душно и сильнее клонило в сон,— все-таки последнюю ночь он почти не спал.

Внезапно ему показалось, что трясти стало меньше, колеса пошли мягче и воздух посвежел,— с грунтовой дороги подвода свернула на малолюдный проселок. Константин Павлович утомленно посмотрел на нестерпимо яркое марево над лугами, вытянул затекшие ноги и закрыл лицо беретом. Его укачивало, и последнее, что он слышал,— это деликатный, вполголоса вопрос однорукого: правду ли говорят, будто брат тетки Дарьи выбился в большие люди? Учитель оглянулся на дремавшего в задке телеги художника и тоже шепотом ответил:

— Ну, как же, известный человек. Сколько писали о нем.

— В газетах? Смотри ты!— уважительно протянул инвалид.

Константин Павлович усмехнулся, лег поудобнее; от сердца у него отлегло. «Хорошие люди»,— подумал он и больше ничего не слышал.

Проснулся он, когда въехали в деревню. Зной стоял над сухими крышами изб и пыльными палисадниками. В горячей, как зола, пыли копошились куры. Невыспавшийся, с помятым лицом, Константин Павлович олядывался, ничего пока не соображая. Сухой прокаленный воздух резал глаза. Накалившаяся одежда горела на плечах.

Лошаденка бойко бежала по улице. Учитель на подводе не было,— слез где-то раньше.

Константин Павлович не успел толком осмотреться и узнать забытые места, как телега остановилась и однорукий зычно окликнул:

— Танька! Эй, Танька, не знаешь, тетка Дарья дома?

Константин Павлович обернулся и увидел молоденькую девушку с загнутыми, как рожки, косичками и босиком. Девушка с интересом рассматривала привставшего в телеге художника.

— Дома,— нараспев ответила она, по-прежнему не сводя с приехавшего глаз.— Не видишь сам, что ли...

Инвалид огорченно крикнул.

— Стеганул бы я тебя за такие-то за ответы. Чему вас только в школе учат?— И повернулся к Константину Павловичу: — Дома сестрица. Вон, встречает. Телеграммка-то, видно, не дошла.

Константин Павлович и сам теперь смотрел во все глаза. У ворот небольшого дома, знакомого вроде и в то же время неузнаваемо забытого, низенького, сильно подавшегося в землю, на скамеечке в тени забора сидела женщина и чесала длинные волосы. Когда остановилась подвода и однорукий окликнул Таньку, женщина выпростала из-под волос лицо и, обирая с гребня, всмотрелась, кто приехал. Константин Павлович встретился с ней глазами: «Неужели она?» Сердце его забилося: господи, сколько лет прошло! Женщина, убирая с лица волосы, медленно поднялась и, боясь верить, все смотрела и смотрела в родное, изнакомое от старости лицо. Но вот всплеснула руками и как была, босая, простоволосая, кинулась к телеге. Константин Павлович спрыгнул на землю...

3

Утром неряшливый, но свежий со сна Константин Павлович направился во двор, однако на самом пороге сенцев остановился и восхищенно закрыл глаза,— до того солнечно, буйно-зелено показалось ему с непривычки на родной земле. Он постоял, с удовольствием ощущая на запрокинутом лице и открытой шее горячее прикосновение солнечных лучей, и снова раскрыл глаза. Да, вот он, совсем было забытый уголок, где, оказывается, каждая веточка, каждая дорожка, как, например, вон та, к перелазу через соседский плетень, все же памятни в душе и, видимо, будут неистребимы, куда бы ни бросала человека судьба. Даже после знойного рая тропиков, после пышных красот южных побережий, как далекий образ быстро и навсегда закатившегося детства, будут вспоминаться пожухлая огуречная плеть в осеннем огороде, и горьковатый дымок вишневых сучьев от прогоревшего костра, и кадушечный запах сырости из старенького, совсем запущенного без отцовских рук колодца.

Растроганный воспоминаниями Константин Павлович неуверенно прошелся по двору — не то юстом, не то хозяином. «Нет,— подумал он, не вынимая из карманов рук,— отвык и от всего, отбился». Но оглядывать отцовский двор было прият-

но,— приятно узнавать, вспоминать забытое. Однако вот этой яблоньки за заборчиком Константин Павлович не помнил. Может, без него уже посадила сестра? Ну конечно, без него. Сколько лет яблоньке и сколько его здесь не было... Константин Павлович подошел к заборчику и наклонил ветку. Удивился — что за черт? Среди пыльной листвы синели и розовели крохотные бутончики будущих соцветий. Это на осень-то глядя!

— Сестра! — громко, с удовольствием в своем доме закричал Константин Павлович. — Сестра, что это у вас с яблоней-то? Никак, цвести собирается?

Дарья, деятельная сегодня с ранней поры, совсем потерявшая голову от хлопот, выглянула в окно.

— Да господь ее знает, — ласково ответила она, когда Константин Павлович повторил вопрос. — Мы уж совсем рубить ее собирались, а она — гляди-ка!

— Странно.

— Ну иди, иди в избу-то, — позвала сестра.

Константин Павлович усмехнулся: «Радешенька...» И точно — Дарья настолько обрадовалась гостю, что не знала, куда его и посадить. Она и угодить старалась, и угостить так, чтобы было не хуже, чем у людей, и все хлопотала и сбивалась с ног, — в конце концов Константину Павловичу стало даже совестно, и он, как мог, умерил пыл сестры. Еще вчера, до бани, принимая брата с дороги, Дарья к слову ввернула, что пусть он не сомневается, что дом этот его, Константина Павловича, и она все время знала это и, как могла, сберегала оставшееся после отца-матери добро; пусть уж не обессудит, если она где и недоглядела: известное дело — баба, да и время идет, время косит. Константин Павлович вновь замахал на нее руками и даже пристыдил: какие она счеты вздумала сводить? Но Дарья настояла на своем и, пока не рассказала обо всем, до тех пор не успокоилась.

Расстроенный Константин Павлович не знал, куда и глаза девать. Мыслимое ли дело, сколько лет его не было! Он скитался незнамо где, жил как хотел и годами даже подумать забывал, что где-то остался у него родной человек, а вот сестра, зная, думала и помнила о нем все эти годы, помнила и тянула суровую колхозную лямку, пережила, как он слышал, неудачное замужество, ставила на ноги детей и пуще глаза берегла отцовский последний завет, будто старик, умирая, знал, что придет время и сын его Костюха вернется на родную землю, в родительский дом, завещанный ему, как единственному мужику в семье.

Дарья обстоятельно докладывала, что собиралась в этом

году подновить отцовский покосившийся домишко и, грешным делом, с этой целью пустила постояльца на квартиру, парнишку-комбайнера из бывшей МТС,— все мужская рука в хозяйстве, где пособит, где достанет что. Она рассказывала, будто отчет давала настоящему, наконец-то объявившемуся хозяину, и Константин Павлович, чувствуя себя в душе невыносимо скверно, тут же решил, что перво-наперво дом он передаст сестре, это ее дом, она его хозяйка, а не он, шатун по белому свету. Потом — и к дому даст чего-нибудь, ну, денег там, еще чего... Словом, Константин Павлович готов был провалиться сквозь землю, только бы хоть чем-нибудь загладить свою долготлетнюю вину перед сестрой.

Вчера же, пока Константин Павлович отдыхал с дороги, а потом разбирал чемодан и устраивался, раскладывался на новом месте, сестра сбегала к соседям, попросила истопить баню и быстро натаскала воды, затопила. Перед тем как уйти, она предложила брату:

— Может, пройдешься пока? Соскучился, поди, по родным-то местам.

Но Константин Павлович остался дома, и сестра ушла. Впрочем, скоро она пришла и тут-то затеяла свой не то рассказ, не то отчет о доставшемся ей на руки хозяйстве...

Баня истопилась ближе к вечеру, и Константин Павлович распояской, с бельем под мышкой, как в былые времена еще мальчишкой вместе с отцом, направился через огород к соседскому плетню. Прохладный тихий вечер, порушенный лаз через плетень, темная банька с зарослями лебеды на крыше, а в лебедь вместо трубы ржавое ведро без дна — все это узнавалось внезапно и неожиданно ярко и близко. Не успел он раздеться, как послышались быстрые шаги и голос сестры позвал из-за закрытой дощатой двери:

— Костенька, ты не сердчай, я отсюда... Тут постоялец мой приехал, Митюшка,— я тебе рассказывала. Пусть уж и он с тобой помоемся? А?

— Да пожалуйста,— отозвался Константин Павлович.— Что за церемонии?

— Вот и ладно!— обрадовалась сестра.— А парнишка он спокойный, уважительный. Да и спину тебе потрет,— все польза.

В душе же Константин Павлович был недоволен, что помешали его одиночеству. Он так было разнежился от воспоминаний!

Постоялец был невысокий плотненький парнишка с кокетливой челочкой и татуировкой на плече. Беспокойство от него

было небольшое, если не считать, что он тотчас же поддал великого жару и принялся с наслаждением париться. Константин Павлович париться не привык, и ему пришлось переждать, пока уймется постоялец. А тот, дорвавшись после полевой маеты до бани, постанывал от удовольствия и хлестал себя без пощады по плечам и крепкой мальчишеской груди, подняв локти и отворачивая от жара пылающее мокрое лицо. За все время Константин Павлович и постоялец обмолвились лишь несколькими словами, да и то лишь на прощанье, когда Константин Павлович, вымывшись, вышел одеваться, взял свое, привезенное из Москвы, банное полотенце, расстелил его на лавке, сел и накрыл колени. Парнишка, уже одетый, собирался уходить. Константин Павлович, помолчав, спросил о том, что не выходило у него из головы с тех пор, как он увидел Дарью:

— Послушайте, молодой человек, скажите, пожалуйста, как здесь сестра живет?

Он надеялся, что Митюшка если и не знает сам, то хоть от людей слышал что-либо о семейной жизни сестры, но парнишка помялся и не сказал ничего толком.

— Да как вам сказать?— неуверенно ответил он, глазами окидывая предбанник — не забыл ли чего.— Как вам сказать... Живет. Как все... Живут же люди.

Константин Павлович вздохнул и стал одеваться. Когда он вернулся из бани, Митюшки уже не было.

— К девкам залился,— ответила сестра.— Вырвался на вечер. Теперь до зари.

Она накрывала на стол и все убивалась, что как же это брат не отбил телеграммы или письмишка не бросил,— она бы хоть пирог испекла. Надо было дать телеграмму. У них теперь почта есть, так что принесли бы в тот же день. Ну ничего, на завтра она уже тесто поставила.

Стол был накрыт, как заметил Константин Павлович, из последнего, но по выражению значительности на лице сестры он видел, что она горда и этим, что и у нее даже при негаданном случае есть чем принять человека. У ней даже в поллитровке что-то нашлось, и она налила брату в старенький мутный стаканчик и самую малость себе, в чайную с трещинкой чашку. На душе у нее было так полно и радостно и за гостя, и за стол, что она от полноты этой простосердечно пояснила, откуда у нее, вдовы, начатая поллитровка.

— Постоялец мой как-то еще на прошлой неделе забегал. Комбайн у него, что ли, сломался. Они там теперь днюют и ночуют. Ну, забежал, да не один, а с товарищем, а тут еще

и Серьга, однорукий-то, «мил человек», который тебя привез. Ну и выпили по стаканчику, да не допили. А остальное-то я убрала. Смотри ты, будто знала!

Ласковыми материнскими глазами она взглядывала на распаренного, усталого брата, который все еще не мог найти как держать себя и у стола сидел неуверенно, совсем чужим человеком. Потом она примолкла на минутку, как бы соображая, все ли она соблюла, что надо, не забыла ли чего,— и с просветленным лицом подняла свою чашечку:

— Ну, держи давай.

Было в этом движении столько трогательного и нежного, что Константин Павлович, хоть и не позволял себе пить водки, от всей души потянулся и чокнулся, хотел сказать что-то, но смешался, махнул рукой и лихо опрокинул стаканчик в рот. Глядя, как он морщится и переводит дух, сестра умиленно кивала добрым отцветшим лицом.

— Ох, тятенька бы сейчас поглядел!— вырвалось у нее. Не опуская чашки, она проворно нагнула голову и вытерла набежавшую слезу и лучистыми влажными глазами посмотрела на брата.— Ладно, ладно, ты не смотри на меня,— произнесла она, будто извиняясь за неожиданную слабость, и, подняв брови, стала пить из чашечки и выпила легко, не морщась, как воду.

Константин Павлович закусил и, не зная, о чем говорить, поднялся из-за стола. Как посторонний стал он рассматривать старые пожелтевшие фотографии, собранные в одной большой рамке под стеклом. Он узнал фотографии и спросил о детях сестры. Ведь большие уж теперь должны быть... Спросил и тут же понял, что попал впросак. Оказывается, сестра писала ему обо всем. Писала она ему не часто, но аккуратно, обстоятельно обо всех сколько-нибудь заметных событиях в ее жизни. И о детях писала. Или это почта, провалиться ей совсем, потеряла письмо? Константин Павлович что-то сконфуженно пробормотал, припоминая, что действительно писала ему в свое время сестра обо всем этом. Сын ее, хороший, работающий парень, не вернулся с фронта, после войны уж схоронила Дарья мужа, а лет пять назад вышла замуж и уехала из родной деревни дочь. Не оседает молодежь в деревне, не задерживается, бежит, едва подрастет, в города, на заводы и рудники.

— В МТС у нас еще многие уходили,— рассказывала раз-румянившаяся после выпитого Дарья.— Теперь вот похерили МТС, вроде завернули мужиков в колхозы. А вообще-то не видел ты, братушка, нашей беды. Не дай и не приведи! Да спасибо еще Корней Иванычу нашему,— хозяйственный человек.

Не дал согнуть колхозу шею... Ты клуба-то нашего еще не видал? Ну, как же, сходи посмотри. Роялю купили — не хуже, чем в городе. Артисты вот приезжали — не протискаться было. Сейчас что, сейчас жить можно! А на клуб ты обязательно сходи, — о нем в газете даже писали. И с Корней Ивановичем по-видайся, — он любит со свежим человеком поговорить. А о тебе, пока ты мылся, он уже справлялся. Я за дрожжами бежала, так встретила его... Хороший человек!

4

Председателя колхоза Константин Павлович увидел на следующий же после приезда день.

Первую ночь в родительском доме он спал крепко и проснулся поздно. Проснулся он от громкого голоса сестры и, бодро вскочив, поинтересовался, из-за чего шум.

— Да черемушка у меня в палисаднике стоит, — пожаловалась Дарья; встала она сегодня чуть свет и, забрав волосы под платок, деловито орудовала у печки. — Уж такая ли рясная была черемушка! Так нет, всю обломали. Лезут и лезут. Ну, ребятишки пошли!

После торжественного пирога Константин Павлович оделся и отправился осматривать деревню. Одеваясь, он заботился о том, чтобы не выделяться среди здешних, благо, что и костюм он захватил с собой самый будничней, дешевый. Дарья, провожая его, еще раз наказала обязательно посмотреть клуб, и Константин Павлович, медленно шагая по главной улице в своем простом, но отлично сшитом костюме, помахивал тросточкой и соображал, как бы ему без расспросов выйти к клубу.

Собственно, найти клуб оказалось делом совсем несложным. Продолжая идти по главной улице, Константин Павлович вышел прямо к приземистому, но просторному зданию, не кирпичному, рубленному на совесть, добротно и долговечно. Сбоку полуоткрытых дверей висела какая-то афишка, надо полагать — о занятиях кружка самодеятельности. Подходить ближе Константин Павлович не стал, а все стоял поодаль, смотрел и думал о своем, о том, что в его время никакого клуба в деревне не было и если была надобность, то людей собирали в правлении — самом большом доме деревни, не считая, конечно, школы. В школе-то и приохотился будущий художник к рисованию, и, видимо, даже сейчас, если только порыться в школьных архивах, можно еще найти его первые «произведения», которым в свое время была оказана небыва-

лая честь висеть в школьном зале и даже в правлении... Так стоял и снова вспоминал Константин Павлович и в задумчивости не заметил, не слышал, как подошел, скрипя деревянным протезом, председатель колхоза, постоял сзади, подождал и напомним о себе легким покашливанием.

— Любуетесь?— спросил Корней Иванович, небрежно кивнув на клуб.— Ничего клубишко... Копеечку нам, правда, стоил, да... что поделаешь?

Был он грузен и, как показалось Константину Павловичу, неряшлив, но, присматриваясь к новому человеку, проявлял крайнюю деликатность — взглядывал изредка, как бы мимоходом и неназойливо. Разговаривая, слазил в карман за кисетом, свернул сигарку — все это не торопясь, настраиваясь на душевный разговор.

— Вложили мы в него, нечего сказать,— говорил Корней Иванович, облизывая краешек завертки и принимаясь оглаживать сигарку заскорузлыми, нездоровой полноты пальцами.— Да ведь никуда не денешься. Теперь без клуба нельзя. Народ наелся, его на культуру стало тянуть. Дай клуб, дай рояль... Ну, думаю, нате вам... Нет,— он снова взглянул на клуб,— ничего, не жалеем.

Он стоял с готовой сигаркой, и приезжему, чтобы окончательно закрепить знакомство и расположить к себе председателя, требовалось поднести спичку или зажигалку — смотря кто чем богат,— но не знал этого Константин Павлович, да и, к сожалению, не курил. Корней Иванович пошлепал губами с приклеившейся сигаркой, незаметно бросил на художника сожаляющий взгляд и полез за спичками сам. Но, видимо, что-то еще располагало его к гостю, если он не ушел, вежливо приподняв картуз, а остался стоять, неловко навалясь всей тяжестью грузного тела на деревяшку. Молчал и Константин Павлович, соображая про себя, что, судя по сизым, нездоровым щекам председателя, ему помимо клуба и о себе не мешало бы позаботиться — в Кисловодск, скажем, съездить или еще куда, да и на диету переходить полегоньку; вон и руки опухли от нездоровья же.

— Я слышал, на побывку приехали,— не вынес молчания Корней Иванович.— Доброе дело... Дом, он тянет.

Константин Павлович не ответил.

— А что, не взялись бы вы нарисовать нам картину?— неожиданно бодро предложил Корней Иванович, и художник догадался, что этот разговор и был целью председателя, как раз с этой своей мыслью он спрашивал вчера о нем у Дарьи.— Таковую, чтоб — знаешь!— за душу брала!— и даже кулаком по-

тряс энергично, выражая этим высшую степень того, как должна взять за душу картина.— Мы бы ее...— честно говорю!— мы бы ее в самый передний угол повесили в клубе. А что? Если хорошая картина, не жалко и переднего угла. Вот давайте-ка попробуйте? А?

Константину Павловичу стало неловко от простодушного предложения председателя. Чтобы не обидеть его усмешкой, он поспешно кашлянул, прикрывая рот ладонью, и с минуту рассматривал свои начищенные штиблеты. «А и халтурщики же, видать, мотаются у них по деревням!»

Приняв его молчание за раздумье, Корней Иванович ободряюще хлопнул его по плечу:

— Да что тут думать-то? Рисуй, и все. И не говори мне ничего!— поспешно вставил он, увидев, что Константин Павлович поднял голову и хочет что-то сказать.— Рисуй. Рисуй и не думай! Ну, если уж на то пошло, то я тебе скажу...— он хитровато прищурился и придвинулся ближе.— За нами не пропадет. Понял? Могу тебе даже гарантию дать. Много не обещаю, а худо-бедно... да, в общем дорогу оправдаешь. Ну, договорились?— и, надеясь на благодарность приезжего, потратившегося в дороге человека, протянул покровительственно хозяйскую руку.

В душе Константин Павлович расхохотался над этим жуликовато шутившимся пухлощеким мужиком. В Москве, совсем недавно, его просили оформить спектакль в одном из ведущих театров. Предложение он получил после того, как жестоко и решительно разобрал все, чем занимался лучшие годы своей жизни, годы после огромного успеха «Расставанья». И наотрез отказался от предложения театра, не чувствуя в себе достаточного душевного влечения для этой в общем-то лестной для каждого художника работы... Теперь, чтобы не обидеть Корнея Ивановича, он деликатно сказал, что приехал не для заработка, а со своей определенной целью, что пусть его извинят, но он не может принять этого предложения.

Константин Павлович старался говорить как можно убедительнее, честно глядя в доверчивые и не ожидавшие отказа глаза председателя. По мере того как он говорил, в глазах Корнея Ивановича пропадала жуликоватость. Он оскорбленно убрал протянутую руку, крикнул и приподнял над большой потной головой выдавший виды картуз.

— Ну, тогда извиняйте, если так. Мы ведь от простоты души. А коли воздухом приехали дышать, так дышите, запасайтесь. У нас его тут пропасть.

Повернулся грузной оплывающей спиной и пошел прочь, сильно припадая на деревяшку.

Поглядев ему вслед, Константин Павлович вздохнул: ну вот, не успел приехать, а уже конфликт. Но почему он не догадался раньше подарить родной деревне какую-нибудь из своих работ? Вот уж это никуда не годилось! Надо, надо подарить. Вот вернется домой и придет. Обязательно!

Он собрался идти обратно, но увидел вчерашнюю босоногую девчонку, которую однорукий Серьга окликал Танькой. Константин Павлович узнал ее по загнутым, как рожки, косичкам. Похоже, что Танька давно уже разыскивала председателя, — звонко окликнув его с другой стороны улицы, она подбежала к нему. Корней Иванович сердито остановился и смотрел на подбегавшую Таньку зверем. Константин Павлович не расслышал, что сказала девушка, но по гневному жесту председательской руки понял, что Корней Иванович отказал ей в чем-то коротко и наотрез. Танька всплеснула руками и стала настаивать, но Корней Иванович, сделав несколько шагов, повернулся к ней всей тучной фигурой. Константин Павлович видел его сизые прыгающие щеки и злые припухшие глаза... Корней Иванович тоже обратил внимание, что за их разговором наблюдают, и сказал девушке что-то такое, от чего она сразу сникла, понурилась, а едва председатель похромал дальше, она в сердцах плюнула ему вслед.

Константин Павлович подождал, пока девушка не поравняется с ним. Она шла медленно, все еще переживая обиду и покусывая косичку. Но глаза ее, как заметил Константин Павлович, уже светились любопытством и то и дело посматривали на него. Завести разговор, таким образом, оказалось совсем не трудно.

На расспросы Константина Павловича девушка не стала таиться и тут же выругала ухромавшего куда-то по своим делам председателя:

— Черт безногий! Из-за копейки подавиться рад. Мало ему все.

И она рассказала художнику о своей обиде. Дело, как выяснил теперь Константин Павлович, касалось все того же трактора, о котором говорили по дороге со станции однорукий Серьга и учитель. Оказывается, учитель деревенской школы Борис Евсеевич, воспользовавшись ликвидацией МТС, уговорил председателя купить старый никудышный трактор, брать который никто из колхозов не хотел. Уговорил он Корнея Ивановича тем, что разбитый трактор сослужит ученикам добрую службу на уроках труда. Корней Иванович поломался, но,

прельстившись дешевой, деньги дал. С грехом пополам тракторишко доставили в школу, стараниями Бориса Евсеевича откуда-то появились недостающие детали, и ребята сами отремонтировали и пустили машину. «Эге», — тут же смекнул Корней Иванович и наложил на трактор свою пухлую хозяйскую руку. Он не мог допустить, чтобы такая необходимая в колхозе машина служила, как он говорил, «для забавы». А ребята, как рассказывала Танька, уж совсем настроились получать дипломы трактористов. Вот и получили...

— С этим безногим чертом получишь, как же! Такую даль таскались в МТС, чтобы только за руль дали подержаться. А тут... А вы правда картины рисуете? — вдруг быстро спросила она, бросив на художника наивный горячий взгляд.

Константин Павлович снисходительно усмехнулся и повел бровями. А Танька смутилась, опустила голову и принялась чертить по пыли корявым некрасивым пальцем босой ноги. Трогательная тень ложилась от ее ресниц на загоревшие тонкие щеки, и по-детски торчали рожки косичек.

— Случается, знаете ли, иногда, что и рисую. — Константин Павлович не нашел ничего лучше, как перейти на шутливый тон.

— Ой, я так люблю картины! — с неожиданной силой призналась Танька, не замечая иронии художника. — Вы знаете, сколько я их уже собрала? Из всех газет и журналов вырезаю. И открытки... Ведь Корней Иванович хоть и скупой, а на книжки денег не жалеет. Не верите, — у нас клуб все московские журналы выписывает. Да! Я вот не знаю, вы видели или нет такую картину. Видно, муж... или там парень работал на целине. И к нему приехала жена. Он ее встретил и, видно, радехонек. Выскочил из кабины, схватил ее на руки и — так держит, так держит!.. Не видели?

— Отчего же? — И Константин Павлович назвал картину и фамилию художника. — Ничего работа. Ничего. Ну, а что еще вам понравилось... из последних хотя бы?

Константин Павлович не заметил, каким образом у него появился живой интерес к этой босоногой девчонке. Или это просто дорог ему предмет разговора, то, по чему он соскучился за последние дни?

Они пошли по улице и продолжали говорить — худощавый седой человек в изящном костюме и с тросточкой и понурая девчонка с зажатой в кулаке косичкой. Танька назвала еще несколько полотен, в свое время нашумевших на выставках, и Константин Павлович, постепенно увлекаясь, принялся рас-

сказывать о художниках, написавших эти картины,— со многими из них он был хорошо знаком.

— А знаете, у нас здесь тоже есть, рисуют. У одного даже на областную выставку взяли. Правда!

— Интересно,— пробормотал Константин Павлович, помахивая тросточкой.

— А наш учитель пишет. Ну, сочиняет что-то...

— Борис Евсеевич?

— Вы уже знаете его?

— Вчера ехали вместе.

Они подошли к дому Константина Павловича и остановились. Танька принялась было снова чертить по пыли, но спохватилась и подобрала ногу.

— Что ж, это все неплохо... Неплохо... — неизвестно к чему произнес Константин Павлович, совсем не думая о каких-то там литературных упражнениях деревенского учителя. Танька не поднимала головы. Смешные косички и тонкие ключицы в большом вырезе сарафана придавали ей что-то трогательно детское, однако в сильных ногах, в начинавшей крепнуть фигуре уже было много женского. Особенно ему нравились глаза Таньки, темные, опущенные красивыми ресницами, и он подумал, что эти глаза очень оживили бы коненковскую скульптуру нагой расцветающей девушки.

— Ну... я пойду? — не то спросила, не то просто сказала она, взмахивая своими ресницами и с досадой поджимая корявый палец босой непослушной ноги.

— Разумеется,— ответил Константин Павлович.— Значит, что же — до свиданья?

Под пристальным заинтересованным взглядом художника что-то дрогнуло в ее доверчиво раскрытых темных глазах, она опустила ресницы, но тут же вскинула снова, и ответный взгляд ее получился чуточку лукавым и загадочным. Константин Павлович приятно удивился, хоть ему и неловко стало своего пошловатого тона, сделал шутливый церемонный поклон, чем смутил ее окончательно, и, постукивая тросточкой по лопухам, необыкновенно живой походкой направился домой.

5

Дома, не зажигая огня, сумерничали Дарья и однорукий Серьга.

— Долго, долго, мил человек, гуляешь! — бодро встретил Константина Павловича инвалид.— Мы уж заждались.

— Извините, не знал,— проговорил Константин Павлович, успев разглядеть на столе начатую поллитровку.

— К нам присаживайтесь,— радушно пригласил Серьга и шибко налил в пустой стакан из поллитровки.

Поднялась Дарья, тихо спросила:

— Проголодался, поди? Садись, я сейчас соберу.

Константин Павлович сел за стол, пощупал клеенку и осторожно поставил локти,— переодеться он не стал. Инвалид был навеселе, размяк и настроен был поговорить. Он часто затягивался из папироски, вскидывая голову, сильно дымил и пепел стряхивал в распахнутое окошко. Пустой рукав его пиджака был засунут в карман.

— Вы извините, Константин Палыч, что я это... так вот...— начал он, выкидывая окурочек.— Незванный гость, конечно, сами понимаем...

— Что вы, что вы! — горячо запротестовал Константин Павлович.— Я очень рад. Уверю вас!

— Ну рад не рад — не в этом дело. А я к тетке Дарье частенько захожу. Дело бобылье,— посидим, поговорим. У нее свое, у меня свое. А нынче иду — и диву дался: яблоня-то у вас! За-поз-дала заневеститься! — Серьга выглянул в окно и долго смотрел на расцветающее дерево, сокрушенно покачивая головой.— И вот скажи — совсем человеческое дерево! А? Все одно как человек какой,— хочет взять свое, и точка.

— Закон природы,— сказал Константин Павлович, чтобы поддержать разговор.

— Верно сказали! — тотчас подхватил пьяненький Серьга.— Закон. Но — дурной закон.

Константин Павлович удивился.

— А я сейчас вам скажу,— пояснил Серьга.— Я скажу... Тетка Дарья,— позвал он собиравшую брату ужинать Дарью.— Тетка Дарья, ведь эта яблоня, кажись, у вас года три яловая ходила?

— Два,— уточнила Дарья.— Два. Я уж сказывала, что совсем собирались рубить, а она — на тебе!

— О! — Серьга поднял палец.— Слышишь? Вот так и человек какой, а чаще всего бабы — самое-то золотое времечко профукают, а потом как хватаются да как начнут выкобенивать,— ну как вожжа все одно под хвост попала. Что, не согласны?

— Да и-нет,— неуверенно ответил Константин Павлович, принимая из рук сестры тарелку.— Только я должен сказать...

— Нет, нет, нет! — вдруг горячо запротестовал Серьга,

хватая его за руку, и Константин Павлович замер с не донесенной до рта ложкой.— Вы выпейте, выпейте, а после уж и закусите. Давайте-ка,— и он звякнул своим стаканом в стакан Константина Павловича.

В сумеречном свете была четко видна граница налитого в стакане.

— Сопьюсь я у вас,— усмехнулся Константин Павлович, поднимая тепловатый стакан.

— А, умный проспится, дурак — никогда,— заявил Серьга и заученным движением, не глотая, вылил водку прямо в горло.

— Практика,— заметил Константин Павлович.

— Есть немного,— согласился Серьга, со слезами нюхая ломтик малосоленного огурца. Захрустел.— Так вот я вам и говорю,— снова начал Серьга, прожевывая огурец.— Про яблоню или все одно что про людей. Бабы эти... Я уж не помню, но, кажись, у немца какого-то я читал... Цвейг. Знаете, такого? Ну вот. Здорово он про баб пишет! Так их, сушек, и выворачивает.

— Ненавидите, я вижу, вы их,— вставил Константин Павлович, пригубив из стакана и быстро заедая.

Серьга гневно фыркнул:

— Да есть за что!

— А Цвейга всего читали?

— Все, что было в клубе, все прочитал. У нас теперь с книжками раздолье.

— Вот это хорошо,— сказал Константин Павлович, и вышло у него неожиданно тепло, искренне и убедительно.

— Но больше всего я люблю... эту... как ее?... Ольгу... Ольгу... Да за историю все пишет!

— А-а... Форш? — подсказал Константин Павлович.

— Во, во, Форш. Здорово баба пишет. Прямо как мужик. Молодец!

Константин Павлович поел, отодвинул тарелку. Сестра спросила:

— Еще?

— Нет, спасибо.

Единственной рукой Серьга вынул из кармана сильно надорванную пачку папирос и прямо из пачки взял папиросу зубами. Закуривая, он помахал рукой, гася спичку, и сощурился от дыма закушенной папиросы.

— А вот вам,— сказал он,— не мешало бы обратить внимание на одного товарища из местных.

— А что такое? — заинтересовался Константин Павлович.

— Да пишет человек. Про нас сочиняет. Я, правда, не читал, но... головастый же мужик!

— А-а, Борис Евсеевич?

— Знаете уже? — удивился Серьга.

— Слышал.— Константин Павлович вспомнил рассказ Таньки, вспомнил саму девушку, и в груди его неожиданно отозвалось тепло и грустно, и ему захотелось остаться одному.

Вернулась убиравшая со стола Дарья и спросила, не зажечь ли свет.

— Нет, нет, не надо,— запротестовал Серьга и стал собираться. В низенькой темной кухне он показался неожиданно высоким, головой под самый потолок. Он стоял и привычно хлопывал себя рукой по карманам.

— Да посидел бы,— сказала Дарья.— Куда тебе торопиться?

— К куме пойду,— отозвался в темноте подобревший голос инвалида.— Кума теперь уж заждалась.

— Поклон ей,— сказала Дарья.

— Ладно... Ну, прощайте пока. Извиняйте, что не по звану зашел.

— Да будет тебе! — запротестовали и Дарья и Константин Павлович.— Заходи почаще.

После его ухода брат и сестра посидели еще и Дарья рассказала печальную Серьгину историю. По ее словам выходило, что женился «мил человек» по отчаянной любви и, когда на следующий после женитьбы год грянула война, он в немыслимой тоске от предстоящей разлуки хотел чуть ли не руки на себя наложить. Переживал он страшно и на фронте, и уж потом, после войны, в сильном подпитии говорил как-то, что потому его и пуля никакая не взяла, что очень уж он любил и метался сердцем, а от пули якобы большая любовь заколдована. Но, зная, недаром металось беспокойное Серьгино сердце, чужло недоброе,— так оно и оказалось. Вернулся он к опозоренному дому, к разбитой семье и с тех пор ожесточился и о бабах говорил только уничтожающе, делая единственное исключение для кумы, одинокой, немолодой уж фельдшерицы, которую давно знала и любила за доброту и отзывчивость вся деревня.

— История...— задумчиво протянул Константин Павлович.— И что же, жена еще здесь?

— Что ты! Уехала.

— Не простил?

— Сказывают, в ногах валялась. Отрезал.

— Да-а...— Константин Павлович хотел спросить сестру о ее замужестве, о котором он слышал очень отдаленно и неясно, но подумал и не спросил.

Посидели еще, и Дарья зазевала, запотягивалась,— пошла стелить.

Ложиться рано Константин Павлович не привык и от безделья принялся рыться в ящике колченогой и обшарпанной тумбочки, с незапамятных времен стоявшей в углу, на провалившейся гнилой половице. Ящик был набит какими-то пожелтевшими бумагами. Константин Павлович наугад взял одну и долго с недоумением читал и перечитывал, пока наконец не понял, что это метрическая выпись сестры. «Сохранилась же!» Потом ему попались старые облигации, потом нарядная царская ассигнация в пять рублей, потом непонятная карточка. Он перевернул ее и, удивленно подняв брови, полез ближе к свету. В голове после вышитого шумело и в теле была усталость. Константин Павлович смотрел на давний выцветший рисунок на картонке, узнавал, что рисовал его он сам, рисовал акварелью, но вот когда, кого — не припомнить. Время сильно испортило рисунок, но все же можно было разглядеть мутное скуластое лицо девушки, просторное, плохо сшитое платье и, главное, волосы, прямые, безжизненно висевшие до плеч,— такие прямые волосы Константин Павлович видел у какой-то французской кипозвезды.

— Сестра,— позвал он,— помоги ты мне, ради бога. Никогда не могу узнать, хоть убей.

Дарья еще не спала. Она зажгла свет, села в постели в одной простенькой грубого холста рубашке и долго вглядывалась в рисунок, бережно держа его далеко от глаз.

— А-а, ну как же... Неужели забыл? Да в соседях у нас, Марья была,— помнишь? Ну, ты еще на каникулы приезжал... Да господи, неужели Вишенку-то забыл?

И тут только Константин Павлович хватил себя по лбу. Боже мой, конечно же! Ну точно, это она, та самая. Беленькая, нежная девчонка... Ах, время, что оно делает!

Взволнованный Константин Павлович присел на постель сестры и с нежностью смотрел на выцветший рисунок.

— Я же тебе писала,— или забыл? — рассказывала Дарья, почесывая в перепутанных волосах и натягивая на голые оплывшие руки одеяльце.— Схоронили мы ее. Постой, когда же?.. Да уж в конце войны, кажись. Время-то голодное было, а здоровьишко никудышное. Писали мы тебе, писали...— и сердобольно глядела, как на старое, увядшее лицо хорошо и нарядно одетого брата легла дымка задумчивости.

Константин Павлович вздохнул, опустил руку с рисунком, но потом поднял и снова взглянул — уже пристальней.

— Слушай-ка, а это не ее... Даша, дочери у нее случайно не осталось? Дочери?

Дарья удивилась, не зная, как расценить внезапное волнение брата.

— Осталась. Да такая ли еще осталась, не приведи бог! Кому-то и медаль же на шею растет — настоящий ухорез!

— Это Таня-то? Да перестань ты! — Расстроенный словами сестры, он резко поднялся и ушел к себе.

Давно все затихло в доме, уснула сестра, а Константин Павлович все ходил по горнице, едва не касаясь головой потолка, и часто задевал состарившиеся столик, тумбочку, комод. Садился на кровать, но тотчас снова поднимался... Потом он вышел из дома, но и в прохладном дворике, под беспорядочными мириадами отчаянно горевшего Млечного Пути, не приходило успокоение. «Значит, Таня — дочь Вишенки, значит...» И так все дальше, все бессмысленней билось в голове.

Тихо, звездно и грустно было в мире.

Но нет, вскоре послышался шум и по дороге мимо дома, вскидывая лучи света, прошла машина; потом еще одна, еще... Константин Павлович стоял долго, и все время по дороге шли и шли машины. Была уборка, машины день и ночь возили зерно.

Константин Павлович подошел к калитке. Когда машины проходили и дорога оставалась пустынной, вдалеке, за деревней, начинали перемигиваться огоньки, множество огоньков. Они сходились, раздваивались, роились, как в муравейнике, и Константину Павловичу показалось, что сразу же за деревней, за дорогой — обрыв, а под ним, черное и безбрежное, спит и вздыхает море. По морю ходят деловитые катера, и их огоньки снуют в темноте, как светлячки.

Иногда, когда уж совсем становилось глухо, долетал еле слышный стрекот комбайнов.

Заглядевшись на огоньки, Константин Павлович поздно заметил низко-низко в небе ущербный рожок месяца. Он заваливался далеко-далеко, за степью, и в глазах старого художника еще несколько минут блестел его умирающий отраженный свет.

Возвращаясь в дом, Константин Павлович остановился у заборчика и утопил лицо в холодной листве яблони. На щеках он ощутил нежное, словно детских пальчиков, прикос-

новенье, пошарил в темноте, сорвал и сразу вспомнил о запоздалом цветении. Константин Павлович понюхал начинавшие распускаться бутончики, но не давали они желанного аромата ликующей весны. Одинокое, осеннее цветение ждало дерево, и Константин Павлович, уронив сорванную веточку, снова произнес: «Значит, Таня...» Держась обеими руками за штакетник заборчика, он сильно отвернул лицо и только сейчас, за все время, что вернулся на отцовскую землю, ощутил неясный туманный зов теперь надолго вошедшей в его сердце тоски, непередаваемо грустную, по-настоящему чудесную боль воспоминаний.

6

Стукнула дверь, когда Константин Павлович возвратился в дом, кровать, где спала сестра, закрипела. Дарья пробормотала что-то во сне и снова задышала ровно, громко, — намаялась за день.

Тоже вот, подумал Константин Павлович, остановившись над спящей сестрой, прожита жизнь, а что теперь? После прожитых нелегких лет, после своего замужества, — а выходила она, как слышал Константин Павлович, за какого-то тронувшегося умом, совсем почти сумасшедшего мужика, — после всего этого стала она обычной трудовой русской бабой. А ведь была шустрая, проказливая девчонка — чистое наказание для матери. Уж большенькую, отшлепав за что-нибудь, мать жалела ее, задаривала и заботливо укладывала спать. Гасилась лампа, выл в трубе ветер, и мать тихо пела старинные песни без слов. Сестренка засыпала трудно и спала беспокойно. Возвращаясь с гулянок, задержавшись где-нибудь чуть не до свету, он осторожно проходил через кухню и всякий раз видел, как разметавшись, спала сестренка; откиннутая ручонка ее свисала с кровати.

Константин Павлович еще и теперь хорошо помнил, какое легкое, почти невесомое ощущение тела бывало в эти минуты поздних возвращений домой. Только тяжеловата была голова, сухо резало глаза, и хотелось одного, об одном была забота — спать, кинуться в постель и забыться до тех пор, пока не начнут надоедливо брнужать у закрытых щелястых ставен мухи, мельтешась в ярких лучах пробивающегося солнца. Тогда не думалось о романтике рассветов и ранних зорь, — много их еще будет в жизни.

Едва успевал лечь, вставала и шаркала по кухне мать. Сон сваливался здоровый, крепкий — молодой.

А вот теперь не спалось. Константин Павлович лежал и моргал в темноте.

...Тогда вот так же, как и сегодня, низко над деревней каленым закатным цветом рдел полумесяц. Была поздняя пора, и он с той, что нарисована акварелью на картонке, уходил от деревни в луга, лежавшие в те времена нераспаханными настолько далеко, насколько хватал глаз. Стояла пора сенокоса, и в лугах сохли травы. В росистые влажные ночи они пахли особенно пряно, отдавая сохранившееся в копнах тепло июльского полдня. Отава колола девушке ноги, но она шла, полузакрыв глаза, и почти лежала на его плече. Простенькая, бесхитростная девчонка казалась ему тогда воплощением всего, о чем он соскучился в надоевшей сутолоке безалаберной московской жизни,— неяркая зорька за тальниками, капли росы с покорных листьев в темное зеркало омута, кривая береза на развилке дорог в хлебном поле и мокрый звяк коровьего ботала в туманных лугах... В тот вечер он особенно настойчиво уговаривал ее уйти с ним в луга, и уговорил. Она покорилась, и в глазах ее плыл, качался серебристый зыбкий свет позднего месяца.

Когда деревня осталась далеко, Константин Павлович нетерпеливо притянул девушку к себе и стал быстро целовать ее теплую шею и незащитные детские ключицы. Она гибко перегнулась в его руках, сильно уперлась в грудь, и при свете месяца он увидел ее испуганные, дикие глаза, разметавшиеся прямые волосы. Она что-то крикнула, сдавленно и отчаянно, он не послушал и продолжал ломать ее сильное горячее тело. Тогда она рванулась, и острый удар по лицу погасил в его глазах волшебный мерцающий свет. Он будто проснулся, увидел лежавшую на копне плачущую Вишенку, насмешливо горевшие звезды и темное безлюдное поле, куда он обманом затащил доверчивую девчонку. Ему стало стыдно, стыдно всего, и он побрел, натыкаясь на копны, пошел все скорее, наконец побежал в деревню.

На следующий день, не сказав ничего вразумительного ни матери, ни сестре, он уехал.

Стыдно было ему и в поезде, но перед Москвой он обрел необходимое равновесие и решил, что для дипломной работы не так уж обязательна деревенская натура.

Скоро замелькали подмосковные дачки. Он представил себе свою комнатнушку, откуда солнечным московским утром приятно смотреть на расстилающиеся вдаль разномастные крыши и слушать долетающий снизу городской гул, внезапно вспомнил унылую глухую кирпичную стену соседнего

дома, но в той стене пробитое окно с беленькой занавеской и в окне каждое утро бойко хозяйничавшую девчонку, с которой он шутливо раскланивался из своего окна каждое утро,— он представил себе все это, и в душе его наступил долгожданный покой, и он поверил, что в нынешнем одиночестве станет работать много, упорно и хорошо. Он будет работать, насвистывать и часто поглядывать в окно, а девушка напротив будет целыми днями лежать, перевесившись через подоконник, и бросать голубям крошки...

Приехал он вечером, а утром, словно торопясь укрепиться в своих намерениях, бросился к запылившемуся окну и распахнул его. Крыши, целое море московских крыш убежало вдаль, но в окне с занавеской, высунувшись, торчал какой-то парень и сосредоточенно плевал вниз, стараясь попасть на клюющих внизу, в колодце двора, голубей. За его спиной художник разглядел бойко хозяйничавшую девчонку и в сердцах закрыл окно.

Работа у него не клеилась, и, понаблюдав день, другой да третий, как парень старательно плюет вниз, Константин Павлович «вырвал» до срока причитающиеся ему в каком-то месте деньги и, подумав, поехал в Крым. Там, казалось ему, будет легче, бездумнее, он отвлечется от всего и сможет наконец работать.

Картина, которую он собирался готовить к выпуску, была им давно продумана, оставалось лишь засесть,— но в то крымское лето все изменилось самым неожиданным образом. Он написал картину, но много позже и совсем не ту, что задумал.

В Крыму он поселился в небольшой деревушке под Балаклавой, в семье веселого рыбака грека Славы Михалиди. Работалось плохо. Стояли душные, безветренные дни, и лениво вздыхавшее море нехотя накатывало на берег редкие волны цвета мутного бутылочного стекла. В такой нестерпимо жаркий, безжизненный день, когда солнечный свет лежит на воде почти осязаемой белесой мглой, он разговорился на пустынном берегу с молоденькой девушкой, впервые приехавшей в Крым без матери. Они разговорились, девушка часто звала его плавать, но он оставался лежать на берегу и без улыбки смотрел на ее широкий, почти детский лифчик, застегнутый на несколько пуговиц, и на узкие розовые ступни, когда она, осторожно ступая по горчей гальке, шла к воде.

В деревню они возвращались вместе, и девушка, поколебавшись, согласилась зайти в гости, посмотреть этюды.

Из чахлого огородика тотчас выбежал хозяин, Слава Михалиди, черный и невыразимо косматый, как цыган-барышник. Он в немом восторге вздел руки и, приветствуя девушку, хрипловато прокричал одну из своих известных всей деревне прибауток: «Боже мой, и где вы сохнете свое белье!» Буйные волосы Славы лезли из-под войлочной шляпы, сам он был приземист и кривоног, в длинных трусах и майке, и девушка рассмеялась весело и от души. Слава и его жена, робкая, с огромными печальными глазами гречанка, угощали девушку терпким прошлогодним вином и скумбрией. Жареная скумбрия плавала в жиру — «в подливке», и радушные хозяева, черные, прокаленные солнцем до синевы, все подвигали блюдо девушке:

— Да вы попробуйте подливу. Берите, берите больше.

Слава бегал в огородик за помидорами, и оттуда раздавался его гортанный голос признанного в деревне шутника:

— Радикальное срэ-эдство против клопи, блохи, тараканы!.. Радикальное срэ-эдство...

Тем летом они тихо и безмятежно прожили целый месяц на берегу моря. Константин Павлович наслаждался покоем и присутствием доброго неназойливого человека, чья любовь принималась им как нечто само собой разумеющееся.

Когда пришло время уезжать, он собрался с легким чувством, думая о чем угодно, только не о том, что они разъезжаются и больше никогда не встретятся. Всерьез о девушке ему не думалось еще и потому, что слишком уже легко далось ему это знакомство. Встретились, разъехались... Словом, в ту пору у него еще оставались безграничные запасы молодости.

Теплоход протяжно протрубил, густой звук поплыл от моря к горам и затерялся в выжженных пространствах Яйлы. Теплоход пятился в море кормой, и Константин Павлович еще долго мог различать на берегу худенькую фигурку девушки. Она стояла, по-детски сомкнув на груди локти, и пальцами вытирала щеки.

Константин Павлович спустился в каюту, но там было душно. На узенькой койке храпел толстый пьяный армянин. Художник поднялся на палубу и пробыл там всю короткую летнюю ночь. Он стоял у борта, смотрел на струящиеся от форштевня ребристые волны, на огни иллюминаторов в воде и думал о девушке. Он уехал, а маленькое любящее сердчишко осталось в огромном, беспечно веселящемся муравейнике отдыхающих. Кому до него дело!.. Константин Павлович вспомнил, как вчера, возбужденный сборами и предстоя-

щим отъездом, предстоящей дорогой и встречами с друзьями, по которым он успел соскучиться за лето, он влетел в комнату, где девушка укладывала его чемодан, и застал ее врасплох,— близко у лица она держала его рубашку и плакала. Он не стал окликать ее, а она провела рубашкой по лицу, вздохнула и уложила ее в чемодан. И сейчас, стоя на палубе, Константин Павлович пожалел, что поступил так небрежно и бессердечно.

Утром из Одессы он этим же теплоходом поехал обратно. Он нетерпеливо смотрел вперед, ожидая, когда покажутся знакомые каменистые берега и генуэзские башни. Теперь он называл ее самыми ласковыми именами и был счастлив и добр ко всем.

Черный как грач Слава Михалиди, в трусах и в шляпе, изумился, увидев его, стремительно распахнувшего калитку, закричал: «Боже мой, и где вы сохнете...» — но, взглянув в лицо художника, осекся. Оказывается, девушка уехала вчера же, и Слава, все время, пока художник убито сидел на чемодане, сочувственно цокал языком, переступал босыми ногами и скреб под шляпой.

Потом Константин Павлович прошел на берег, где они прощались накануне, и просидел до темноты. Солнце и море померкли. На берегу стоял острый запах гниющих водорослей. К вечеру стало накрапывать, и, пока Константин Павлович поднялся на глинистый обрыв, поросший желтой высохшей колючкой, дождь спустился плотный и отвесный. В море было мутно и спокойно, редкие волны, успокаиваясь, не достигали берега. Намытая полоса ракушечника, обозначающая линию прибоя, лежала далеко от воды, будто море под дождем убавилось в берегах.

Константин Павлович пошел в порт.

Остаток лета и осень он упорно работал над картиной. Он оброс, похудел, но глаза его горели одержимо, он словно подстегивал себя, боясь, что у него не хватит сил довести работу до конца.

Так появилось знаменитое «Расставанье».

Он вложил в эту картину всю свою грусть по прошедшему лету, всю запоздалую нежность к одинокой, оставленной девушке. Теперь он твердо знал, что прожитое не вернется,— и точно, никогда в жизни он больше не испытывал того, что дало ему то беспечное балаклавское лето. У него потом бывали серьезные увлечения, но что-то перегорело в душе, и всякий раз он думал, что, может быть, где-то бьется о нем еще и сейчас стареющее сердце. И на него

все чаще находила непонятная тоска, грусть по тому, чего никогда не вернуть.

Константин Павлович вначале опасался, что грустное звучание картины вызовет критику, но все обошлось. Знатки говорили, что художник прочувствовал и тонко передал чистые тона русского неба, глубокие оттенки, казалось бы, неприхотливого серого цвета.

Картина была проста. Вечер, скоро дождь, и девушка на берегу реки. Ушел пароход, девушка смотрит вслед его меркнувшим огням. Скоро гроза, она уже висит над городком, над притихшей рекой. Девушка пока не замечает ее. Она постоит, потом тихо пойдет домой, пойдет, все время думая о том, кто уехал на пароходе. Дома она будет долго сидеть одна перед тусклой лампой, слушать раскаты грозы, вздрагивать и кутаться в теплую материнскую шаль. Она будет думать о том, как неистовствует на угрюмой реке ветер и хлещет дождем в сырые борта дряхлого пароходика. А когда отгремит гром и гроза свалится за реку, за далекий, чуть заметный на картине лес, она подождет-подождет в тишине и заплачет, и будет плакать долго, пока не уснет. А утром выйдет в тихий с тяжелыми от воды ветвями сад, солнечный, туманный, послушает, как капает с деревьев, послушает свист иволги, и ей почудится тихий шепот деревьев,— то ласковые тучи солнца шарят по просыхающей листве. И девушка вздохнет полной грудью, взглянет на солнечную мирную реку,— и больно уколется в сердце. Но она все же легко засмеется и побежит через сад к берегу, а потом вниз, к реке, оскальзываясь и взмахивая руками, чтобы не упасть...

7

Разговор состоялся неожиданно-негаданно.

Выйдя утром из дому, учитель Борис Евсеевич увидел быстро идущего ему навстречу художника, приезд которого явился событием в деревне. Борис Евсеевич видел, что художник куда-то торопится, но тем не менее, поздоровавшись с ним, не утерпел и сделал попытку завязать пустяковый, лишь для закрепления знакомства, разговор.

— Так рано? — очень приветливо удивился он.

Константину Павловичу ничего не оставалось, как придержать шаг.

— В поле хочу проехать,— ответил он с таким же дружелюбием, с каким обратился к нему учитель. Возбужден-

ный хорошим утром, быстрой ходьбой и предстоящей прогулкой, Константин Павлович и в самом деле торопился, но отказаться от разговора с учителем, о котором у него за время дороги со станции осталось не очень-то приятное впечатление, не мог. Константин Павлович рассчитывал пробыть в деревне месяц, от силы полтора, — значит, выбирать знакомых не приходилось: с любым он сегодня знаком, а завтра — прощай и — навсегда.

— В поле? — удивился Борис Евсеевич. — А, понимаю. На поиски типажа?

— Что вы! Просто так. Посмотреть. Плесневеем же в городе...

— Уж вы скажете! — И Борис Евсеевич посоветовал взять с собой какого ни на есть провожатого: одному и заблудиться недолго.

— У меня есть, — неохотно признался Константин Павлович, надеясь закончить разговор и идти дальше. Танька, видимо, уже собралась и ждет, поглядывает на дорогу.

— Ну, с таким провожатым вы ни за что не пропадете! — рассмеялся Борис Евсеевич.

— Что, бойка?

— Да как сказать... Самостоятельна уж очень.

— Так это хорошо!

— Хорошо-то хорошо... Вот вам бы на недельку раньше приехать, — на концерт бы наш самодеятельный попали, послушали. Эта чертовка вылезла с такими частушками — все ахнули. Так Корнея Иваныча отчесала, что он, бедняга, до сих пор на меня косится. Думает, что я ей помогал писать. А она сама, ей-богу!

— То-то он на нее накинулся! — вспомнил Константин Павлович сцену разговора председателя и Таньки.

— По правде-то, она зря его... Но это долгий разговор. Вы заходите как-нибудь, хоть со скуки. Поговорим.

— Спасибо. Зайду обязательно, — пообещал Константин Павлович и заторопился.

— Желаю удачи! — крикнул вдогонку учитель.

Солнце поднялось высоко, Константин Павлович снял куртку и, быстро шагая, помахивал ею. День предстоял жаркий — это он понял по тому, как солнце припекало его худые, бледные руки, уже давным-давно не знавшие загара.

Танька увидела его издали и, пока он шёл, не спускала с него темных, преувеличенно серьезных глаз. Константин Павлович старался казаться подтянутой, бодрее.

— А я уж думала, не придете,— протяжно сказала Танька.

Она стояла, прислонившись к чьему-то палисаднику. Косынка, завязанная под подбородком, делала ее старше, в движениях была какая-то леность, и Константин Павлович подумал, что прогулка их похожа на заранее назначенное свидание, ему стало совестно своей радости, с какой он собирался в поле.

— Почему же не приду? — спросил он, не в состоянии пока подобрать подходящий тон для разговора.

— Да мало ли что... Ну, пойдемте, что ли?

Трогаясь следом за девушкой, Константин Павлович подумал: интересно, знает ли она, что он хорошо помнит ее мать вот такой же девчонкой? Хотя откуда?

— Танюша,— позвал он,— что это за частушки вы сложили про Корнея Ивановича?

Она живо обернулась:

— А вы-то откуда узнали?

— Да уж узнал!

— Не надо,— сказала Танька.— Это я со зла, сдуру. Да еще при всем народе! Зря я на него.

Она шла с опущенной головой и теребила концы косынки. Константин Павлович, украдкой наблюдая за ней, ощутил в груди нежность и подумал, что очень уж чувствителен стал он в последнее время. Но все равно это было приятно,— приятно сладкое воспоминание, когда он смотрел на девушку. Как это он сразу не разглядел, что она очень похожа на мать!

Тяжелая трехтонка, скрипнув тормозами и пропуская вперед тучу пыли, остановилась совсем рядом, и задумавшийся художник испугался.

— Танечка,— высунулся из кабины чубатый веселый шофер в кепочке и тельняшке,— садись, если по дороге.

Танька неловко освободилась от руки Константина Павловича,— оказывается, он инстинктивно обнял ее, прикрыл собой.

— Поедемте? — тихо спросила она, поднимая смущенные глаза.

Бедовый шофер, скаля зубы, ждал.

— Как хотите,— сказал Константин Павлович.

Танька догадывалась, что он недоволен, но в то же время она видела и улыбающуюся рожу шофера.

— Поедемте! — решительно сказала она.— Садитесь в кабину, а я наверх.

— Нет, вст,— запротестовал Константин Павлович, попиная, что машина остановилась только ради нее.— В кабину вы.

И настоял.

В кузове, полном зерна, было неудобно, но потом он примостился, стал на колени и доехал отлично. Ему было мягко. Машина шла тяжело, ровно, упругий ветер приятно обдувал лицо и грудь. Константин Павлович щурил глаза, озирая желтеющие кругом поля, и пуще всего боялся не удержаться и заглянуть в кабину. «Этого еще не хватало!»

Машина остановилась, исчез ветер, и разом ощутима стала жара и великая сушь. Константин Павлович неловко спрыгнул на землю,— заломило ноги: надо было все-таки спуститься поаккуратней.

Танька, веселая, со спущенной на плечи косынкой, сильно хлопнула дверцей кабины.

— Танечка,— крикнул шофер,— я могу подождать на обратном!

— Ладно, посмотрим! — отозвалась она, не оборачиваясь и убегая вперед.

Константин Павлович, чтобы не отстать, зашагал быстрее.

То, что ночью казалось ему загадочно-красивым, днем выглядело совершенно иначе. Ночью, издалека, огни комбайнов напоминали о блуждающих в море кораблях, днем же уборочные агрегаты были отчетливо видны, их оказалось не так уж много, и не понять было, откуда создавалось такое обилие огней в ночном поле. Хотя своя красота имелаась и в дневной работе комбайнов. Она была скромнее, будничней, но — была, и Константин Павлович, едва поспевая за Танькой, мало-помалу пригляделся и в какой-то момент забыл обо всем, что существовало в свете, кроме этого огромного созревшего хлебного поля. Оглядываясь, старый художник про себя подивился величине страны, и маленькой, немыслимо далекой показалась ему отсюда привычная Москва. Нет, не о Москве здесь думалось, совсем не о ней.

Танька в простеньком будничном платье и стоптанных туфлишках резво бежала по свежей, казалось, еще сохранившей гуденье спелых колосьев стерне, подхватывала сползавшую с плеч косынку и, оглядываясь, радостными, смеющимися глазами звала попутчика поторопиться, удивлялась его медлительности, укоряла, что приходится ждать. Здесь, в поле, она тоже становилась другой. Константин Павлович, неся под мышкой надоевшую куртку, утирал зажатой в кулаке беретом воспаленные виски и смотрел, запоминал, ды-

шал. Сухой пшеничный ветер оседал на губах чуть заметной пыльной горечью и стягивал потную кожу. Комбайны, захлебываясь от обилия, резали и резали такую плотную стенку хлебов, что на сильные, туго кланявшиеся под ветром колосья можно было лечь и качаться, как на морской волне. И не было конца сухо шелестящим янтарным волнам, они возникали издалека, накатывались оттуда, где голубизна знойного неба постепенно переходила в тусклый померанцевый цвет старого золота.

Танька вела своего попутчика в дальний загон, где стоял усталый комбайн и на толстых валках сидели люди и обедали. Она намного опередила Константина Павловича, и когда он, уставший, задыхающийся от жары и пыльного запаха тяжелого спелого зерна, подошел, то люди из уважения перестали есть и сдержанно, ожидая чего-то, поздоровались. Неловко было всем — и обедавшим, и Константину Павловичу, только одна Танька темными счастливыми глазами оглядывала всех, словно еле дотянувшийся до места привала старый художник был ее собственным изобретением.

Среди обедавших Константин Павлович узнал крепенького Митюшку и однорукого Серьгу, который привез комбайнерам обед и по случаю закусывал с ними. Сидели еще какие-то незнакомые, все как один черные от полевого загара люди, и от их выжидающего молчания художнику было не по себе. Впрочем, продолжалось это недолго. Танька, нагнувшись к дружескибно смотревшему на художника Митюшке, что-то проговорила, указывая на себя и Константина Павловича, потом сделала страшные глаза, вырвала у него ложку, бросила и потащила самого к стоявшему рядом громоздкому агрегату. Митюшка, снисходительно улыбаясь, покорился.

Танька на ходу заговорщически подмигнула ничего не понимавшему Константину Павловичу, потащила с собой и его.

— Пойдемте, пойдемте, ну их! — Она взяла его за руку столь решительно, что он едва успел кивнуть обедавшим на прощанье. — Я сейчас вас прокачу. Не верите? На тракторе. Честное слово.

Она погнала Митюшку на комбайн, к штурвалу, а сама взобралась и уселась на широкое, похожее на громадный лепесток металлическое сиденье трактора.

— Лезьте сюда, — подгоняла она задержанного художника. — Ну, чего же вы? О господи! Да хватайтесь вот за это, так... Ногой теперь сюда. Ну и все! Эх, вы...

На этой чумазой, горячей под солнцем машине Константин Павлович почувствовал себя неуверенно. «Колеса эти,— думал он, озираясь.— Да и держаться, признаться...»

Танька оглянулась, Митюшка с комбайна помахал ей рукой. Не успел Константин Павлович устроиться, как трактор застрелял, загрохотал и вдруг, к ужасу его, дернулся, и страшные колеса по сторонам, чуть не задевая брюки, начали поворачиваться, пронося мимо вырванные комья и стебли стерни.

Испуганный художник взглянул на Таньку,— лицо ее сверкало восторгом. Она что-то кричала ему, показывая в ослепительной улыбке зубы,— он ничего не мог разобрать.

Так они сделали большой круг и остановились недалеко от того места, где обедали комбайнеры. Обед уже кончился, и Серьга успел запрячь. Оглохший, совсем потерявший голову Константин Павлович недоуменно оглядывался во внезапно наступившей тишине.

— Ну что, правда здорово? — тормошила его восхищенная Танька.— И вы заметили — я все сама: и завела, и завернула, и выключила? А? Ну, слезайте, слезайте, чего стоять!

Пока Константин Павлович растерянно топтался и приходил в себя, Танька подбежала к спускавшемуся с комбайна Митюшке и, радостно подпрыгивая на одном месте, ждала, пока он сойдет, и что-то говорила, говорила. Константин Павлович, чувствуя непривычное головокружение, бесцельно отряхивал рукав.

Соскочив на землю, Митюшка незаметно оглянулся и приятно счастливую Таньку, поцеловал.

— Ты, дурной! — звонко удивилась она, высвобождаясь, и быстро оглянулась на художника.

— Растрясло твоего старикашку,— беззлобно усмехнулся Митюшка, глядя, как потерянно топчется у трактора художник.

— Ты думаешь? — испуганно спросила Танька.

— Так видно же!

— Ой, тогда я побегу! — спохватилась она.— Вот дурная я, вот дурная!

— Постой! — Митюшка хотел удержать ее и не успел.— Слушай, когда приедешь?

— Не знаю! — беспечно крикнула она, убегая.— Некогда все, некогда!

Константин Павлович не видел, как Митюшка поцеловал девушку, но на душе у него было скверно. Он сердился на

себя, на свою слабость и никчемность, на свои морщины, в них свербило от пыли и пота, и поэтому на все участливые расспросы Таньки отвечал односложно, сердито. Их взял в свою телегу Серьга и, прислушиваясь краем уха к разговору, лихо накручивал над головой вожжами.

— Поговорили бы вы с Корней Ивановичем,— просила Танька, трясаясь в пустой телеге.— Он, может, послушает вас, как приезжего. Забрал трактор, и горюшка ему мало. А мы что теперь? Только в город уезжать, на завод. Не понимает он, видно, этого, вот и остаются у него в колхозе одни инвалиды. Хромые, да кривые, да... безрукие.

Серьга внушительно и солидно крикнул, но промолчал. Танька, не обращая на него внимания, продолжала:

— А мне, вот вы не верите, мне отсюда уезжать смерть не хочется. Честное слово! Устроилась бы я трактористом и работала бы себе. А что? Вон Паша Ангелина... Я, Константин Павлович, про нее все книжки прочитала и думаю, что теперь время такое,— любая работа может быть женской. Честное слово! А уж о тракторе и говорить нечего.

— На Луну ты еще не собиралась? — подал голос Серьга.

Не замечая издевки, Танька ответила серьезно:

— А что? На Луну бы я слетала. Мне, главное, на одном месте сидеть хуже горькой редьки.

— Тогда тебе в заготовители надо подаваться,— съязвил, как черту подвел, Серьга.

— Понес! — отмахнулась от него Танька.

Константин Павлович, держась обеими руками за грудку, посмотрел на сердитое красивое лицо Таньки и подумал, что ничего-то не осталось у нее от матери,— даже характер какой-то цыганский.

Впереди на дороге стояла знакомая трехтонка, и шофер в кепчонке и тельняшке нетерпеливо поглядывал на подъезжавшую подводу.

— Ты бы вот, красавица,— удовлетворенно заговорил Серьга,— ты бы вот рассказала лучше, зачем на Корней Ивановича частушку возвела?

— И еще сочиню! — огрызнулась Танька.— Мало, видно, ему.

— Эх, и стеганул бы я тебя кнутовищем!

— Ладно, ладно! Все бы ты стегал! Стой-ка, дай сойти,— и, не дожидаясь, пока Серьга натянет вожжи, она прыгнула с подводы и подошла к стоявшей трехтонке.

— Где тебя носит? — накинулась она на предупредительно распахнувшего дверцу шофера.

— Танечка, золотце,— изумился он,— да я тебя уж сколько жду! На всю железку жал, думал...

— Ну ладно, жал он! — И Танька, захлопнув за собой дверцу, независимо вздернула голову и даже не посмотрела на удивленных Серьгу и художника.

Трехтонка ушла, тронул лошадь и Серьга.

— Ну, язва,— сказал он.— И в кого только такая? Видали, как она?

— Да видал,— вздохнул Константин Павлович.

— А председателя не слышали, как она осрамила?

— Рассказывал Борис Евсеевич.

— Рассказывал! Тут видеть надо было, слышать! Народу полон зал, а она его, а она его!.. Ну, девка!

— А может, было за что? — заметил до смерти уставший художник.

— Было... Может быть, и было. Да разве кого из нас не за что драть? Все не святые. А только не надо бы забывать, мил человек, что до Корнея-то Иваныча было! Бывало, выйдешь на базар, а там одни семечки да милиционеры. А сейчас — не сравнить. Сейчас жизнь стала хоть куда. Мыслимо ли дело — о нас в газетах стали писать! О нас! Когда это было?.. Оно конечно,— помолчав, продолжал Серьга,— Корней Иваныч скуповатый мужик, это у него есть. Но ведь и транжирить-то ему никто не давал права. Ведь общество-то, оно его избрало, оно с него и ответ спросит. А дай он трактор такой вот, как Танька. Ну, поработает она день, поработает другой. А потом возьми да и надоешь ей все, возьмет она да и сломает трактор. С кого за это голову будут снимать? С нее? Как бы не так. С нее взятки гладки.

— Но ведь она же водит трактор,— возразил Константин Павлович.— Сама научилась. Значит, стремится...

— Стремиться-то она стремится,— согласился Серьга.— Этого у нее не отнимешь. И вообще головастая девчонка,— чего зря говорить. Только вот... только вот мужиком бы ей лучше родиться! Что такое девка? Баба, она баба и есть. Жалко мне ее, пропадет она в своем женском звании!

8

Борис Евсеевич вежливо пропустил художника в комнату и вошел сам.

— Тут вы совершенно правы,— говорил он.— Мало, обидно мало работали у нас с молодежью. Судите сами — почему молодняк бежал из родных деревень и сел? Да потому, что

он не только не любил этой проклятой отцовской работы хлебороба, а и боялся ее. А раз так, он и земли-то знать не хотел и никогда не любил ее. Впрочем, сейчас вроде молодежь стала оседать на отцовской земле. Демобилизованных стало много приезжать, школьники остаются. Но работы, настоящей работы, чтоб привить вот эдаким еще пацанам и девочкам любовь к земле,— такой работы ведется недостаточно.

Борис Евсеевич занимал половину небольшого домика, крытого почерневшими трухлявыми горбылями. В небольшом оградке, в углу, Константин Павлович разглядел поставленную на столбы бочку с отгороженной кабишкой для купанья. Этой своеобразной душевой установкой Борис Евсеевич и прельстил уставшего после поездки в поле художника. Константин Павлович даже размяк, представив себе, как прохладные упругие струи воды бьют в горящие плечи.

Пока он купался, Борис Евсеевич сидел поодаль на бревнышке и громко рассказывал:

— Представьте себе, что всю эту механику мне ребята сами устроили. И бочку взгромоздили. Мое дело только воду таскать.

— Отличная механика,— хвалил блаженствующий в кабине Константин Павлович. Он стоял под щедрым освежающим дождем, закрыв глаза и подняв обожженное солнцем лицо.

Борис Евсеевич с улыбкой прислушивался к плеску воды.

— Ребята у меня молодцы,— говорил он.— Все сами. Это был у нас тут один вьедливый старикашка, даже членом родительского комитета состоял. Так он прямо из себя выходил: «Все-то вы, говорит, превзошли в своей школе, а вот заставь вас пилу развести — и не сможете». Что же, крыть нам нечем. Стали мы тогда ребят понемногу приучать. Это потом уж постановление вышло об уроках труда. Ну, а сейчас у нас почти каждый ученик умеет не только трактор или машину водить, а даже маломальский ремонтешко произвести.

— Значит, вам и нужно воевать с вашим Корней Ивановичем,— снова ввернул Константин Павлович.— Вы же сами понимаете, что он ребят по рукам бьет.

— Не-ет,— мягко возразил учитель.— Он все это прекрасно сам понимает... А вы что так скоро? — вдруг спросил он, не слыша плеска воды.

— Достаточно,— благодушно пробасил из кабинки Константин Павлович.— Большое спасибо.

— Может быть, воды не хватило?

— Что вы, что вы!

Снимая заботливо перекинутое через стенку чистое полотенце, Константин Павлович обратил внимание, как покраснели и болят от малейшего прикосновения руки. «Не заметил-таки, сжег».

— Видите ли,— снова заговорил Борис Евсеевич, дождавшись, когда гость оденется,— Корней Иванович очень своеобразный человек. Я скажу даже больше — он талантливый человек. Это мое искреннее убеждение. Но талантлив по-своему, как вообще талантлив почти каждый из наших людей. Я вот никак не перестаю удивляться — сколько все-таки зарыто хорошего в людях! А особенно в ребятне. Поистине счастлив народ, который имеет таких ребятнишек!

Константин Павлович испытующе взглянул в худое умное лицо учителя, подумал и спросил:

— Скажите, я слышал, что вы пишете. Вы об этом, видимо, и пишете?

— Да,— несколько помедлив, ответил смутившийся учитель.— Но это только желание написать. А вы сами понимаете, что между желанием и сущим... Однако я работаю. Сижусь как проклятый. И я бы хотел, если только вас не затруднит, показать вам несколько страничек.

— Пожалуйста, пожалуйста! — горячо откликнулся Константин Павлович.— Я с удовольствием...

— Ну, положим, удовольствие не бог весть какое читать чужие описи.

— Да перестаньте! Честное слово, мне очень интересно.

Выбирая полотенцем волосы, Константин Павлович следом за хозяином вошел в дом, в низенькую прохладную от закрытых ставен комнату. Борис Евсеевич распахнул окно, придвинул ближе к свету стул.

— Вот,— сказал он, выбирая из толстой кипы на столе несколько страниц,— хотя бы вот эти. Они мне что-то очень туго давались.

Константин Павлович взял, отбросил с глаз мокрые спутанные волосы.

— Угу,— пробормотал он, принимаясь читать. Почерк у учителя был крупный, ученический, очень четкий и разборчивый. Пытаясь сосредоточиться, Константин Павлович несколько раз повторил первую фразу, потом почему-то скользнул взглядом в конец страницы, ничего не появив, принимаясь перечитывать внимательно, с настроением, неожиданно увлекся. Не глядя куда, он откладывал прочитан-

ные страницы и незаметно для себя что-то бормотал, вскидывал брови, одобрительно фыркал. Его, как художника, увлекла плотная, упругая ткань произведения, скупая и ясная манера письма. Он поймал себя на первом же пришедшем на ум сравнении: то, что он читал, казалось несожиданно зазвучавшей струной на очень чистой протяжной ноте.

Он дочитал коротенькую главку, но откладывать не торопился. Думая о прочитанном, он машинально повторил заключительную фразу, на которой замерла звучавшая нота, помолчал и сказал:

— А что? Очень хорошо.

Потом он отложил последние странички, встал и взволнованно прошелся.

— Послушайте,— заговорил он, останавливаясь у стола, за которым, опустив узкое некрасивое лицо, сидел Борис Евсеевич,— почему бы вам не послать это куда-нибудь? В журнал, скажем, в редакцию...

Польщенный учитель бережно складывал разбросанные страницы.

— Как вам сказать? Рано, мне кажется, еще. Вот годика два еще посижу, тогда может быть... Не люблю, знаете ли, поспешность. А литература, по-моему, это такое святое дело...

— Да разве только литература! — воскликнул увлеченный Константин Павлович.

— И другое, конечно. Но я говорю о том, что всего ближе мне.

Константин Павлович, чувствуя на сердце непонятно возникшую легкую радость, с любовью посмотрел, как худые нервные пальцы учителя бесцельно перекладывают вещи на столе, и неожиданно сказал:

— А хорошо. Честное слово, хорошо! Мне, например, очень понравилось. Просто я рад, черт возьми, за вас!

И он разговорился, и, совсем не ожидая того, рассказал этому почти совершенно незнакомому человеку все, что мучило его последнее время, что заставило его уехать из Москвы. Он говорил и смотрел в спокойные, утомленные глаза под сильным некрасивым лбом, говорил и радовался той свободе, с какой лилось из его души признание,— давно уж он не говорил так хорошо и полезно.

— И вот приехал я, а вот тут у меня,— постучал он по груди,— вот тут что-то все еще беспокойно. Боюсь. Боюсь, что опоздал я уже, отстал. Отстал, как от поезда. Ушел он, и не догонишь.

— Во всяком случае,— осторожно сказал Борис Евсеевич,— хорошо уже то, что вы задумались.

— Но молодость-то, молодость! Разве ее вернешь?

— Зато у вас есть опыт. Ведь эти годы, я думаю, не прошли для вас зря?

— На это только и надежда,— вздохнул, успокаиваясь, Константин Павлович. И, успокоившись окончательно, он спросил:— А у вас, если не секрет, вся вещь будет о чем? Как я догадался, вы пишете о своих же людях?

— Конечно. Если говорить сугубо профессионально, то сюжет у меня совершенно простой. Но у меня забота не об этом. Видите ли, меня всегда возмущало, что раскается какой-либо преступник — и об этом начинают трубить все газеты. А простой, незаметный человек, каких у нас миллионы, работает всю жизнь, работает честно, хорошо, но работает так, что в герои не вылезает. И вот о таком за всю жизнь никто доброго слова не напишет. А ведь он всю жизнь отдал труду! Работал как лошадь...

Борис Евсеевич встал и, как в классе, привялся ходить.

— Вот возьмите вы того же Корнея Ивановича. Простой мужик. Устанавливал Советскую власть. Из-под расстрела бежал, учтите. Потом колхозы, потом война. На войну уходил, дома оставил всего полмешка свеклы. А детишек — полон угол. И вот я так спрашиваю, вернее, спросил бы, будь я какой-нибудь иностранный корреспондент: «А что вы защищали-то, мистер Корней Иванович, на фронте? Эти полмешка?» А ведь человек двух сыновей там оставил, самого покалечили,— видали, на деревяшке ходит. И вот еще что,— спросите-ка его самого, что он защищал,— не скажет толком. А ведь защищал! И если надо было бы, он и на смерть пошел бы! Пошел! Без всяких!.. Так вот я и хочу написать о таких вот людях, как Корней Иванович. Ведь на их плечах Россия держалась и держится. Не на героях, а на них, простых, но незаметных. Я не знаю, как одним словом назвать это чувство,— может быть, это и есть то, что мы называем патриотизмом, но оно сидит в наших людях в самой крови и помогает нам во всех суровых испытаниях. Во всех!.. Простите, вам не скучно?

— Что вы, что вы! — запротестовал Константин Павлович.— Продолжайте, пожалуйста.

— А может быть, это какое-то в глубине сердца сидящее чувство Родины? Может быть... Мне, например, не нравится, когда слово Родина орут во все горло. О ней не кричат, нет. У наших людей Родина в душе. Вот стог, например, это

Родина. Полянка в лесу — тоже Родина. Или осинка над отцовской могилой... Понимаете? И вот где-то в подоплеке, что ли, моей книги мне хочется ясно показать, что, не будь этого подчас необъяснимого чувства в душах миллионов наших Корней Ивановичей, на всей земле сейчас слышался бы тупой стук фашистских солдатских сапог. Земля стала бы мертвой, и пыльный ветер листал бы вырванные страницы из любимых нами книг. Я это так иногда ясно себе представляю, что мне становится страшно...

И вот ради этого, — после долгого молчания произнес Борис Евсеевич, — мне кажется, стоит жить и работать.

— Да, только ради этого, — тихо откликнулся Константин Павлович, заглядевшись в открытое окно на жаркие краски заката.

— Огромный труд, и только бы хватило сил...

— Проводите меня, — попросил Константин Павлович.

Дома, в ограде, он долго стоял и смотрел на распускающуюся яблоню. Рясный цвет уже пышно осыпал все дерево, и оно стояло вызывающе нарядное среди поблекшей зелени огорода. «Вот расцвело же, — думал Константин Павлович, — что хоть и с опозданием? Видимо, природа все же берет свое».

Ему стало легче, — так тепло и мягко на душе, что он с близко подступившими слезами вспомнил чудесные строки любимого поэта: «И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной», — и ему захотелось работать, захотелось сильно, с диким нетерпением. Он боялся, что у него с годами атрофировался вкус к цвету, и хотел начать писать широко и вольно, чтобы было много света, воздуха, воды, он ощущал в груди подмывающий зуд вдохновения, и ему не терпелось почувствовать знакомое упругое прикосновение кисти к холсту.

9

И он засел за работу, ушел с головой, и знал, что теперь такое состояние у него надолго.

Принимаясь работать, он решил писать так, как лежит на душе, — свободно, без каких-либо условностей, ничего не придумывая, не притягивая за уши. Этим, ему казалось, он избавится от той тяжести, которая сковывала его все годы и не давала ощущения полноты и счастья.

Загрунтованный холст у него был припасен заранее, Константин Павлович вынес его во двор и устроился работать

на давно облюбованном месте — в тени, под цветущей яблоней. Он решил писать на воздухе. Он знал, что на воздухе краски ощущаются совсем иначе, и уже прошел через жестокое разочарование, когда все, что в мастерской казалось красочным и тонким, на воздухе жухло и исчезало самым непонятным образом. У него это было уже за плечами. В свое время он отдал этому немало времени и сил и добился, что именно восприятие красок на воздухе стало одной из самых сильных сторон его всеми признанного мастерства. И сейчас, настраиваясь на будущую картину, Константин Павлович решил блеснуть самым трудным, самым непостижимым.

Писать он, конечно, будет маслом — старым добрым маслом. Это все от бесталанности, думалось ему, когда хулят веками испытанное масло, говорят, что оно устарело, и кидаются в сомнительные новшества. Он теперь не жалел и самого себя, признавая, что от незнания жизни кидался он в поиски, что все его метания, за которые порой даже хвалили, были не чем иным, как самой настоящей отчаянностью от сознания своего бессилия. Жизнь проходила, запаса наблюдений не было, а работать было нужно, хотелось успехов, славы, и вот тогда-то и оставалось одно: перебиться на технике, сыграть на новизне и необычности, прикрыть внутреннюю пустоту изощренностью формы; если даже порой это удавалось, то все равно со временем кануло в вечность, умерло, как однодневка, — словом, на поверку не оставалось ничего, один пшик.

Обо всем этом думалось теперь удивительно легко, потому что Константин Павлович чувствовал невиданный прилив сил, голова горела и на сердце было беспокойно. Это было давно забытое, но очень знакомое состояние, и он даже подумал, что уж не молодость ли, случаем, возвращается, и с некоторым самолюбием решил — пусть говорят, что молодость вернуть нельзя, а она все-таки может вернуться, если только очень сильно захотеть! Вот он захотел и, можно сказать, добился. Он плюнул на все, на все свои привязанности и, несмотря на возраст, потащился в самое золотое для отдыха и лечения время куда-то в немыслимую даль, на землю отцов, которая давно уже стала для него чужой и забытой. А он все же поехал, и, как оказалось, сделал правильно. Да, сильному желанию подчинится все, даже старость!

В пышной кроне распустившейся яблони дружно, совсем по-весеннему, гудели пчелы. Несколько крохотных белых лепестков слетело сверху и опустилось на холст.

Константин Павлович работал упорно, подмываемый предчувствием несомненной удачи: так послушно оживал под его кистью холст, так теплы и выразительны были краски, так точно и к месту ложились мазки. Так смело, широко и легко он уже не писал давным-давно и даже стал опасаться, как бы не увлечься. В его возрасте нужно мудрое спокойствие, строгий отбор и кристальная ясность разума, чтобы в слепом азарте не поскакать по проторенной дорожке. Ему уже нельзя ни повторяться, ни топтаться на достигнутом, — не для этого он уезжал из Москвы.

Константин Павлович работал целый день и остался доволен. Только так, думал он, имеет право жить художник. Природа, непосредственное восприятие жизни и — работа. Черт возьми, как жалко, что так много в жизни потеряно! Сколько времени растратил он по пустякам! Сейчас стыдно вспомнить, но тех сил и времени, что он убил, скажем, на постройку дачи или на обстановку квартиры, хватило бы, пожалуй, не на одну картину. А все эти бесконечные заседания и совещания, все то, чему он радовался и что ценил как проявление почета и уважения. Жалко, очень жалко, что всего уж не вернуть!

После целого дня работы Константин Павлович устал, но усталость была приятна ему, и, откладывая краски, он любовался тем, что сделано. Инвалид, очень похожий на Серьгу, когда тот купался на речке возле станции, стоял на берегу (каком берегу, Константин Павлович еще не решил, но в мыслях рисовалось что-то просторное, чтоб больше было воздуха и солнца, больше неба)... инвалид стоял и удивительно легким движением прикрывал от солнечного блеска глаза ладонью единственной руки. Константин Павлович был очень доволен, что ему удался этот простой и неискusstвенный жест — рукой от солнца. Человек стоял как живой. Безмятежный такой и очень человеческий получился жест! Конечно, нужно будет еще продумать композицию, понадобятся детали и фигуры, понадобятся дни огромного напряжения, чтобы наполнить картину задуманной тонкой игрой света и воздуха, но Константину Павловичу было приятно сознание предстоящих трудностей, потому что он чувствовал в себе силы сделать все так, как ему представлялось.

Да, правильно он поступил, что уехал в родные места. И ведь что интересно — как-то неожиданно возникло у него это решение, словно в самой его крови вдруг заговорила скрытая и неодолимая власть отцовской земли. Нет, эти недели и месяцы в деревне не пройдут для него зря. Он напи-

шет картину — и хорошую, сильную картину! — приедет в Москву с радостным чувством победителя. Приедет он в самое сезонное время — зима, ранние огни в огромных витринах, морозный снег. И — выставки, концерты. Хорошо!

Усталый и довольный, Константин Павлович постоял у начатого холста, смахнул несколько крохотных лепестков и, вытирая руки, медленно пошел к калитке, где, как ему показалось, остановилась машина. Он подумал, что хорошо, если бы сейчас вдруг пришел Борис Евсеевич. Можно было бы душевно поговорить об искусстве, о том, что искусство — это не только талант, но и труд, каторжный труд, самоотречение и сосредоточенность. Именно после сегодняшнего дня Константин Павлович готов был говорить об этом с охотой и усталым азартом.

На дороге против дома, точно, стоял грузовик — знакомая трехтонка. Но Бориса Евсеевича не было. Когда Константин Павлович подошел к калитке, то увидел Таньку, растрепанную, стремительно выскочившую из кабины. Шофер в тельняшке и в лихой кепочке сунулся было следом за ней: «Танечка, да ты чего?» — но она не дала ему и на землю ступить, а задержав на подножке, вдруг со всего размаху вцепилась пощечину, потом еще и еще, и била бы все злее и злее, если бы шофер не попятился и не закрылся в кабине. Танька рванула дверцу, но машина тронулась и, подымая пыль, бесшабашно понеслась по улице, скрылась...

Танька все еще стояла у дороги и, сжав кулачки, никак не могла унять возбуждение. Константин Павлович с удивлением смотрел на ее пепельно-смуглое злое лицо.

— Танюша, — решился наконец окликнуть, — боже мой, что с вами?

Она вздрогнула, бросила на него мрачайший взгляд сощуренных глаз.

— Сволочь! — проговорила она, оглядываясь туда, где скрылась машина. — Ишь... Думает, если я... так... Теперь будет знаты!

После так хорошо проведенного дня Константину Павловичу весь случай с Танькой казался очень запятым.

— Да перестаньте, Танюша, — ласково уговаривал он девушку. — Зайдемте лучше ко мне, я хочу показать вам одну вещичку. Идемте, идемте, не бойтесь. Что за глупости!

Он был добр сегодня, и мысль поразить и осчастливить Таньку возникла у него только что. Она потупилась, неуловимо быстро и привычно начертила пальцем ноги какой-то вензель на пыли и согласилась. Проходя через дворик, она

увидела под яблоней начатый холст и задержалась, но он потащил ее, не давая остановиться.

— Идемте, идемте. Это послэ.

В доме было не прибрано,—сестра рано утром ушла на работу. Константин Павлович, уверенно хозяйничая, усадил девушку, извинился за беспорядок. Танька сидела тихо, настороженно. Он достал из ящичка акварельный рисунок Вишенки, посмотрел еще раз сам и с загадочной и торжествующей улыбкой протянул Таньке.

— Возьмите, возьмите.

Она взяла недоверчиво. Сначала она нахмурилась, как бы приглядываясь и пытаясь разобрать, что нарисовано,—но это было очень недолго. Внезапно лицо ее смягчилось, дрогнули и опустились ресницы.

— Ой... мама! — прошептала она и, зажмурив глаза, прижала портретик к груди.

— Это вам, Танюша,—сказал Константин Павлович.

— Спасибо.— Влажными сияющими глазами она посмотрела на портретик, опять прижала его и поднялась.— Извините, я пойду.— И ушла, бережно унося подарок.

На художника она так и не взглянула. Константин Павлович кашлянул, потер горло,—он был растроган.

Выйдя из дома, он долго бесцельно стоял на пороге. Стоял, поглядывал в вечеряющее небо, покачивался. Потом нехотя подошел к картине и со стороны, как на чужую, смотрел, не вынимая из карманов рук. «М-да, над композицией надо думать. Думать». Взял карандаш и попробовал обозначить, где что расположится. Тут вот берег, тут речной плес. За рекой поле, огромное пространство, где плавится, перекипает знойный день. «Может, облако? Да нет, все не то. Тесно, очень сужено. И вообще...» Но он вовремя удержал себя, подумав, что недовольство его, видимо, от усталости. Не нужно горячиться, решение, такое, как нужно, придет со временем.

Он подошел к калитке и загляделся на улицу. Солнце уже село, гасла заря. В деревне было пусто. Константин Павлович так и простоял бы один до звезд, до темноты, но, к счастью, увидел проходившего неподалеку Бориса Евсеевича и окликнул; обрадовался, затащил в гости.

10

В тот вечер Борис Евсеевич засиделся допоздна,—за разговорами не заметили, как и время ушло. Прощаясь, учитель

сказал, что на днях они старой, уже склотившейся компанией собираются на рыбалку, на всю ночь. Не хочет ли Константин Павлович?

— Да конечно же, товарищи! — обрадовался Константин Павлович. — С удовольствием!

— Тогда готовьтесь. Одежонку подберите, подстелить что-нибудь... Да вам тетка Дарья все сама устроит. Дело ей знакомое.

Сестра и в самом деле проявила в сборах на рыбалку удивительную осведомленность. К тому времени, когда за ним заехали Борис Евсеевич, Серьга и Корней Иванович, в сенцах были припасены сбитые кирзовые сапоги; старые, заскорузлые, из какой-то с трудом гнущейся материи штаны и пиджак, тоже, видимо, не раз побывавший под проливным дождем. Константин Павлович тут же, в сенцах, при лампе, быстро переоделся. Необычный костюм сидел на нем коромом, но он прибил, осадил его, где надо, руками, и ему было приятно убедиться, что теперь он ничем не отличается от остальных.

Непривычно шагая и все оглядывая себя, он вышел к ожидавшей подводе. Было темно, только на западе в разрывах облаков чуть рдела заря. Разглядеть, кто сидит в телеге, было невозможно, но два огонька самокруток светились явственно, — это ждали Серьга и Корней Иванович. Лошаденка в ожидании осела на заднюю ногу и задремала.

Рассаживались шумно и бестолково, — Константин Павлович переменил, однако, места четыре. Наконец уселись. У Корнея Ивановича сквозь прутья грядущки торчала деляшка.

— Смотри, за столб бы нам не зацепиться, — произнес Серьга, видимо, каждый раз повторявшуюся шутку, разбирая вожжи.

— Трогай, балабон, — густым голосом сказал Корней Иванович.

Серьга погонял не шибко, и ехать было покойно. Медленно догорала заря, но еще долго светлело в закатной стороне, и когда подвода выехала к реке, то Константин Павлович, покачиваясь в телеге, смотрел и не мог насмотреться, как блестили вдали перекааты и повороты реки. Низко над головой пролетали какие-то запоздалые птицы, лошадь шла шагом, трава была высока и хлестала по ногам. Положив руки на грядущку, Константин Павлович смотрел на реку, слушал, как глухо и тупо постукивают ступицы колес, и с удовольствием вдыхал мужицкий запах упряжи, дегтя и почпой

сырости. «Вот,— думал он,— поселиться здесь хотя бы на год, на два. Ей-богу, можно написать такую вещь, что ахнут! Ведь как многого мы там не замечаем, не знаем, а если и знали что когда-то, то как быстро все забывается. Нет, не надо, не надо забывать, не надо отставать!»

Телега остановилась, и Константин Павлович, задумавшись, размышлявший, с удивлением оглянулся,— оказывающегося, приехали. Корней Иванович с палочкой в руке бодро поковылял выбирать место, учитель в обе руки забирал из телеги какие-то сумки и припасы, Серьга распряг и увел пустить в луга лошадь. Обратно он пришел не скоро, но принес целую охапку сухих сучьев — для костра.

Когда померкли перекаты и на берегу темной уснувшей реки заплескал огонек костра, Корней Иванович, грузный, тяжелый, с трудом вытянул по земле ногу и тягуче, вздохнув зевнул:

— Ох-хо-хо... Вот уж поистине охота пуще неволи. В Москве, поди-ка, сейчас у телевизоров люди, а мы тут на комара приперлись. Как думаешь, Константин Палыч?

— Конечно, еще не поздно,— откликнулся Константин Павлович.— Передача идет...

— Ну, да вот дождемся и мы,— закричал Корней Иванович, подбрасывая в костер прутик, другой.— Как только в области построят телевизор,— а строят там с зимы, это я точно знаю, сам ездил смотреть,— как только там построят, тут мы и к себе его наладим. Тогда все, Борис Евсеевич, прощайся с рыбалкой! У телевизора плесневеть будешь.

— Почему? — сказал Борис Евсеевич.— Раз в неделю всегда выбраться можно.

— Сказал! Эдакие деньги угробим, а ты на рыбалку бегать будешь? Нет уж, смотреть придется.

— Не жалко денег-то? — спросил Константин Павлович.

— А чего их жалеть? Для наших людей, дорогой Константин Палыч, будь у меня золото, мне бы и золота не жалко. Ведь как вспомнишь-то сейчас — чего только им вынести пришлось! Боже ж ты мой!

— А трактор-то все-таки забрали у ребят,— усмехнулся Константин Павлович, пощупав под собой холодную землю и подворачивая полу пиджака.

— Дался вам этот трактор! — недовольно произнес Корней Иванович и потянулся к огню, чтобы выбрать уголек для прикурки. Толстое лицо его сморщилось от жара, глаза совсем утонули в щелках. Он прикурил, бросил уголек об-

ратно в костер.— Отдам я им этот трактор, отдам. Дайте только уборку закончить. Урожай-то видели нынче какой? То-то. Его до зернышка надо убирать. А ну завтра дождь, тогда что? Соображать все-таки надо.

— А дождь будет,— поспешил вмешаться Борис Евсеевич.— Я радио слушал. Обещали по нашему району.

— Ну вот, видите,— уже более мирно сказал Корней Иванович.— Радио... Тут и без радио ясно, что будет,— и он пощупал больную ногу.— Так что-то ноет сегодня!

— Вот это радио тоже!— вдруг ни с того ни с сего рассмеялся Серьга и поднялся, сел, растрепанный как со сна.— Помнишь, Корней Иванович, как это радио нам налаживали? Ну да как же! Еще ведро-то нам у правления повесили, а сумасшедший нам возьми да и спиби его... Да неужель забыли?

— А-а,— протянул Корней Иванович каким-то крайне недовольным тоном и быстро, украдкой взглянул на художника.

Беспокойный взгляд этот насторожил Константина Павловича. Он и без того почувствовал, что неосторожно упомянутый Серьгой сумасшедший в какой-то мере касается его, а точнее, сестры Дарьи. Понял он это еще и потому, что Корней Иванович сразу умолк, а учитель, как мог, постарался замять неприятный разговор. Но оставить разговор Константин Павлович не дал,— он хотел наконец узнать о семейной жизни сестры все, как было.

— Вы понимаете,— неловко начал Корней Иванович,— тетка Дарья уж так просила ничего вам не говорить. Вроде стесняется она этого, что ли. А по-моему, чего тут стесняться? Мужик он был хороший. Золото, можно сказать, мужик. И зарабатывал, и все... Но вот находило на него. Ну уж тут, как найдет, так хоть из дому беги.

— А чего это с ним? — заинтересовался Константин Павлович.

— Да как вам сказать? Война опять все та же, пропасти ей нет! Танкист он был, из трактористов уходил,— не наш брат, не пехота. Ну, а танкистам-то известное житье! Ведь как лупить по ним начнут, так свету белого невзвидишь! Сердце кровью обливается! Броня-то эта самая — разве под ней от смерти загородишься? Уж в земле-то спасу нет, а им, сердешным... Как свечки, бывало, запылают и так горят, дымят по полю.

— Ох, ну их и с броней ихней! — побряхтел и махнул рукой внимательно слушавший Серьга.

— Ну вот и их когда-то запалили. Так он еще ничего — выскочил. И не только выскочил, а еще и кой-кого повытаскивал. Раненый был, а повытаскивал. Там ведь, когда ранято, сперва вроде и не чувствуешь ничего... Ну, повытаскивал, а самого-то последнего и не успел, — шибко уж будто заннматься начало. Это он нам потом рассказывал. А последний этот возьми да и окажись первейшим его другом, самым что ни на есть товарищем. И когда-то, говорит, самого из полымя вынес. Ну как тут пережить? На глазах, можно сказать, сторел. С тех пор вот у него и... того. В госпитале еще, говорят, начинаться стало, ну а уж потом... и вовсе. Такое вот дело.

Корней Иванович умолк и принялся подкладывать в костер, раздувать горячие угли. Пламя заиграло, набирало силу, озаряя лица сидевших вокруг людей.

— А так он хороший был мужик, работающий. И в Дарье души не чаял. Но вот уж как находило на него — тут все! Это он нам радио-то сшиб. Повесили нам ведро у правления на дереве, а тут как раз на него и найди! Ну, вырвал кол да колом по нему, по ведрку-то. Как не было! В последнее время, правда, на него все чаще находить стало. И как уж он скончался, мы все, грешным делом, вздохнули за Дарью, — дескать, отмаялась, сердешная. А так он нам товарищ был. Бывало, на рыбалку — только вместе. Одежонка-то на вас — его.

Константин Павлович вздрогнул и невольно оглядел все, что на нем надето.

— А вот сын у них был хорош, — с чувством проговорил Серьга. — Помнишь, Корней Иваныч?

— Хороший парень, — серьезно подтвердил Борис Евсеевич.

— На племянника вы бы сейчас порадовались, — говорил Серьга. — Война, зараза. Косит без спросу.

— А дочь? — спросил Константин Павлович.

— А что дочь? — желчно ответил Серьга. — Известное дело — баба. Махнула хвостом — и нету ее. Чужое мясо.

— Да-а... — вздохнул Корней Иванович, поудобнее укладывая ноющую ногу. — Племяш у вас хорошим человеком рос. Тут как-то к нам — в третьем году, что ли! — приезжал какой-то ферт из Польши. А может, и не из Польши, а еще откуда-то оттуда. Из газеты какой-то. Вроде бы другом приходился, но я бы от такого друга подальше. Ну, ходил он тут у нас и все фыркал. То ему не по душе, другое. Гладенький такой, морщится. И попадись он на ферме на тетку

Дарью. Подошла это она к нему, посмотрела, посмотрела, да и говорит: «Так это, говорит, в твоей землице моего-то закопали?» И так это она ему сказала, что он завял, зажался и тут же убрался из колхоза. Тут же! Вот какая у тебя сестрица! Я после этого к ней присматриваться стал. Тихая вроде, но, если надо, покажет себя! Хочу вот ее в правление сагитировать.

Помолчали. Корней Иванович зевнул, прикрыл рот рукой; потом раззевался так, что затряс головой.

— Вот разобрало,— проговорил он и посмотрел на темное небо.

Поднялся вялый Борис Евсеевич, отошел за куст, постоял и вернулся.

— А что, Корней Иванович,— потягиваясь, сказал он,— может, пойдем, сходим?

Корней Иванович снова посмотрел вверх, почесался.

— Пожалуй.

Сонный Серьга пробурчал:

— Куда вы, рано еще.

— Да нет, время,— гораздо бодрее возразил Борис Евсеевич, роясь в привезенных припасах.— Это тучки сегодня.

— Теперь уж не уснуть,— сокрушенно сказал Серьга и посмотрел на квели сидевшего у потухшего костра художника.— Замерзли, Константин Палыч?

— Я? Н-нет,— ответил, с трудом приподнимая веки, Константин Павлович и еще плотнее запахнулся в пиджачишко.

— Тогда не спите,— посоветовал Серьга,— хуже будет. Мы вот сейчас их проводим, да костерик раздуем, да чугунок поставим. К приходу-то у нас уж все будет и готово.

— Вы не беспокойтесь, я не сплю, не сплю,— через силу ответил Константин Павлович, больше всего на свете желая сейчас разогнуться в тепле, вытянуться и уснуть.

— У нас Корней Иванович первый спец по персметам,— продолжал рассказывать Серьга, разгребая теплую золу.— Нам бы с ними пойти, но там топь, комары заедят. Мы уж тут с вами на пригорочке, у огня...

Без устали журчавший голос Серьги не давал художнику забыться и даже стал отдаваться в висках. Константин Павлович раздраженно открыл глаза и увидел, что небо посередело и на его фоне двигаются две фигуры. Он машинально стал следить, как собираются учитель и Корней Иванович, а когда они ушли, он попытался снова задремать, но не смог,— сон пропал. Тогда он сжался до последней возможности, чтоб не очоенеть, и, как ребенок, загляделся на ве-

селый огонек костра, разгоравшийся все сильнее суетливыми стараниями Серьги.

Близилося утро; от реки несло плотной сыростью.

Огонек, потрескивая, облизывал все новые сучья, и отблески его пробегали по угрюмому, колючему лицу художника.

Серьга сходил за водой и приладил над огнем чугунок. Присел, протянул к огню озябшую руку и тоже засмотрелся, задумался.

Далеко отсюда, вверх по реке, куда ушли учитель и Корней Иванович, слышался плеск.

— А вы, я вижу,— тихо позвал Серьга,— тоже бобылем мыкаетесь?

Константин Павлович, не отводя от огня взгляда, скупо ответил:

— Что поделаешь.

— Да-а...— вздохнул Серьга, все еще сидя над огнем и зябко шевеля пальцами руки.— Женихи.

Константин Павлович только шевельнул бровью.

— А вот на Кавказе, я слышал,— говорил Серьга,— имеются старики, которым уже за сто, а у них бабы все еще ребятишек таскают.

— Есть такие.

— Но, по-моему, тут надо все-таки разобраться!

— В чем? — Константин Павлович вытянул онемевшие ноги и чуть не заклинал зубами,— такой нестерпимый холод приносило каждое движение.

— Как — в чем? В этом самом. Ребятишек-то, может, они и таскают, но опять же старикам в этом могли и помощь оказать.

— Как оказать? — не понимал и сердился Константин Павлович.

— Ну как, известно как! Посредством, скажем, соседа.

— Ах, ты вот о чем! — рассмеялся Константин Павлович и перебрался поближе к огню.— Нет, у них там удивительно сохраняются люди.

— Значит, и нам с вами еще не заказано жениться.

— Да уж нам...— усмехнулся Константин Павлович и не договорил, заглядевшись, как огонь подбирает последние ветки. Толстой сухой палкой Серьга стал подгрести жар под самое доньшко чугунка.

— Оно конечно,— рассуждал Серьга,— сейчас нам с вами жениться — не масленица. Кого возьмешь? Перестарка какого-нибудь. А это — сами понимаете... Нет, правду ска-

зывают, что первая жена от бога, вторую люди найдут, а уж третью сам черт подсунет.

— Да, да, да,— вяло соглашался Константин Павлович, глядя, как растревоженное палкой пламя костра сердито бросается искрами в лицо Серьги и жадно растекается по закопченным стенкам чугунка.

— Вот возьмите вы опять же меня. Ну, есть у меня ку-ма. И хорошая, скажу вам, баба. А все-таки не то. Не то, нет! Или во мне уж все сгорело? Не знаю.

— Еще найдете,— уронил Константин Павлович, думая о своем.

— Найду? — удивился Серьга.— Да вы что? Стану я искать! Я их, сучек, так ненавижу, что... А вы — искать! Скажете тоже.

— Так теперь что — и порядочных женщин не осталось?

— Нет, почему же,— уверенно возразил Серьга.— Есть. Но, заметьте, такая баба — счастье. Такая баба человеку раз в жизни попадает, и то, может, не каждому. И вот попала тебе такая баба — держись за нее, потому как, видимо, она-то и есть от бога.

— Резонно,— вздохнул Константин Павлович.

— Помню, уж как я свою уговаривал, чтоб ребенка за-вести. И слышать не хотела! А как с фронта я пришел, с войны-то вернулся,— она и выходит ко мне, да вся какая-то побитая, будто моль ее поела. И ребенка впереди себя выдвигает. «Казни»,— говорит. «Что ж, говорю, тебя казнить, коли ты сама себя казнила». А как вещи-то собрал, она и кинься ко мне: «Ты же, говорит, ребенка хотел, так какая тебе разница? Чем, говорит, этот не ребенок?» Ну уж тут я не стерпел. Чтоб чужого-то...— Серьга крепко провел по лицу и выругался.— Война, зараза! Все вверх ногами поставила. И вот с тех пор я как обсевок.

— А вы, я вижу, фаталист? — заинтересованно сказал Константин Павлович.

Серьга встревожился:

— Что такое?

— Ну, в судьбу верите, в приметы, в счастье...

— Не-ет! — запротестовал инвалид.— Своей судьбе я сам хозяин. Я ее, мил человек, вот где, судьбу-то свою, держал! — и он сжал тугой сильный кулак.— Потому и с войны явился, голову унес.

— Так женитесь тогда!

— Не могу,— признался Серьга.— Забыть не могу. Ведь первая любовь была. А это, сами понимаете...

— Да,— тепло сказал Константин Павлович,— этого не забыть.

— Второй раз уж не помолодеешь. Каждому свой срок положен. Пропустил — потом не хватайся. Я вот где-то читал, что какой-то профессор придумал стариков омолаживать. Не читали? Читали? Ага, значит, знаете. Ну, а у нас тут, между мужиками то есть, своя поговорка ходит. Значит, кто бросил курить — еще закурит, кто пить бросил — тот еще может выпить, но вот уж кто с бабами завязал — тому никакая сила не поможет!

Константин Павлович невольно рассмеялся:

— Остроумно!

— И вот если помните, как мы тогда у вас за поллитровкой сидели... Помните? Тогда мы с вами об яблоне вашей говорили. Цвести-то она собралась,— помните?

— А!.. Ну, ну?

— Тогда вы мне говорили, что, дескать, закон природы. А я вам и сейчас скажу — дурное это дерево, и толку от него не будет.

— Интересно, почему?

— А потому, что оно как тот самый старик. Свое прожил, а потом хочет на чужом еще пожить.

— Но ведь дерево-то цветет! И вы зайдите, посмотрите, как оно цветет!

— Да толку-то в его цвете что! — воскликнул Серьга.— Цветочки разве? И все. А ведь оно, как хорошая баба, рожать должно. Яблоки плодить. А какие с него яблоки, если оно под самую зиму, под морозы расцвело? Баловство одно. Нет, пропадет оно, и туда ему и дорога!

— Странно вы рассуждаете,— отчужденно проговорил Константин Павлович, поднимаясь на ноги.

— И не странно нисколько,— не замечая его раздражения, ответил Серьга.— Закон жизни. Как ускачут молодые годочки, да еще без всякого толку, потом хоть всем богам молись, хоть лоб расшиби — не воротишь.

Константин Павлович уязвленно фыркнул: философ! Но сказал он это про себя, чтобы не обидеть Серьгу.

Светало сегодня медленно, неохотно. На какое-то время затеплилась за лугами зорька, но потом все затянуло плотными низкими облаками. Не было сегодня и росы, и Константин Павлович подумал, что непременно будет дождю. В свете занимающегося дня лицо хлопчущего у костра Серьги было бледно; поблек и огонек. Шипели угли, в чугушке булькала вода. Далеко в лугах заржала лошадь. Снова,

как и вечером, засветилась река на изгибах, но блеск воды был хмурый, перадостный.

Неподалеку в кустах послышался треск сучьев, Константин Павлович обернулся и увидел рыбаков. Корней Иванович сильно припадал на одну сторону и с трудом протаскивал деревяшку через высокую плотную траву. Борис Евсеевич, мокрый, счастливый, еще издали поднял и показал улов.

Серьга начал ворошить и подкладывать в костер; густой дым потянуло низко и в сторону.

По сухому затравевшему откосу Константин Павлович сбежал вниз, к реке. Спокойная, ненастная вода еле-еле трогала береговую гальку. Константин Павлович постоял, сверху до него донеслись возбужденные удачей голоса рыбаков. Потом Борис Евсеевич спросил: «Что произошло?» — и Серьга долго и невнятно рассказывал.

Слышно было, как Борис Евсеевич воскликнул:

— Ну что ты, зачем же было так жестоко?

— Да вы что? — растерянно оправдывался Серьга. — Какая тут жестокость?

Возвращаться к рыбакам не хотелось, и Константин Павлович знал, что теперь он не вернется. Не получилось у них компании, не вышел дружный разговор. И он не сердился на инвалида, — просто они по-своему на все смотрят, а он по-своему. Чтобы его не окликнули, не стали искать, Константин Павлович быстро пошел по берегу, и голоса спорящих наверху затихли. Он миновал излучину реки и остался один, совсем один. Теперь можно было спокойно и без помех думать, и он думал, что в жизни его, что бы там ни говорили, еще не все потеряно. Не все, потому что он хотел теперь очень немногого. Ему хотелось работать, и верилось, что писать он будет много, упорно и обязательно удачно. Это он чувствовал. И еще хотелось иметь рядом кого-то, кто бы скрадывал, заполнял пустоту вокруг него. «Не жену, пет, пусть просто друга, родного отзывчивого человека, какую-нибудь любящую неиспорченную душу, которая все поймет, все почувствует».

Константин Павлович думал и шел все быстрее. По полотому съезду к броду он поднялся на берег и зашагал по дороге. Но не успел он уйти от реки, как его догнал неслышно спустившийся дождь.

— Танюша! — обрадованно закричал Константин Павлович, узнав в бегущей под дождем босоногой девчонке Таньку. — Танюша!

Это было как судьба, как спасение, — потому-то он и закричал, будто матрос, увидевший долгожданную землю. Он только что думал о Таньке, и с ней связывались его надежды, его уверенность в своих успехах. И вот — встреча!

Она услышала, остановилась и, согнутая, с поджатыми от холода локтями, долго всматривалась сквозь сетку дождя, кто это спешит к ней, разъезжаясь по жидкой грязи.

— Константин Павлович! — тоже изумилась она, подбежала к нему и, сияя мокрым счастливым лицом, схватила за руку. — Вы-то как?

— Танюша, ты же промокла, родная!

— А я корову искала. Тетку на ночь к больному увезли. Табун пришел, а коровы нет. Дождик-то какой!

— Господи, ты же простудишься, сумасшедшая! Пойдем хоть под дерево.

Она была мокра, будто искупалась, а дождь все лил и лил на волосы, на плечи, и, когда Константин Павлович отвел ее под дерево, стало лить с нее самой, лить на босые замерзшие ноги, смывая с них грязь. Она замерзла, съежилась, но мокрое лицо ее было доверчиво счастливым. Она тянулась взглядом к Константину Павловичу, а он, много передумав о ней, пока шел от реки, ужасно волновался.

— Промокла-то, господи! — ласково суетился он, накидывая ей на плечи свой тяжелый, насквозь пропитанный водой пиджак. Рубашка его тотчас промокла, потому что спасения не было и под деревом, он плечами, спиной ощутил сильный озноб, но нежность его к встретившейся Таньке была настолько велика, что он ничего не замечал, укрывал ее понадежнее пиджаком, запахивая его на ее груди, у горла. Она совсем съежилась, но скоро стала согреваться.

— Хорошо? — спрашивал он.

Она только кивала головой и благодарила большими ласковыми глазами. Он не знал, что бы еще такое сделать для нее, только бы касаться ее, укрывать, заботиться.

С волос ее капало на шею, она жмурилась и запрокидывала голову. Капли дождя были на ресницах и бровях. Константин Павлович искал платок и вспомнил, что не захватил его. Тогда, ворча какие-то неизъяснимой нежности слова, он стал вытирать ее упругие холодные щеки пальца-

ми. Она доверчиво подставляла лицо и переступала босыми ногами. Близко он увидел ее полураскрытые губы, влажные и свежие, подумал, что, поцелуй он ее сейчас, она только жалобно вскинет ресницы и ничего не скажет. Он опустил руки, все так же стоя близко около нее, искал и нашел ее пальцы, они покорно остались в его руке.

— Танюша,— тихо позвал он,— вы еще не были в Москве?

Отворотив лицо к плечу, задумчивая и грустная, она еле заметно покачала головой.

— Танюша, приезжайте, пожалуйста! Нет, нет, серьезно. Дали бы телеграмму, я бы вас встретил.

— Так уж сразу и в Москву,— еле слышно произнесла она одними губами.

— А что? Нет, серьезно, приезжайте! Квартира у меня большая. Дача... Поживете, может быть... понравится. С художниками познакомитесь, это интересный народ.

Она глубоко вздохнула, распрямилась и посмотрела на небо.

— Дождь, кажется, кончается,— не сразу произнесла она.

— Да... кажется,— отозвался он.

— Идемте?

— Пошли.

Она тронулась первой, он, чувствуя обидную неловкость, чуть приотстал. Сначала она ступала неуверенно, как бы в нерешительности и чего-то ожидая, но потом пошла быстрее и уверенней. Легкие забрызганные ноги ее бесстрашно ступали в грязь и лужи.

Идти до деревни оставалось недалеко, и Константин Павлович догнал, пошел рядом.

— А чем вы зимой думаете заняться? — спросил он. Ему хотелось остановить ее, удержать, в крайнем случае не идти так торопливо.

— Чем? Работать надо,— в обычной своей манере ответила она.— Что же, меня все тетка кормить будет?

По ее тону Константин Павлович понял, что очарование тех недолгих минут под деревом уже прошло и не вернется, никогда уже больше Танька не будет с ним так доверчива и проста. И все же он, высокий, худой и нескладный в промокшей до нитки одежде, все же он решил и сказал:

— Так приезжайте в Москву. В самое хорошее время приедете. В театры можно походить, на выставки.

Он споткнулся, разъехался ногами по грязи и едва не упал.

— Вот дождь! — недовольно сказала она, оглянувшись на спутника и понадежнее запахивая мокрый пиджак.

И точно — дождь посеял вновь, мелко, но густо, расходясь все пуше.

— Вы весь промокли. — Она мельком взглянула на него.

— Ерунда, — хмуро отозвался Константин Павлович, хотя рубашка неприятно прилипла к телу и озноб достиг такой силы, что он стал чувствовать морщины на щеках.

— Заболеете еще. — Танька, наклонив под дождем голову, шла быстро и не разбирая дороги.

Дождь прекратился разом, едва они вошли в деревню. Было тихо и покойно. Из зарослей лопухов вылезла мокрая собака, понюхала воздух и побежала по стоявшим в траве лужам. Мокрые заборы, казалось, вросли в землю. За деревней в тяжелой пелене туч начали обозначаться промывины.

Константин Павлович подумал, что ему неловко показываться на глаза людям вместе с Танькой, — ни дать ни взять кавалер. А в том, что на них глазают в окна, он не сомневался. Но Танька шла, ни на кого не обращая внимания, и он обречен был тащиться за ней по самой середине улицы. Изредка взглядывая на окна, он замечал любопытствующие лица и от неловкости глубже засовывал руки в карманы и сильнее горбился. Но, проходя мимо мастерских, он взглянул и невольно, от стыда и растерянности, придержал шаг, — широкие мокрые ворота мастерских были распахнуты, а на пороге стоял Митюшка и смотрел упорным подозрительным взглядом соперника.

12

Прогулка под холодным дождем не прошла для Константина Павловича бесследно, — к вечеру появился жар. Сестра забеспокоилась, хотела бежать к фельдшернице, но он сказал, что все это ерунда, пусть лучше на ночь напоит его чем-нибудь. Дарья достала сушеной малины и вскипятила самовар. Поила она его в постели, но скоро Константин Павлович отослал ее и, допивая сладкий душистый напиток, стал думать о том, что в чем-то он сегодня оробел, где-то не сказал нужного слова. И все вспоминал, как они с Танькой спасались от дождя под деревом.

Поздно ночью появился Митюшка, немного повозился в кухне и уснул. Константин Павлович хотел думать и о Митюшке, но думалось совершенно о другом — о том, что в следующий раз он обязательно скажет девушке хорошие, ду-

шевные слова и она поймет их, оценит. Ведь она же очень простая, очень неиспорченная! С такой легко говорить.

Временами волнами наплывал жар, Константин Павлович начинал метаться, но в мыслях его наступала удивительная легкость, и слова, которые он обязательно скажет Танюшке, рождались сами собой и были удивительно хороши.

К утру ему стало лучше, он уснул, но скоро проснулся, полежал немного и с сожалением подумал, что это плохо, что он не пропотел за ночь. Значит, простуда еще сидит в нем. В теле была горячая сухость и слабость, но он оделся и через кухню, где спал Митюшка, вышел во двор.

Вставало солнце. Холодное свежее небо густо синело над утренними полями.

Константин Павлович походил по двору и разгулялся, — меньше болела голова, хотя стало слегка знобить. Он вернулся в дом, надел куртку, замотал шею шарфом и забрал под берет волосы. Он хотел поработать несколько часов и стал дожидаться, пока не поднимется и не обогреет солнце. Дожидаясь, он готовил краски...

На облюбованном месте под яблоней было сыро, прохладно. Вся земля вокруг дерева была усыпана мелкими белыми лепестками, — дождем обило весь цвет.

Константин Павлович посмотрел на пестрый коврик прилипших к холодной земле лепестков, на потерявшее нарядность дерево и понес начатый холст на солнце.

Вышла сестра и попеняла, что напрасно поднялся он, не вылежался, но Константин Павлович успокоил ее.

Начинать работать он не торопился — очень часто отступал на шаг, на два и вглядывался, придирчиво отмечал: вот тут надо не так, тут тоже иначе, а вообще все идет хорошо. О Таньке ему думалось уже не так легко, как ночью, но надежды были и решение поговорить с ней откровенно и напрямик созрело окончательно. Правда, девушка еще молода, но мало ли таких случаев! А с ней было бы хорошо, легко. Она проста и чистосердечна, все его радости будут и ее радости. Как он смог бы тогда работать! О, теперь ему от жизни нужно очень немного. Главное — покой, полнейшее душевное спокойствие для работы!

Занятый своими мыслями, Константин Павлович не замечал, что мимо калитки уже несколько раз туда и обратно прошла Танька. Сначала она разлетелась и чуть не вбежала во двор, но увидела худого, сосредоточенного художника и оробела. Константин Павлович наклонился над холстом, отступал, держа на отлете кисть, и все что-то говорил сам се-

бе, выразительно двигая крупными седыми бровями. В конце концов она походила, помучилась и решилась — вошла. Константин Павлович поднял голову, моргнул раз, другой и пришел в себя — узнал.

— Танюша...

— Здравствуйте, — независимо поздоровалась она, живо подойдя к картине, склонила голову набок, залюбовалась. — Тетка Дарья дома?

— Разумеется, — пробормотал он, неожиданно растерявшись. — Если хотите... Но минутку! — Он отбросил кисть и краски. — Я сейчас принесу вам стул. Мне хотелось бы поговорить...

— Что вы, я на минутку! — спешила убраться Танька. — Честное слово.

— Но я прошу вас, — неловко настаивал Константин Павлович и не находил себе места. Он попытался задержать ее руку, но тут же понял, что выглядит смешно, и смутился еще больше. Отнекиваясь, Танька отступала все ближе к крыльцу, чтобы скрыться в дом, но он взбежал вперед нее и, бормоча: «Я сейчас, сейчас...», неожиданно наткнулся на сестру. Дарья вот уже несколько минут наблюдала, как потерянно суетится брат.

— Господи, — сказала она ему в сенях, — да ты чего как молодой-то хлещешься?

Он стал столбом и уставился на сестру. В довершение ко всему через сени прошел крепенький Митюшка и самолюбиво усмехнулся, бросив художнику:

— Это точно, Константин Павлович. Столько двигаться в вашем возрасте вредно.

Потом он легко сбежал с крыльца, они о чем-то пошептались с Танькой, засмеялись и побежали вместе. Стукнула калитка.

Константин Павлович медленно спустился к одиноко стоявшей посреди двора картине. День набирал силу, солнце сушило воздух и деревья. От земли пахло теплой сыростью. Константин Павлович нервно заворочал шеей, словно мягкий теплый шарф и ворот куртки душили его, и усталыми глазами посмотрел на глубокое безмятежное небо. Дернул замок куртки, вздохнул и опустил руки, — почему-то именно сейчас заметил он, что у него сильно впалая грудь и дряблый живот.

Он не стал работать больше в этот день. Он вернулся в комнату, тесную, со старыми скрипучими половицами, с нехорошей гримасой разделся и лег. О чем-то спрашивала

Дарья, но он только покачал головой и не открыл глаз. Она посмотрела на его опавшее костистое лицо и жалостливо вздохнула.

Константин Павлович заворочался и приподнялся только вечером. В небольшое окошко было видно далекое зеленеющее небо. Тихий вечер стоял над деревней. Приподняться Константина Павловича заставили голоса,—неподалеку, через два огорода, во дворе у фельдшерицы пили чай. Слышался хриловатый голос Серьги, быстрый говорок Митюшки, женский смех и звяк чашек. Потом на минутку все затихло, и вдруг женские голоса зазвучали слаженно и сильно. В промытом холодеющем воздухе, когда над полями горит и никак не может догореть заря, когда особенно печальной кажется прелесть осенних перелесков, голоса женщин звучали необыкновенно протяжно и грустно:

Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы моей.

Потом песня смолкла. Багровый отсвет зари загорелся в окошке. Константин Павлович снова услышал разговоры и смех, отвернулся от окна и решительно натянул одеяло, словно человек, покончивший все счета с жизнью.

Ночью он впал в забытие. Ему виделся инвалид таким, каким он стоял на картине. Но стоял он не у речки, затерянной в скучных полях, а возвышался над морем, огромным и ласково вздыхающим, и в мыслях художника только теперь обозначилась идея его будущей картины: человек, отстоявший для радости людей это вечно сверкающее море. Шумел прибой, волоча космы пены и шурша галькой, звенели голоса, и Константину Павловичу казалось, что он слышит запах морского загара, исходящий от всего этого скопления людей, так экономно расположившихся на картине у ног сдувшегося от солнца инвалида. Где-то в углу картины входила в воду молоденькая с гибкими загорелыми бедрами купальщица, и Константину Павловичу хотелось плакать от великой нежности к ее широкому, почти детскому лифчику на нескольких пуговицах, к ее узким девичьим ступням. Он плакал, не стыдясь слез, и говорил утешавшей его Лепочке (все-таки он вспомнил, как звали ее): «Не бойтесь, Леночка, это легкие слезы,—говорил Константин Павлович.—Стареющее сердце всегда ищет уверенности в будущем. Ах, Лепочка, вы такая юная, чистая, свежая! И не пужно плакать, прошу вас,—отсталый умирает в одиночку». Дальше началась какая-то чепуха. Ему снова чудился запах морского

загара — запах солнца, соли и теплого юного тела, он не находил себе места, метался и кричал, чувствуя от напряжения жар в висках. «Не хочу! — кричал он. — Не хочу... На поезд! На по-оезд...»

— Домой, видно, просится, — проговорила фельдшерица, глядя, как из тонкой иглы шприца ударил чуть видимый фонтанчик. — Ну-ка, поддержи ему руку.

Сделав укол, она спросила:

— Дома-то у него есть кто?

Дарья только вытерла мокрые глаза.

— На поезд ему нельзя, — сказала фельдшерица. — Какой тут поезд! В район надо везти.

— Серьгу, что ли, просить? — спросила Дарья.

— На его кляче-то? Тут машину надо, да поскорее!

Через час порожняя полуторка, громыхая бортами, выбралась из разбитых деревенских улиц на пустынную ночную дорогу. Темь расступилась и сомкнулась снова, едва качающийся, как спросонья, свет скользнул по изгородям, избам, рассеялся в остуженных росой полях; но слышно было долго, как разгонялся и гудел вдали мотор, все торопливей убегая от деревни. Но вот затихла и машина на дороге, и тогда издалека-издалека долетел бессонный печальный пере-клик: близились утро, петухи отпевали ночь.

1961 г.



ПЫЛЬ ДАЛЕКИХ ДОРОГ

В высоком строгом вестибюле журналиста остановил бородатый величественный швейцар.

— Мне Зиновия Яковлевича. Мы договорились встретиться.

— Ваша фамилия?

— Кравцов.

— Пройдите, пожалуйста.

Пошмыгивая с мороза, Борис Николаевич отошел в сторону и стал ждать. Через вестибюль, мелко стуча каблучками, прошла девушка в белом халате, с марлевой повязкой на лице. Она вела на поводках двух веселых собачек. Бородатый швейцар устало вздохнул и, утратив надменность, потащился к гардеробщице с вязаньем — поболтать.

Наверху, в широком проеме лестничного марша, показался Зиновий, Зяма, в халате, очках, белой шапочке. Швейцар, завидев его, вновь обрел величественную осанку.

— Старик, извини, меня задержали. Тебя пропустили? Я предупреждал.

— Ваше имя, Зиновий Яковлевич, обладает магической силой.

Прямой, сосредоточенный, руки в карманах халата, Зиновий окинул друга внимательным взглядом.

— В настроении? Прекрасно. Ну, генук, как говорят, трепаться. Пошли.

В гардеробе им выдали свежий халат. Ловя на спине твердые тесемки, Борис Николаевич суетливо шагал за деловым, серьезным Зямой по бесконечному стерильному коридору.

— Арсенал медицинской науки, — негромко проговорил он, пряча за шуткой растерянность. Вчерашний обморок в редакции вызвал среди знакомых Бориса Николаевича переполох. Зиновий настоял, чтобы немедленно показаться какому-то светилу. С утра сегодня он договорился о приеме и позвонил.

— Здесь, — Зиновий остановился у матовой двери, вынул из карманов руки и почтительно постучал.

Светило оказалось крохотным старичком с голым розовым лицом. Весь в белом, он сидел в единственном кресле, а вокруг него, как спутники вокруг планеты, сновали Зиновий и сотрудники. В безграничной почтительности сотрудников угадывался державный авторитет розового старичка. Глаз его не было видно за большими стеклами очков. Иногда он задавал негромкий односложный вопрос, и сотрудники, обступившие раздетого журналиста, тихо, твердо докладывали. В этой нежилой, блистающей белизной и светом комнате, среди хрустящих сахарных халатов, терялась всякая уверенность в непоколебимости человеческого здоровья. Казалось, болезни, прижившиеся незаметно в организме, не в состоянии укрыться здесь от дотошных, опытных глаз.

Из всего, что при нем говорилось, Борис Николаевич ничего не понимал. Но вот розовый старичок задал вопрос о каких-то анализах. Сотрудники посмотрели на Зиновия, и журналист насторожился. Зиновий выдвинулся вперед, принялся объяснять. Нет, снова не понять, тарабарщина какая-то. Зашуршал халат, пухлая старческая ручка поднялась и царственно коснулась голого теплого тела. От прикосновения ледяных кончиков пальцев тело пошло пупырышками. Борис Николаевич с брезгливостью привычно здорового, тренированного человека обратил внимание, какой худой и бледной стала у него грудь с проступающими косточками, какой дряблой, нездоровой кожа на животе.

Наконец ему велели одеваться.

Сотрудники в халатах повернулись и стали ждать, что

скажет немногословный человечек с голым розовым лицом. Он молчал. Кое-как одевшись, Борис Николаевич подобрал с холодной кушетки халат и тоже посмотрел на старичка. Опять молчание, и Зиновий показал глазами, что ему следует выйти.

— Боря,— позвал Зиновий, высунувшись в коридор,— ты не убегай, я сейчас.

Теперь, без посторонних, в кабинете за матовой дверью наступил момент откровений.

— Модест Генрихович,— сдержанно попросил Зиновий,— только ради бога... Что-нибудь действительно серьезно?

Все затаились, ждали.

Хрустнул в тишине халат, розовая пухлая ручка медленно убрала с лица массивные очки. Зиновий увидел добрые беспомощные глаза царственного старичка. Заморгав, светило близоруко наклонило голову и стало шарить в карманах. Зиновий с готовностью придвинулся ближе.

— Не то слово: серьезное...— негромко проговорил старичок, удрученно протирая очки не постижимой белизны платочком.— Не то слово...

И все моргал белесыми незащищенными глазами. Без очков он казался доступней и обыденней всех, кто стоял вокруг. Зиновий, ожидая, боялся, когда светило протрет очки и снова водрузит их на привычное место...

— Ну, старик, заждался?

Борис Николаевич, не отвечая, кутался в шарф и разглядывал ворон на деревьях парка. Дул ветер, и галдевшие вороны, взмахивая крыльями, удерживались на голых моющих ветках.

— Идем,— сказал Зиновий.— Не мудрено и простудиться. Бр-р, как продувает!

— Ты не финти, не финти! — не выдержал Борис Николаевич. Он весь пазелся, ожидая.— Говори прямо: что он сказал?

— Ты это о чем? — Зиновий приостановился.— Ах, это!.. Брось, старик, пустяки. Мы говорили совершенно о другом. Он же мой руководитель, и как раз защита на носу. Идем, чего мы стоим?

— Ты все-таки скажи: что? Он же что-то сказал! Я все равно не успокоюсь, пока не узнаю. Так что говори лучше сразу.

— Да все хорошо, старик! Все в порядке. Просто... просто

на свежем воздухе надо бывать побольше. Ну и... все такое. Понимаешь? Так сказать, простые радости бытия. А как-нибудь через недельку мы с тобой ему еще покажемся. Он чудный старикан и никогда не откажет.

Борис Николаевич скептически усмехнулся. В глубине души он сам уверен был, что ничего серьезного: так, обморок какой-то незнамо отчего, но ритуал осмотра, вопросы и ответы на непонятном языке, неторопливое, придиричивое изучение его раздетого и впрямь казавшегося нездоровым тела — все это зародило подозрения: а вдруг Зиновий припесет недоброе известие? Припомнил, что и у матери все начиналось с обмороков... Теперь как будто пронесло, и, хоть верного Зиновия можно было заподозрить в обмане, Борис Николаевич не хотел больше сомневаться. «Почему обязательно обман? Я же всегда был здоровым человеком. Первый разряд по лыжам!» Но сразу успокоиться и просветлеть показалось ему стыдным: еще подумает Зиновий, что он боялся!.. Поэтому, как человек прямой, предпочитающий обману самую неприкрытую правду, Борис Николаевич брюзгливо проворчал:

— Что же ты тогда трепещишь так много, если ничего страшного?

Зиновий снова принял подозрения друга чрезвычайно близко к сердцу.

— Старик, ты становишься ненормальным. Пойдем, слушай, я заодно уж покажу тебя и психиатру. Пойдем, пойдем! — и попытался завернуть его обратно.

— Да ну тебя! — с легким сердцем рассмеялся Борис Николаевич. — Просто мне нельзя сейчас болеть. И так хоть разорвись...

— Все-таки решил поехать на соревнования?

— Хотел поехать. Но ты же говоришь — через неделю надо снова показаться. А жаль. Работа пустяковая: отчеты на сто строчек. Хотелось подышать, на лыжах постоять. Тянет, брат, нас к увлечениям молодости.

— Ладно тебе, старец нашелся!

— А что? Все, как посмотришь, катится в одну-единственную сторону... — Упрятав подбородок в шарф, Борис Николаевич шел некоторое время молча. — Зям, только откровенно: вот что бы ты стал делать, если бы вдруг узнал, что у тебя болезнь, страшная, неизлечимая болезнь?

— Ну, старик... это вопрос сложный. Во-первых, смотри, что получается. Кто тебе даст гарантию, что ты действительно неизлечимо болен? Ну, кто? Такой приговор — это,

знаешь ли... А во-вторых, сам этот термин: неизлечимость. Тут, Боря, все настолько относительно...

— Запел! Во-первых, во-вторых... А мама? Мне же тогда сразу сказали: все, никакой надежды. Да ты же сам и говорил! Сам же... Только она не знала ничего.

— Ну... там случай был особый. Совсем особый. Не хочется и говорить. Лимфосаркома — поганейшая штука, старик.

— Так, значит, все-таки бывает! А то заладил: во-первых, во-вторых... Как она мучилась,— подумать страшно! Наркотики, наркотики... Кромешный ад! И негуманно, кажется мне, медицина ваша смотрит на все эти дела. Заставлять так человека мучиться! Уж лучше сразу: раз — и все!

Зиновий, плотненький, солидный, с большим портфелем у ноги, хмуро загораживал воротником свое озябшее на ветру лицо.

— В таких вещах, старик, принято считаться с мнением самих больных.

— Иллюзия чудес! — скептически усмехнулся Борис Николаевич.

— А что? Пусть даже иллюзия, старик. На жизнь надо смотреть, как на чудо. Казалось бы, что такое человек? Так,— кости, мясо, кровь. А ведь этот конгломерат не только передвигается в пространстве, но — думает, чувствует, мечтает. Даже если просто дышит,— просто дышит, старик! У кого на это поднимется рука?

— М-да... И все-таки смотреть и понимать, что это чудо мучается и существует на одних наркотиках...

— И все-таки существует, старик! Живое должно жить, пока живется.

— Афоризм!.. И все-таки я лично предпочел бы, чтобы во мне иллюзий не поддерживали. Честно! Если уж... случилось,— конечно, горько понимать и сознавать, но если уж случилось, так чтобы — сразу! Любым способом, но только сразу, без мучений!

— Любым способом... А ты знаешь, Боря, человеческое сердце — очень странный инструмент. По идее оно заведено лет на сто пятьдесят, на двести. Да, да, не фыркай, это доказано. Просто мы всю жизнь только и делаем, что сами его гробим. И все-таки остановить его не просто. О, не так-то просто, старик! Оно сражается до последнего. Это самолюбивый и упорный орган.

— Вот уж плевать-то на его самолюбие и упорство! Тут

главное — решиться, одолеть эту чертову боязнь, поганенькую трусость. Собраться на какой-то миг...

— Глупости ты, старик, болтаешь, не хочется и слушать. У тебя что — в редакции не все в порядке?

— Э, что редакция!

— А с фельетоном с тем? Не кончилась волынка?

— Все будет хорошо. Не в этом дело... Ослаб я что-то, Зяма, похудел. Сегодня — там, у вас, — я на себя смотрел. Слушай: я это или не я? Куда все подевалось? И этот обморок вчера... Со мною что-то происходит, я это чувствую.

— Так это же естественно, Боря! Нездоровье, хотя и маломальское, оно всегда... ну, настраивает, что ли... Создает, так сказать. Вполне понятно и объяснимо.

— Все-таки интересно бы научиться заглядывать хоть чуточку вперед. Что человека ожидает? Один, глядишь, мучается, врачей изводит, а жить будет лет сто, не меньше. Другой хохочет, заливается, то ему надо, другое, везде не успевает, а жить осталось: пшик.

— Философ! — усмехнулся Зиновий. — Ты лучше вот что: ты куда сейчас — в редакцию, домой?

— Какое там домой!

— А лучше бы, старик, домой. Ляг, полежи...

— Почему: ляг? Почему, слушай, домой? Зям, ты все-таки что-то скрываешь. А? Скрываешь ведь?

— Вот сумасшедший-то! Перестань ты, ради бога! Какой-то ненормальный... Да черт с тобой, иди ты в свою редакцию, если тебе так хочется! Ему как лучше советуешь, а он... Иди, иди, слушай, — топай! Мне тоже пора.

Рассердившись, Зиновий отвернулся и быстро зашагал прочь. Огромный, вечно набитый портфель привычно перетягивал его набок. Борис Николаевич стоял и смотрел, как он удаляется своей скособоченной торопливой пробежкой, ныряя шапкой в такт шагам.

— Зям, — позвал он неожиданно. Позвал негромко, но Зиновий сразу услышал и остановился. Стоял и ждал, что подойдет и скажет. — Зям, только не обманывай меня, ладно? Да подожди ты со своими!.. Ты же знаешь, я уж насмотрелся. Мученья эти, — лучше не надо. Тамара, например, еще забыть не может. Так что, будь другом... если что — без всякого обмана. Хорошо?

Зиновий вздохнул, как человек, теряющий всякое терпение.

— Нет, старик, все-таки не я буду, если не покажу тебя психиатру. Силой поведу!

— ...И вот еще. Тамара станет спрашивать,— скажи, что все нормально. А то она светилу твоему житья не даст.

— Как хочешь. Но в общем-то ты к ней несправедлив. Ты бы посмотрел, что с ней вчера творилось!

— А знаешь, это очень, очень странно!— перебил журналист товарища.— Слушай, откуда она узнала? Не ворон же ей в клюве принес!

Зиновий по-прежнему держался так, чтобы какое-нибудь неосторожное слово не вызвало подозрений большого.

— Н-ну, знаешь... Да просто позвонил кто-нибудь, и все! Подумаешь, шарада! Кроссворд!

— Нет, нет, никто не звонил. Я специально всех обошел. Не хватало еще, чтобы ее пугать!

— Ну, значит, по воздуху передалось! — начал сердиться Зяма.— Устраивает это тебя? Нашел о чем ломать башку! Ох и истерик же ты, Борька! Ну самый настоящий психопат!..

Отмахнув дверь, в отдел влетел секретарь редакции, маленький, прокуренный, с высоким голым лбом и воспаленными глазами. В руке у него развевался листок бумаги,— секретарь привык носиться по редакции стремительно и шумно.

— Все-таки пришел? — накинудся он на Бориса Николаевича, совсем не замечая испуганно умолкнувшей посетительницы.— А шеф сказал, что тебя весь день не будет.

— Да, Тамара звонила ему. Но чего мне, в самом деле, лежать, вылеживаться?

— Самочувствие как?

— На уровне вроде.— Борис Николаевич поправил под пиджаком теплый обношенный шарф и уютно поежился. Шарф приятно согревал грудь и шею.

— Морозит?

— Пустяки, пройдет.

— Сидел бы, слушай, дома. Как тебя Тамара выпустила?

— Надо было.

— Я что хотел спросить...— озабоченно мигая, секретарь старался вспомнить.— Да! Когда твои соревнования? Командировку-то с какого числа выписывать?

— Отменяется. Решил не ехать.

— Вот как? Ну... гляди сам. А то съездил бы. Шеф не возражает.

— Да нет. У меня тут... всякое. Дела.

Борис Николаевич, выглянув из-за секретаря, посмотрел,

как там посетительница. Обернулся и секретарь с неприязнью, через плечо. При своем крошечном росте он великолепно умел взглянуть на постороннего сверху вниз. Женщина ответила ему робким, заискивающим взглядом. Секретаря в редакции побаивались.

— Не хватало еще, чтобы все посваивались... Кстати, можешь радоваться: завтра даем «По следам наших выступлений».

Это было главное, зачем он приходил в отдел.

Борис Николаевич оживился. Расследования по фельетону ждал не только он, ждала вся редакция.

— Вот, официально,— секретарь показал листок.— Засылаю в набор.

— С меня причитается,— очень довольный пообещал Борис Николаевич. Ему хотелось самому прочесть, что там прислали, и своими глазами убедиться, как решительный карандаш секретаря коротенькой стрелкой отведет долгожданному материалу место на полосе завтрашнего номера. Однако его ждал прерванный разговор, и он с сожалением остался.

— Ну, Тамарке привет,— сказал секретарь и прикрыл за собою дверь.

Посетительница преданно взглядывала на фельетониста, ожидая разрешения продолжать. Борис Николаевич деловито придвинул бумагу, приготовил карандаш.

— Так, значит, вы сказали...— И тут же подумал, что это банально: изображать такого вот крайне заинтересованного, чуткого к чужой беде человека. Он ровным счетом ничего не помнил, что ему рассказывалось до прихода секретаря. Зря, незачем вообще было соглашаться на этот мелочный, бесцельный разговор. По каждой пустяковой жалобе фельетона не напишешь. В редакции имеется отдел писем, там жалобу зарегистрируют и пошлют куда следует: больше толку будет.

Как бы торопясь куда-то и боясь опоздать, Борис Николаевич с преувеличенной озабоченностью вздернул рукав, чтобы посмотреть на часы. Он поразился тому, насколько рука стала хилой, худой, растерявшей упругую плоть. Часы, свободно болтаясь, держались на косточках запястья. После вчерашнего обморока, а особенно сегодня, вернувшись от Зиновия, он только и делал, что с беспокойством рассматривал свои неизвестно когда исхудавшие руки. Он мрачно опустил рукав, так и не взглянув на часы.

Женщина проворно нагнулась и подняла с пола сумку.

— Я вам лучше документы покажу,— заторопилась она, догадавшись, что разговор сейчас оборвется.— Сами посудите: писал-писал, звал-звал, а как квартиру получил... Вот,— она порылась и достала какие-то бумажки.— Только вот первые я, как дура, повывбрасывала. Думала, человека встретила.

Делать нечего, пришлось принять бумажки в руки. Дергая одну за другой, Борис Николаевич без всякого интереса стал их просматривать.

— Гм... Это, как я понимаю, письма? — чуточку в нос проговорил он, кое-что прочитывая.— Я говорю — письма это? Вот то, что вы мне дали?

— Письма, письма,— поспешно подтвердила посетительница, подъезжая со стулом поближе.— И вот подпись его... Вот! Не отопрется. Зачем он тогда вызывал меня? Мы же все как следует решили. Как у людей. А теперь, как квартиру получил,— убирайся! Да кто я ему такая? Раз семья, значит, надо все пополам. Меня сам товарищ Бакушкин удостоверял, что за свои права...

— Подождите, подождите! Он вас что — из квартиры выселяет?

— Ну да! Мне, говорит, государство навстречу пошло, на меня и ордер. А товарищ Бакушкин...

— Ну, на это еще и суд есть! — проговорил Борис Николаевич, не слушая больше, и снова принялся перелистывать бумажки.

Посетительница затихла, замерла, потому что при малейшем движении под ней поскрипывал расшатанный редакционный стул.

Скоро Борис Николаевич увлеченно заиграл карандашиком. О руках было забыто. Заинтересованно сортируя письма, он одобрительно хмыкал и быстро делал какие-то пометки на полях, кое-что перечитывал и откладывал в сторону. В конце концов он выбрал самое пространное, написанное косым разборчивым почерком на большом листе из середины общей тетради.

— Муся... Так сказать, Мария... — взгляд его, когда бывал он чем-то увлечен, слегка шалел.— Это, как я понимаю, адресовано вам?

Женщина зарделась и, подхватив стул, подъехала еще ближе.

— Этим-то он меня и заморочил, товарищ корреспондент. Муся да Муся... А я как дура набитая. Да вы дальше читайте,— там все написано.

— Да уж с вашего позволения,— опять немного в нос пробормотал Борис Николаевич, все больше увлекаясь тем, что узнавалось из прочитанного.

«...Я ищу любовной привязанности,— свободно разбирал он крупный деловой почерк и, не переставая, ловко вертел в пальцах карандаш,— ищу верности, чтобы не сделать ошибки и построить наш с тобой союз на прочной и безукоризненной основе.

Любовь — это вдохновение внутреннего величия человеческой сущности, все равно влечет ли она за собой мудрые поступки или коварство и безумие. Притягательная сила половых влечений особо выделяется природой, непорочность которой у человека защищается девственным барьером. Он оберегается всегда искренней любовью и является идеалом ее непорочной чистоты, обуславливающей крепкую семейную ячейку и здоровое потомство, которым во все периоды культурной жизни и цивилизации озабочены силы прогресса и разума».

— «Прогресса и разума»... — машинально повторил Борис Николаевич, задумчиво щурясь и потирая глаза. А ведь едва не сплавил в отдел писем!

Были еще стихи, много стихов, но прочитать их Борис Николаевич решил потом, когда останется один.

— Занятно... Он у вас что, студент?

— Какое там! — Посетительница становилась все оживленней. — Козел старый, на пенсии. Но здоровый — до ста лет ни черта не делается!

— Ах, вот даже как!

Озноб, донимавший с самого утра, незаметно прошел, и Борис Николаевич все чаще и нетерпеливей ослаблял нашее ненужный, только мешающий теперь шарф.

— Давайте сделаем так,— предложил он, постукивая карандашом по письму. — Мне, как это уж положено, необходимо увидаться и с... этим... ну, с вашим... с супругом или как он... Кем он приходится-то вам?

Вышло у него неожиданно грубо, оскорбительно, и он смешался, покраснел. Однако посетительница совсем не заметила бестактности журналиста. Насторожило ее другое.

— А без этого нельзя? — быстро спросила она. — Он же про меня всякие глупости начнет болтать. Я знаю.

— Ничего, ничего,— успокоил ее Борис Николаевич, довольный тем, что неприятная заминка миновала. — Письма я пока у себя оставляю. Хорошо?

— И стихи?

— Конечно! Не бойтесь, все останется в сохранности.

Она подумала и поднялась.

— Его прислать или какую повестку напишете?

— Да какую же повестку? Просто пусть зайдет. В любое время.

Только теперь, когда посетительница встала, Борис Николаевич разглядел, что она еще совсем молода — не больше двадцати пяти, двадцати шести. Взрослой ее делало большое, сильное тело.

В дверях она столкнулась с секретарем редакции, и тот, тоже удивленный такой могучей статью, поспешно отступил с дороги, — низенький, забегавшийся, с голым озабоченным лбом. Под мышкой он держал тоненькую папочку. Женщина, минуя его, крепко задела бедром задрожавшую половинку двери.

— Извиняюсь! — она смутилась и заторопилась скрыться.

Секретарь некоторое время мигал и прислушивался к ее горопливым шагам в коридоре, затем остановил рукой дрожавшую половинку двери.

— Выращивают же где-то... Чего она?

— Да так. Интересный один материал намечается.

— Когда сдашь?

— Ну, так уж и сразу. Быстрый какой! — разговаривая, Борис Николаевич наводил на столе кое-какой порядок.

— Ожил? — усмехнулся секретарь, заметив размотанный шарф и грудку бумаг на столе.

Встретившись глазами, они хорошо поняли друг друга.

— Ладно тебе, — добродушно проговорил Борис Николаевич, стаскивая с шеи надоевший шарф. — Она еще придет, я позову тебя. Примешь участие в разговоре. Только с глазами научись управляться. Подрываешь авторитет печатного органа.

— Пошляк, — притворно вздохнул секретарь и с деловым видом направился к столу, на ходу развязывая папочку.

В подъезде было темно и настало. Борис Николаевич, осторожно поднимаясь по ступенькам, мурлыкал под нос: «Вот и Том, есть у Тома дом...» Темнота густела, на втором этаже за закрытой дверью тоненько плакал ребенок.

На своей площадке Борис Николаевич долго не мог попасть ключом в скважину.

Из кухни, едва он вступил в квартиру, раздался звонкий голос жены:

— Кто там?

Он промолчал, отряхивая от снега шапку.

В квартире сильно и вкусно пахло. Морщась от удовольствия, Борис Николаевич стал раздеваться. Поздние возвращения вошли у него в привычку, и в них, как оказалось, была своя прелесть. Вчера, когда его увезли из редакции на «Скорой помощи» и не хотели отпускать домой, он представил мучительный вечер в переполненной больничной палате, а то и в коридоре на случайной койке и с тоской подумал о тихой, покойной квартире. Ему удалось уговорить дежурного врача и получить разрешение позвонить по телефону. Авторитет Зиновия сработал моментально: его не только отпустили, но и отвезли домой на машине с красным крестом.

Из кухни выглянула и вышла Тамара в переднике, в руках очищенная луковица и нож.

— Ты один? Я думала, вы с Зямкой. Что это у тебя?

— Том,— тихо ликуя, позвал Борис Николаевич и пома- нил рукой,— сбылась мечта идиота. Ты знаешь, сколько я угрохал вот за эту книжечку?

Тамара положила на кухне нож и луковицу и вернулась, вытирая руки о передник.

— Интересно...

— Гляди! — он содрал газету и залюбовался покупкой.— Библия. Сорок рублей. С иллюстрациями Доре.

— Однако и книжечка! — Она без особого воодушевления приняла в руки книгу.— Но где ты раздобыл столько денег?

— Пал в ноги секретарю. Он ко мне что-то вообще благо- говорит последнее время. Тебе, кстати, от него привет... Но ты посмотри, полистай! Правда, здорово? Я давно хотел купить. А сегодня позвонил в букинистический, говорят: «При- езжайте». Нет, ты все-таки глянь на иллюстрации!

— Ну, я вижу, ты в настроении? — сказала Тамара, воз- вращая книгу.— Как тебе работалось?

— Представь себе, ничего. Совсем даже ничего.

— Господи, Борька, как ты меня вчера напугал! До сих пор не могу... Ты звонил Зямке?

— Зямке? Да н-нет... А что? Вернее, зачем?

— Покажись ему, Боря. Ну что тебе стоит? Он же пони- мает. Пусть послушает, посмотрит.

— Началось! Покажись, пусть посмотрит... Много он по- нимает, твой Зямка. Лапоть!

— Ну, не он, так у него кто-то есть. Какой-то профессор,

член-корреспондент. Хочешь, я сама ему позвоню? Я почти договорилась с ним.

— Брось, Том. Пробираться к каким-то там светилам... Давай подождем хоть недельку. Да и чего ты вбила себе в голову? Я здоров как бык.

— Это для меня, Боря. Слышишь? Ну, не светила, так хоть Софье Эдуардовне. Ведь милая старушка и к нам хорошо относится. Прощу тебя!

— Ну, хорошо, хорошо — уговорила. Пойдем к твоей Софье Эдуардовне. Хотя она, кажется, уже и нюх потеряла. Прекрасная консультация! «Покойник плясал на столе...» Но почему ты меня сегодня в коридоре держишь? У тебя там кто-нибудь есть? Кто-нибудь спрятался? А? Признавайся, подлая, кого ты от меня там прчешь?

Тамара рассмеялась:

— Господи, как я рада, что у тебя все хорошо. Пойдем, у меня сегодня такие голубцы — язык проглотишь!.. А что, кстати, с твоим фельетоном? Не кончилась еще проверка?

— Представь себе, кончилась. В завтрашний номер идет «По следам наших выступлений». Сам читал.

— Вот видишь! А ты волновался. Я сразу была уверена.

— Ах, Том, Том, если б молодость знала, если б старость могла!

В совершенно отличном настроении Борис Николаевич отстегнул запонки, бросил через плечо полотенце и, бодро закатывая рукава, направился в ванную. На пороге остановился.

— Знаешь, шли мы сегодня, и я почему-то вспомнил... Помнишь, на последнем курсе мы бежали эстафету четыре по десять? Как я шел! Лыжни не чуял. А сегодня тащимся с Зямкой через парк, вороны мотаются, а меня уж и шарф не греет. А главное, колени... представь, в коленках моих какая-то мерзкая, противная дрожь.

— Значит, ты все-таки виделся с Зямкой? — спросила Тамара, хлопотливо звякая крышками от кастрюль.

— Да так, знаешь... Случайно. Слушай, Том, ты никогда не пробовала смотреть руку на свет?

— На какой свет? — Тамаре было не до разговоров, некогда поднять головы. Хозяйничая на кухне, она что-то прихватывала, переставляла, иногда, замахав обожженным пальцем, совала его в рот.

— Ну... на какой? На обыкновенный. — Он щелкнул в ванной выключателем и, как бы заслонившись от яркого света,

стал разглядывать собственную ладонь.— Рентген. Настоящий рентген. Гениально и просто. Сегодняшнее мое открытие.

Ему казалось, что ладонь просвечивает насквозь,— различаются худые, слабые косточки, утолщения суставов, вокруг розовато светится плоть.

— Ах ты наказание мое! — запричитала на кухне Тамара.— Все руки спалила.

— Ума не приложу,— рассуждал Борис Николаевич, шевеля длинными некрасивыми пальцами.— Куда все мое мясо подевалось? У меня же рука была, ручища! Я на одной руке подтянуться мог.

— Все понятно: похудел,— ответила Тамара, проворно вытирая стол и выставляя чистую посуду.— Ты же сам себя съедаешь. С фельетоном этим... Разве можно так изводиться?

— Зато сегодня — блеск! — снова оживился Борис Николаевич, высовываясь из ванной.— Сегодня мне выложили такие любовные послания — закачаешься! Тебе таких век не получить, это я тебе точно говорю. Язык, стиль, сила, так сказать, чуйств — ничего и прибавлять не надо. Опубликуй как есть — газету из рук будут рвать. А стихи! Ты бы почитала стихи! Трупом ляжешь!

— Вот, вот,— подхватила Тамара,— что и требовалось доказать. Опять начнутся проверки, жалобы, опровержения. Не лезь ты хоть в семейные-то дела. В них сам черт ногу сломит. Как они собачатся, так и помирятся без тебя. А так тебе никакого здоровья не хватит.

— Ну, жиру мне все равно не накопить. А отказываться было грешно. Там можно интересно порассуждать.

— А еще спрашиваешь — где мясо? Мясо, к твоему сведению, бывает у спокойных, уравновешенных людей. Ты что, сначала купаться будешь или подавать на стол?

— Какое там купаться?! — вскричал Борис Николаевич, протопал в ванную и сильно пустил воду на руки.— Жрать сначала, лопать. Где твои голубцы? Подать мне эти голубцы! Я голоден, черт побери!

«Брачное соглашение»

Мы, Кухаренко Егор Петрович и Чекмарева Мария Епифановна, вступая в законный брак семейной жизни, заключили настоящее соглашение в нижеследующем:

1. Несмотря на возрастную разницу в годах, обязуемся уважать, ценить и заботиться друг о друге по-

жизненно, соблюдая все принципы морально-стойкого общежития и целомудрия.

Примечания: Травмированное войнами здоровье «мужа» мне, «жене», досконально известно, и я обязуюсь благотворно импонировать последнему с полным культурным уходом и наблюдением.

Собственноручные подписи, учиненные в моем присутствии,

удостоверяю.

Начальник ЖЭК РЖУ С. Бакушкин.

— М-да... серьезный документ.— Борис Николаевич так и эдак удрученно поразглядывал скрепленную печатью бумагу.

— Ну вот. А вы за карандаш хватаетесь,— снова загудел обиженный посетитель, громадный бритоголовый мужчина.— Тут разобраться сначала надо. А за карандаш... Кто, спрашивается, гонит ее? Кто выгоняет? Если ты жена, так живи как положено. Вот и документ налицо. Этот же самый Бакушкин и подписывал. А теперь... Ну, да и на него имеется управа. Найдём! А то что же получается: квартиру дождалась, прописалась и — делиться давай! Это тунеядство, товарищ корреспондент, обман. И я до кого хочешь дойду!

Он сидел, плотно упираясь в расставленные колени. Дрожал и наливался кровью рассерженный старческий подгрудок. Толстым пальцем пенсионер то и дело оттягивал душивший воротничок. В прокуренном редакционном помещении возвышалась его крепкая свежееобритая голова. Острый запах одеколона перешибал застарелую табачную вонь. Борис Николаевич морщился. Он сегодня с самого утра чувствовал себя скверно. Утром Тамара не хотела выпускать его из дома, но позвонил секретарь редакции и упросил, чтобы Борис Николаевич пришел хоть на полчаса. Настырный посетитель, «этот чертов Ромео», как назвал его секретарь, оказывается, заявился в редакцию чуть свет и разыскивал фельетониста.

— Ты что, договаривался с ним встретиться? — допытывался секретарь.

— Он где сейчас, в редакции? — спросил Борис Николаевич, вяло спуская с дивана ноги.

— С утра сидит, ну его к черту. В обком грозитя... Приходи, слушай, сделай одолжение. Он мне номер сорвет.

Громогласный гвардейского роста старикан явился в редакцию с толстой кожаной папкой. Измученный секретарь,

у которого остановились все дела, с радостью сбыл его с рук. Борис Николаевич, незаметно приглядываясь, повел посетителя к себе.

Болезненный ли вид журналиста, постоянно кутающегося в шарф, раздражал благоухающего пенсионера, просто ли обеспокоило его посещение редакции сожительницей, по только с самого начала возмущенный старикан попер на голос. Борис Николаевич не переставал морщиться. «А ну их, и с любовью ихней! — раскаивался он, щупая виски. — Сплавить надо было все-таки в отдел писем».

— Только ведь... как бы вам сказать, — деликатничал он, держа перед собой «Брачное соглашение». — Документ этот, разобраться если, в данном случае не может иметь никакой юридической силы. То есть приобщить его... учесть, так сказать, в общем раскладе можно, но ведь вы возлагаете на него, как я понимаю...

Монументально восседая на жидком редакционном стуле, Кухаренко с усилием вслушивался в сбивчивую, утекающую речь журналиста и ничего не мог уразуметь. Он даже головой потряс и понадежнее расставил ноги. Обилие слов отскакивало от его блистающего лба, он не понимал, куда клонит этот бледный, мерзнувший даже в невыносимо душной, прокуренной комнате человек.

— То есть как это — никакой? А подпись? А печать? Мы по всей форме сходились. А в загс она сама не схотела: стыдно ей, видишь ли! А теперь не стыдно? Я, конечно, понимаю, не дурак, что для суда или там приговора... Но ведь я не в суд пришел. Пускай общественность посмотрит.

Взор его был ясен, напорист и тверд. Борис Николаевич, нервно поправляя на шее шарф, отводил страдающие глаза.

— Так ведь и общественность... По-моему, в таких случаях основным предметом, что ли... не документом, нет!.. а предметом, на котором строятся человеческие отношения, должна быть любовь. Все-таки любовь! Мне так кажется... А как раз любви-то, как можно догадываться, нет и, надо полагать, не было. Я так нахожу...

Не только сила убеждения, чтобы возражать пенсионеру, но даже сами слова давались сегодня с трудом.

— Это вы ее наслушались! — возмущенно отрубил Кухаренко, багровея еще больше и с остервенением запуская палец за воротничок. — Как это так — не было! Значит, что я — силком, выходит? Вы, знаете, не того... Вот, если вам всего мало, — читайте! — Он проворно достал из папки и положил на стол хорошо разглаженный листочек с потертыми места-

ми на сгибах.— Что же я, так зря бы и пошел по организациям? Слава богу, не дурак еще!

И все ворочал головой, высвобождая полнокровную, до-родную шею.

Первым делом Борис Николаевич посмотрел, нет ли и на листочке казенной печати.

— Что, тоже письмо? — спросил он.

— Почему — тоже? — не понял старикан, складывая свою увесистую папку.— Просто письмо. Да вы читайте, читайте!

Письмо было от Муси.

«...Весна у нас на Кубани вступает в свои права: тепло, сухо, птички поют, насекомые выползают на поверхность греться. Фото Ваше у меня на видном месте в альбоме, на которое я очень часто смотрю. Мне многие говорили, что у меня каменное сердце, но оказалось, что для моего каменного сердца Егор Петрович сумели подобрать алмазное стеклышко...»

Борис Николаевич вздохнул и утомленно потер переносицу. Глаза его еще скользили по корявым торопливым строчкам разглаженного и отлежавшегося в папке письма, но он ничего не видел и не понимал,— перестал понимать. Ему не хотелось ни вникать в это сутяжничанье обозлеченных друг на друга людей, ни тем более разбираться, на чьей же стороне окажется в конце концов какая-то ничтожная доля правоты. В нем поднималось раздражение и все большая неприязнь к сегодняшнему нахрапистому посетителю,— именно настойчивость его и неумолимость, ясные непреклонные глаза выводили журналиста из себя. Чувства эти настолько вдруг овладели им, что Борис Николаевич, сдерживаясь, зажмурился, стиснул зубы и едва не простонал, принявшись быстро-быстро поглаживать пальцами ноющие виски. Так, с закрытыми глазами, он просидел с минуту, если не более, соображая в то же время, что сказать, как вообще избавиться от всей этой недоброй суеты чего-то добивающихся людишек, которым не хватало постоянной обремененности большими чувствами и тревогами. А ведь могло и так быть, да так, наверное, и было, что где-то усталый, измученный хирург, золотые руки, заканчивал на живом раскрытом сердце ювелирный шов или на далекой наблюдаемой планете, погасив турбины, садилась мягко станция с Земли, а в этот миг управдом товарищ Бакушкин, любовно подышав на казенную печать, деловито скреплял вот этот, с позволения сказать...

Но что-то следовало говорить, и Борис Николаевич взял себя в руки.

— Ну? — тотчас оживился посетитель, наблюдавший за журналистом. — Что теперь скажете? Не любила?

— Знаете что, — предложил Борис Николаевич, — вы мне оставьте все это. Я еще почитаю, подумаю. А то я сегодня что-то... не того, — и растопыренными пальцами он повертел у себя возле головы.

Кухаренко помедлил, потом с неохотой согласился.

— Понимаю, — произнес он и, не настаивая больше, засобирался. — Но это все скоро выйдет? В газете-то напишется?

— Ну, знаете... — возмутился Борис Николаевич, — у нас так быстро не делается!

— А то смотрите... я, если что, могу и посодействовать. Куда сходить, написать.

— Нет, нет. Никакого содействия не требуется. Не нужно.

Пенсионер окинул журналиста взглядом, словно определяя его способность и пробивную силу.

— Смотрите сами, товарищ корреспондент. Подождем... Но только я вам со всей документации лучше копии сниму. У меня же не только это. Тут, если начать разбираться... А вы поправляйтесь. В таких делах здоровью прежде всего.

«Ну, слава богу», — вздохнул Борис Николаевич, и раздражение его пошло на убыль.

Развалив на коленях добротную папку, Кухаренко вкладывал и никак не мог вложить на свои места предусмотрительно сберегаемые бумажки. Борис Николаевич обратил внимание, что папка пенсионера полным-полна какими-то разнокалиберными листочками. «Ну, подобрал старик алмазное стеклышко».

— Таких наказывать надо, к порядку призывать, — сердился и ворчал пенсионер, стараясь уложить листочки. На коленях у него лежал уже целый ворох потревоженных бумаг.

Встав из-за стола, чтобы помочь ему, Борис Николаевич спросил:

— Она у вас кто по специальности-то?

Вдвоем они управились скорее, Кухаренко захлопнул папку и поднялся, высоко вознеся над журналистом благоухающей бритой головой.

— Какая ее специальность, товарищ корреспондент! На маникюршу учится. — Он снисходительно рассмеялся, махнул

рукой и утер в морщинистом глазу слезинку. Напористость его пропала, он расположился, если можно, поговорить откровенно, не по-казенному, а как мужчина с женщиной.

— Так заходите, буду ждать,— тотчас предупредил это намерение Борис Николаевич, и его сухая горячая рука утонула в прохладной толстой ладони пенсионера. «Штангой, черт, или борьбой занимался!» — определил он, по привычке отличая здоровых, тренированных людей.

— Болеть, как я вижу, не приходилось? — спросил он, провожая посетителя к двери. Громадный Кухаренко двигался, как шкаф. Вопрос журналиста доставил ему удовольствие.

— Да не припомню вроде,— скромненько поежился старикан, и Борис Николаевич, утомленный постоянными головными болями и слабостью, представил себе, какая, должно быть, у этого пенсионера красная гулкая гортань, исправные печень и кишечник.

— Морж, наверное? — спросил он, живо наставляя палец.

— Что такое? — насторожился старикан.

— Ну... в проруби купаетесь или снегом?

— А-а! Это точно,— подтвердил Кухаренко.— Два раза. Утром и вечером, как на молитву. У нас там снег замечательный. Вот так гребанешь и... — он ощерился, закричал, показывая, как растираются колючим чистым снегом здоровенные грудь и бока.

— Чудесное дело! — загорелся Борис Николаевич.— За городом живете? Я уж, кажется, веки вечные не был за городом. Забыл, как и лес пахнет.

— Так что же? — добродушно гудел сверху посетитель.— Вот налажу я свои отношения и — милости прошу. У нас там снегу или воздуху этого хоть, извините, задницей ешь. Буду рад. Еще раз извините за выражение. Человек простой.

Зазвонил телефон, и Борис Николаевич быстро повернулся к столу. Старикан неумело поклонился и разлаписто зашагал из кабинета. Только теперь, глядя ему в спину, можно было заметить, что, несмотря на завидно сохранившееся здоровье, он все же поддается возрасту. В грузной походке уже угадывалось ковыляние, мотались сзади дорогие просторные брюки.

Борис Николаевич узнал в трубке голос жены.

— Борька, ты не забыл?.. Как о чем? Здравствуйте, я ваша тетя! О Софье Эдуардовне. Мы же вчера договорились. Я ей только что звонила, она ждет.

— Том,— взмолился Борис Николаевич,— может, как-нибудь потом? Вот видишь, я уже стихами шпарю. «Том — потом...»

— Борька, перестань! Нет, нет, не хочу и слушать. Да и Софья Эдуардовна ждет, имей совесть. Это займет минут сорок, не больше. Ты слушаешь?.. Алло?

— Слушаю, слушаю, мучительница! От тебя же не отвяжешься, невыносимый человек. Ну хорошо, не кипятись. Иду. Ты где, откуда звонишь?..

Осмотр на этот раз был тоже дотошный, и Борис Николаевич покорно лежал, вставал, дышал и замирал, сгибал и разводил руки, приседал. Софья Эдуардовна не признавала стетоскопа и прикладывалась к голой спине больного теплым мягким ухом и щекой. «Дышите... А теперь замрите, голубчик». Было в этом что-то старинное, да и сам вид седой дородной Софьи Эдуардовны с выразительным львиным лицом, с которого поминутно падало и повисало на шнурочке крохотное прозрачное пенсне,— все говорило о временах минувших и невозвратных, когда болезни были не так многочисленны и замысловаты, а лечение их поддавалось совсем простым, почти домашним средствам.

Раздетый Борис Николаевич снова видел свое тело, разглядывал, пробовал напрягать мышцы и поражался неведомо когда наступившей худобе и слабости. Он стал замечать, что постоянно чувствует свое сердце. Оно не болело, нет, но ощущалось все время, билось мелко, горячо и напряженно, будто убавившийся вес, исчезнувшая сила мышц навалили на него дополнительную нагрузку и оно, не отказываясь, как старый добрый товарищ, выполняло свой долг до конца.

Разрешив одеваться и принимаясь выписывать рецепты, Софья Эдуардовна вдруг попросила обождать и с озабоченным лицом снова прикинула ухом к груди. Видно, в самом деле что-то замечалось за сердчишком, подумал Борис Николаевич. А в остальном вся процедура осмотра лишь позабавила его, и он больше всего остался доволен тем, что угодил жене. После того как его крутили и вертели на все лады в институте у Зиновия, услышать здесь что-либо толковое было бы просто смешно. Он и к наставлениям величественной Софьи Эдуардовны отнесся вполуха: слушал, кивал и соглашался, а сам думал о том, что неделю еще надо подождать, а потом опять к Зиновию и, если все окажется в порядке, надо будет в первое же воскресенье, в первый же свободный свежий день — в лес, на лыжню, на снег, под-

кормить, подправить издерганный, уставший организм. Ну их, всякие дела, им конца-края не будет, надо когда-то и собой заняться...

В отличие от него, Тамара выслушала все, что говорилось, необыкновенно внимательно, а кое-что записала. Одетый, настроенный хорошо, Борис Николаевич стоял у двери и, натягивая перчатки, прислушивался к прощальному разговору женщин. По словам Софьи Эдуардовны, чтобы обмороки не повторялись, следовало пока соблюдать одно: покой и покой.

— Может, читать хоть разрешите? — улыбнулся Борис Николаевич.

Тон журналиста показался Софье Эдуардовне обидным, однако, пока она ловила и снова водружала на место легкие стеклышки пенсне, он поспешил откланяться.

— Том, я подожду тебя на улице.

У женщин оставались еще какие-то свои секреты.

Тамару он дождался не скоро.

— Вы что там, самоварничали? — спросил продрогший Борис Николаевич, приплясывая на снегу и хлопая себя по плечам.

— Слушай, Борька, что у тебя за идиотские насмешечки? — накинулась на него жена. — Ты вел себя возмутительно. К Зямке он не хочет, к светилу ему неудобно, я договариваюсь... Видали его — он одолжение сделал! Мне просто стыдно перед Софьей Эдуардовной.

Борис Николаевич приобнял ее за плечи.

— Тебе хватило сумки для рецептов?

— Слушай, оставь эту идиотскую манеру! Нашел над чем шутки шутить!

— О-о, да мы сегодня в гневе! Ну, Том, вам тогда сюда, а мне сюда. До вечера.

— Какое еще — до вечера? А ну стой! Видали его! Никаких до вечера. Мы идем вместе. Да, да, не делай удивленных глаз. Ты что, не слышал: покой. Вот и пошли.

— Том, ты прекращай наконец свой китайский произвол. Я на работе — пойми ты! Мне некогда вылеживаться. Меня люди ждут.

— Ничего не случится, полежишь. Если надо, с шефом я сама поговорю. И с секретарем тоже. Пошли, нечего стоять.

— Ну, слушай... Мы что, ругаться будем? — Он сердито вырвал руку и отступил на шаг, на полтора. Они долго смот-

рели друг другу в глаза: он — возмущенно, она — терпеливо и, как ему показалось, скорбно.

— Понимать же надо, Том...

— Глупый ты,— сказала она с мягким упреком.— Забыл, как мы намучились с мамой? Вот тебе и ладно. Для меня лично хватит. Вот, по горло, на всю жизнь! Взрослый человек, а ведешь себя... Пойдем, хватит базар устраивать.

— Диктатура! — проворчал Борис Николаевич, но все же подчинился и пошел.

Предписание Софьи Эдуардовны оказалось как нельзя кстати. Если первый день безделья дался с усилием, то уже на следующее утро, проводив жену на работу, Борис Николаевич испытал заметное облегчение, которому искренне удивился: ему хотелось одиночества, и никогда раньше он не подозревал, что даже самый близкий человек может иногда мешать жить так, как хотелось бы. Оказывается, он не привык к своей квартире днем, совсем не ценил одиночества, не знал того удивительного состояния, когда приятны пустота и тишина вокруг, приятна полнейшая изолированность, обеспеченная толстыми стенами и крепкими дверьми. Днем в доме вообще становилось малоллюдно.

Часто звонила с работы жена, звонил Зиновий, измученный ожиданием защиты диссертации.

— Старик, я кончаюсь! — жаловался он.— На ночь съедаю по мешку снотворного. Жую, как овес... Надо хоть увидеться, потрепаться.

Позвонил однажды секретарь редакции и долго болтал о том о сем, пока не сказал главного: оказывается, больше всех печется о заболевшем журналисте старик Кухаренко, могучий пенсионер. Первые дни он терпеливо навещался в редакцию и так же скромно уходил, унося под мышкой свою внушительную папку, а вчера не выдержал и взбунтовался.

— Прямо озверел Ромео, оглушил всех! — негромким топорпливым тенорочком рассказывал секретарь, и Борис Николаевич представил себе прокуренный суматошный секретариат, груды материалов, телетайпных лент и клише на столе и как секретарь, разговаривая с ним, прижимает плечом телефонную трубку, а сам не перестает обеими руками рыться во всем этом привычном беспорядке, находит, что надо, подписывает и засылает в набор, отгрызается на сотрудников и отдает распоряжения выпускающему.

— Ты как — лежишь, поправляешься? А прийти не смо-

жешь? Ну, смотри. Мы его уж как-нибудь без тебя. Любовь должна пройти проверку. Верно?

Остроты у секретаря, как всегда, не получались.

Последовали еще приветы от сотрудников: от одного, другого... от всех, и Борис Николаевич догадался, что в секретариате полно народу — заканчивается половина месяца, а значит, подходит день выдачи гонорара, и ребята узнают у секретаря, не идет ли в номер собственный материал. Ну, после гонорара, как правило, ресторан на скорую руку, чтоб не особенно задерживаться и дома избежать скандала, выпивка, много дыму, взаимных обид, упреков, споров...

Закончив разговор, Борис Николаевич отодвинул телефон. Он ни о чем не расспрашивал секретаря, — редакционные новости, накопившиеся за последние дни, сегодня нисколько не интересовали его. Он вытянулся, удобно закинул под голову руки и снова стал лежать, молчать и смотреть в потолок. Это было внове для него — такое вот увлекательное одиночество. Еще совсем недавно ему хотелось движений, все его тренированное, сильное тело прямо-таки просилось в горячую мускульную работу, теперь же потребность была одна: лежать, смотреть в потолок и — чтобы не мешали. В конце концов он выключил телефон, потому что звонки, постоянные вторжения в его изолированность мешали забыть о том, что происходит без него, они напоминали, что жизнь, как ни отгораживайся стенами и дверьми, идет, она бежит, торопится, и вот уж получается, что он все равно необходим, как бы ни прятался, он нужен чуть не позарез, а позарез этот — ну его к черту! — ведь не на миллион же лет заведено у человека сердце: вон как убивается оно, будто одолевает какие-то постоянные помехи.

Откинув плед, Борис Николаевич спустил ноги и заученно попал в обношенные, истертые шлепанцы. Собираясь утром на работу, Тамара оставляла на плите обед, нужно было лишь зажечь газ и поставить на огонь кастрюльки. Вяло двигая ногами, он протащился на кухню, разогрел, что приготовлено, но есть не стал — хлебнул, ковырнул и вернулся обратно. Висели шторы по сторонам окна, на улице падал реденький снежок. Могучий Кухаренко, подумалось ему, наверняка осудил бы такое отсутствие аппетита. Разве это обед для взрослого мужчины? Уж что-то, а аппетит у старикана, надо полагать, железный: сожрет все, что положат, и потребует добавки.

Укладываясь и пряча под плед костлявые колени, Борис Николаевич повозился, чтобы лечь и не чувствовать

напряженных частых ударов сердца. Кажется, удалось...

Он хорошо представлял себе, где живет пенсионер: большой жилой массив, местные Черемушки. Только там Кухаренко мог получить новую квартиру, больше нигде. Когда-то на том месте стояла захудалая слобода, грязная, с провисшими гнилыми крышами избушек. Борис Николаевич бывал в слободе часто, печатая в газете трескучие материалы о новизне, сметающей отжившее и никому не нужное старье. Слобода гибла, исчезала на его глазах. Окраина строилась еще и по сию пору, город рос и расплзался, но у него уже были другие интересы и обязанности. Как журналист он вырос, укрепился очень быстро. И все же счастливое состояние тех первых лет, когда он только начинал и радовался каждой напечатанной заметке, казалось ему теперь куда приятнее, чем нынешнее, хотя последние фельетоны Б. Кравцова считались событиями в городе и редакция гордилась им, поддерживала и всячески его защищала. А слободу, район своей газетной молодости, Борис Николаевич запомнил так, что казалось, навсегда остались в памяти сырой осенний ветер в голой арматуре кранов, зябнувшие, насеченные дождиком блоки поднимающихся стен, с пустыми рыжими рамами окон, жидкая антрацитовая грязь в колдобинах кривой разъезженной дороги, а по холодам, едва завьюжит, крохотный отрог переметенного через дорогу сугробика и на нем, поперек, грязный рубчатый след автомобильной шины...

— Кто там? — неожиданно крикнул Борис Николаевич и приподнялся. Кто-то был в квартире, вошел, потому что через широко распахнутую форточку движением воздуха внесло несколько снежинок. — Том, это ты?

В коридоре сильно затопали ногами, сбивая налипший снег, затем в комнату, вытягиваясь из-за косяка, заглянуло красное, с запотевшими очками лицо Зиновия.

— Это я, старик. Привет.

Он был осыпан снегом и несколько раз хлопнул шапкой о колено.

— Напугал-то!.. Но как ты проник?

— А на улице снежок, замечательно! — говорил Зиновий, раздеваясь. — Встретил Тamarу, она дала мне ключ... Ну, лежишь, байбак, диван продавливаешь?

Не вставая, Борис Николаевич дотянулся и дернул visюльку торшера. За окном стало совсем темно.

Зиновий, утираясь платком и приглаживая редкие волосы, нерешительно вошел в комнату. Он смотрел, не наследил ли

на полу. Борис Николаевич подвинулся на диване, приглашая садиться.

— А Тамара куда? В магазин?

— Не спросил, старик. По каким-нибудь, наверное, делам.

— Я просил ее в редакцию зайти.

— Может быть, и туда, ничего не сказала. А что у тебя телефон выключен? Звоню, звоню...

— Да так, мешает... Ты знаешь, Зям, супруга меня ставила к Софье Эдуардовне. И вот лежу, раздумываю о смысле жизни, — прекрасная штука бюллетень.

— Она что, смотрела тебя?

— Софья Эдуардовна? Еще как! Крутила, вертела... Люблю я этих величественных интеллигентных старух. Что-то в них старинное есть, вымирающее. В будущем, мне кажется, старики станут совсем другими. Вот меня взять. Ты представляешь, какой я буду старец? Желчный, въедливый. Внештатный инспектор, гроза продавцов и контролеров... И этот твой Модест Генрихович — тоже приятный. Таким бы мне хотелось...

— Берзер? Берзер — чудный старик. Но что тебе сказала Софья Эдуардовна?

С усилием приподнявшись, Борис Николаевич несколько мгновений смотрел на широко распахнутую форточку.

— Может, прикрыть ее маленько?.. Сделай одолжение. — Снова лег, подоткнул с боков плед. — А что она скажет? Сердчишко что-то ее насторожило. Да я и сам замечаю... Твой Берзер ничего не говорил?

— М-м... видишь ли, старик, греха таить не буду — прослеживается у тебя небольшое недомогание. Нервишки, перебои — всякая такая бяка. Но это не смертельно.

— Ну и слава богу! Вот так ты и Тамаре скажи, если спросит.

— А что ты свои лыжи забросил? В лесу сейчас, на хвое — разлюбезное дело. И я бы с вами. У меня сейчас, кажется, настоящее предынфарктное состояние.

— Насчет лыж Том командует. Все вопросы и предложения к ней. У нас сейчас железная диктатура. Видишь — лежу, не шевелюсь.

— Плюнь, шевелись. Это тебя Софья Эдуардовна закатала? Узнаю специалиста со стажем. — Он взял со столика несколько рецептов и небрежно просмотрел. — Тоже прописала? Выбрось. Ни к чему.

— Не вздумай этого сказать Тамаре.

— Что это ты такое толстенное штудируешь в своем уюте? — Зиновий, отложив рецепты, взял в руки Библию и чуть не выронил, — не рассчитал тяжести. — Ого! Чувствуется... Но что это? — Он раскрыл и удивился, завистливо покачал головой: — Достал все-таки?

— Занятная книженция, слушай! И — настраивает, знаешь. Я тут для себя целые Америки открываю, честное слово!

Перелистывая страницы, Зиновий щурился и говорил в своей привычной иронической манере:

— Припадок философствования? Так сказать, прекрасный миг озарения? Момент познания истины?

— Не греши, еретик, не кощунствуй. — Борис Николаевич жестом попросил книгу в руки. — Теперь я, кстати, точно узнал, что это ваши Христа распяли. Ваши!

— Да, да, великое открытие, старик! — согласился Зиновий, отдавая книгу. — Что сам Христос существовал — этого еще не доказано, но что распяли его евреи — в этом уверены все.

— Ты подожди, там есть роскошные места. — Борис Николаевич торопливо полистал книгу, отыскивая запомнившееся место. Нашел, заложил пальцем. — Вот, слушай. Разве не здорово? «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать...» А? Или вот еще. «Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселия». Дескать, веселись, веселись, человеке, поумнеешь — думать станешь. «В доме плача...» Это же об основном, Зяма, — что человек должен быть постоянно недовольным собой. «При печали лица сердце делается лучше». Вот — тоже написано. Недовольство — стимул совершенства. Понимаешь?

— Так что ты хочешь? — говорил Зиновий, расхаживая по комнате и трогая в задумчивости свой внушительный нос. — Тысячелетие... даже два тысячелетия живет и не может исчезнуть эта, с позволения сказать, идеология...

— Великолепный охмуреж! И ведь здорово придумано. Но мне сегодня вот что не дает покоя. Слушай, Зям, вот кромсаете вы где-то в своих анналах какого-нибудь усопшего, а он лежит, молчит, и ничто, ничто в нем не протестует. Хоть бы пикнуло, дернулось, возмутилось! А?.. Но ведь он жил, он же любил, бегал, хохотал. Куда все подевалось? Неужели в пыль, в воздух, в ничто? Было и вдруг не стало, — а?

Умудренно склонив голову, Зиновий неторопливо проти-

рал очки и подслеповато моргал беспомощными обезоруженными глазами.

— Нет, Зямчик, что ни говори, а все-таки смерть — великое таинство. Загадка Бытия. Я это с большой буквы называю.

— Да я понимаю, что не с малой, — отозвался Зиновий. Едва он вздел очки на место, на его худом носатом лице вновь установилась привычная ироническая усмешка.

— Куда, ну куда, в самом деле, девается человек? — увлеченно продолжал Борис Николаевич, усаживаясь в постели и поджимая укрытые пледом коленки. — Вот тот же Маяковский, тот же Хемингуэй. Или Есенин, скажем. Неужели ушли они — и нет их, растворились без остатка? Прах и в прах вернулись? Ведь не укладывается же в разум! А может быть, бредут они где-нибудь сейчас легким неслышным шагом и чуть-чуть пылят? А? Плынут так, знаешь, на каких-то далеких, далеких дорогах? Не может же человек уйти и раствориться, будто его и не было!.. Я почему-то все время вижу, как идет не торопясь усталый Хемингуэй, думает, чуть шаркает ногами и — пыль, пыль, пыльца из-под подошв. Еле так заметная... И так он будет брести и брести, не исчезая насовсем... А?..

— Утешение самоубийц! — с досадой заявил Зиновий. Он мимоходом взял и снова бросил на столик книгу.

— Ты думаешь — самоутешение? — спросил Борис Николаевич.

— Бесспорно! — отрезал Зиновий. — Тут, тут надо как следует устраиваться! Там, — он неопределенно показал куда-то вверх, — там ничего не будет. Ни-че-го!

— Э, Зямчик, кто заглядывал!

— Слушай, — возмутился Зиновий, — ты бросай эту поповщину! Противно же слушать!

— Противно... Но ведь смотри, что получается. Ты никогда не обращал внимания, что на шаг на этот... ну, чтобы, значит, сразу... без всего... на этот шаг, как правило, решаются умные и мужественные люди? Ты прочитай предсмертные письма Цвейга. Ты прочитай... А тот же Маяковский? Хемингуэй? Нет, Зям, эти люди любили жизнь. И уж чем-чем, а трусами не были. И вдруг — бац! Конеч. Все.

— Но почему ты, черт тебя дер, не допускаешь мысли, что эти люди способны на ошибки? Вот тебе и пример. И — объяснение их дурацким — я в этом убежден! — поступкам.

Борис Николаевич с сомнением покачал головой:

— Дурацким... Слишком просто. Слишком это просто, Зям! А может быть, это мудрость, прозрение? А? Знаешь, слишком мы все какие-то непосвященные. Все наши заботы о том, что вокруг нас, об обыденном, повседневном...

— Не хочу быть пророком,— сердито перебил его Зиновий,— но придет время, и все мы — и ты, и я, грешный,— все мы убедимся на собственном примере, что высшая мудрость во всем этом — самая простейшая: тебе положено жить, ты и живи! И все на свете, в том числе и медицина, только помогает этому, чем только может.

— А, опять ты о своем! И никак, никак ты не хочешь понять меня! Ну почему ты не можешь допустить такое? Смотри: а вдруг на всех на них снизошло эдакое гениальное озарение и они увидели, что там, впереди, еще большая и долгая дорога, может быть даже бесконечная, и они просто, так сказать, прикрыли за собою дверь, чтобы оставить то, что надоело, обрыдло, измучило? А? И сделали это легко-легко, без всяких там угрызений и мучений...

— ...и разнесли себе вдребезги башку, мозг, этот чудеснейший, неповторимый и необъяснимый аппарат, за который, кстати, их любил, ценил... обожествлял весь мир? — вскричал Зиновий и раздраженно — тычком в переносицу — поправил очки. — А, да что с тобой говорить, с идиотом!

— В общем-то... и это правильно, конечно,— не сразу согласился Борис Николаевич. — В том-то и сложность, милый Зям. В том-то и сложность.

— Чего, чего сложность? — с дружеским укором напустился на него Зиновий. — Что ты забрал себе в башку, чулак? Что за припадки мировой скорби?.. Ну? Философ?

— Видишь ли, в наше время смешно, конечно, предполагать, что кто-нибудь всерьез верит в существование бородатого мужика на небе. Будда, Христос, Магомет... Все это лабуда. Какая-то оголтелая религиозность. Но что-то слишком многого мы пока не в состоянии объяснить! Слишком многого!

Как чуткий, терпеливый доктор, Зиновий сдвинул простыни и плед и опустился на краешек дивана.

— Ну что, что, дурная голова, ты не в состоянии объяснить?

— Как — что? Мало ли...

— Да что, что конкретно?

— Конкретно? Ну хотя бы сны. Смотри — я никогда, ни разу в жизни не был на охоте, не убивал и воробья. А во сне я держал подстреленную птицу, еще теплую, и я до сих

пор чувствую, как у нее трепетало сердце. Ну... как это? Что?.. А взять предчувствия. Зеркало треснуло, сломался гребень. Да мало ли! Вот умирает человек, и в тот момент, когда душа его, как говорится, отлетает, где-то за тысячу и больше километров вдруг дрогнет сердце у матери, сестры, любимого человека. Какая сила, что дает такой намек, сигнал? А может быть, как раз душа-то улетевшая и прилетала попрощаться?.. Необъяснимо это все пока. Необъяснимо...

Зиновий слушал, иронически и чутьчку страдальчески покачивая головой.

— Мистику, мистику, старик, разводишь! Это от безделья.

— Ничего не мистику! Я не рассказывал тебе о маме? Так вот. Ты знаешь, она жила не с нами. Но в последние дни мы у нее дежурили. Измучились... ужас! Собственно, надеяться на чудо было глупо, но вдруг она поднимается, требует зеркало и гребень и говорит, чтобы мы шли к себе, дежурства сегодня не нужно, ей лучше. Я, как приехал, сразу же — хлоп! — и заснул. Но ночью в меня будто выстрелили! Вскочил, сердце хоть рукой держи. Вид, конечно, самый дикий. Тамара испугалась, а я рвусь бежать чуть не голяком. И знаешь, — опоздали. Прибежали... ключ у нас свой был — лежит. Все! И ты меня теперь хоть режь, но я знаю: это она звала меня, когда я спал. Говорю же: это было как толчок, как выстрел!

Зиновий потупился.

— Ну, старик... на эту тему можно спорить и спорить. Все дело в том, что в научных кругах в настоящее время...

— А, круги твои! Пойми — меня тогда это потрясло. Да вот и недавно с Тamarой. Я же говорил тебе: как она узнала, что мне плохо? От кого? Не от людей! Значит, по воздуху? Фантастика!

— Старик, я хочу сказать, что уровень наших нынешних накопленных или, верней, добытых опытом знаний...

— Постой, Зям, дай доскажу. Вот гляди: стоит приемник. С миром он ничем не связан, а между тем принимает волны с другого конца Земли. Так неужели ты думаешь, что человеческая душа примитивней этой дурацкой коробочки? Да в тысячу раз тоньше и умнее! Даже у летучей мыши обнаружили что-то вроде радара. А уж человек-то!.. Наша беда в том, что мы привыкли, как тот хохол, все взять в руки, пощупать. А если есть штукавина, которой не пощупаешь?

— Старик, так я тебе об этом и хочу сказать. В последнее время в журналах начинают проскакивать догадки о

еще неизвестном нам виде материи. Ты ведь к этому ведешь?

— Может быть. Но человеческая душа, я в этом уверен, Зям, настолько уникальный, настолько совершенный аппарат, что передать или принять какие-то сигналы — для него пустяк. Существует, представь себе, некая волна, на которой спокойноенько, как этот вот приемник, работают две близких, родственных души. И не криви свои выразительные губы, никакой тут мистики, никакой чертовщины нет!

— Какая уж чертовщина! Тут, старик, скорей... это самое... вопрос божественного.

— Да как хочешь называй. Не знаю, попадалась ли тебе на глаза небольшая заметка. В какой-то деревне — не то в Курской области, не то в Орловской, словом, в самой что ни на есть российской, — вдруг обнаружилось, что маленькая девочка во сне бормочет какие-то непонятные слова. Бред, и очень странный. Ну, по врачам ее, затем в Москву, в клинику. Короче, выяснилось, что девочка разговаривает на одном из древнейших наречий Индии, наречий, которого и в самой Индии сейчас не существует! Ну? Каково?

— Да, да, я помню, — подтвердил Зиновий. — У нас этот случай занесен в картотеку.

— Вот видишь! И вот лежу я сегодня, а мысли, мысли, черт! Ты знаешь, в последние дни мама мне несколько раз жаловалась, что ей стал сниться какой-то хам, типа надсмотрщика, который стегает ее кнутом.

— Фрейд! — усмехнулся многоопытный Зиновий. — Типичный Фрейд.

— Ишь ты... Фрейд! А почему ты не хочешь предположить совсем другое; представь, что она уже жила когда-то, давным-давно, во времена рабства, и — вот, воспоминания... А?

— М-да-а, Борька. С головой у тебя, брат, не все в порядке.

— Я тебе больше скажу, Зям: мне сейчас и самому кажется, что я уже когда-то жил. Был, существовал и многое, гораздо больше, чем сейчас, уже пережил, перечувствовал...

— Ну, старик! — успел вставить Зиновий, насмешливо раскинув руки.

— Смейся, смейся! Но недавно во сне я даже пережил собственную смерть. Ей-богу! Помню — проснулся в диком, дичайшем страхе... Что это такое, Зям? Ты в состоянии мне это объяснить? Ты, медик, почти кандидат, будущее светило науки?

— Ну, насчет светила давай не будем. А вот то, что тебе только в эти дни стукнуло в твою бедную голову,— так над этим, к твоему сведению, уже давным-давно,— бьются светлейшие умы. Но, как я тебе уже начал говорить, уровень наших нынешних знаний пока что, к сожалению...

— Вот, вот! — обрадованно подхватил Борис Николаевич. — И я тебе об этом же. Именно — уровень! Ты замечал когда-нибудь, как муха, бабочка колотится в стекло? Ей непонятно: мир, воздух, солнце — вот они, а вырваться не может. Что-то прозрачное, невидимое, а мешает. Так не является ли наше нынешнее невежество — я говорю об относительном невежестве! — об относительном, — не мефистофельствуи!.. Не является ли оно для нас тем же стеклом? Мы где-то рядом, на подходе к большим открытиям, которые нам объяснят почти что все.

— Ну, верно, — выжидающе согласился Зиновий. — Я тоже так считаю.

— Ты тоже так считаешь... — усмехнулся Борис Николаевич и, повозившись, улегся, потянул до подбородка плед. — Я сегодня вот о чем раздумывал. Смотри: давай посадим себе на палец муравья. Как думаешь: вот этот работающий и пытливый муравей, догадывается ли он, исследуя наш палец, о том, какое сложное и во многом необъяснимое создание человек в целом?

— Ты хочешь сказать...

— Да, да. Я это и хочу сказать! Что, что нам объяснит всю сложность мира, — не материального, нет! — тут уже много всего! — а мира неосознаемого, невидимого... какого-то... — ну, понимаешь? — у которого мы покамест, быть может, только на палеце?

— Разум! — твердо заявил Зиновий и отчетливо выразительно постучал по лбу. — Только разум. Развивающийся непрерывно, свободный от неизвестностей, все знающий и все постигший. Без тайн!

— А может... — помолчав, проговорил Борис Николаевич, и взгляд его, когда он уставился в глаза Зиновия, стал дымчатым, как бы шальным, — а может, это и есть... бог? А?

— Ну, старик... — от неожиданности Зиновий растерялся. — Значит, все дело будет только в терминологии. Хотя я лично, — тут он вновь обрел былую твердость и насмешливость, — я лично буду всячески не соглашаться с этим термином!

— Вот видишь, — рассеянно вздохнул Борис Николаевич, и взгляд его устремился в черное потемневшее окно, в косми-

ческий бездонный мрак за форточкой, где воспаленному воображению мерещились замысловатые системы далеких остывающих миров.— Когда-то примитивная догадка наших предков и — вдруг... Бедный бог! Настырный человечешко уже много объяснил: и гром, и молнию, и землетрясение... даже атомную энергию открыл. Что же богу-то, бедняге, остается?

Бр-рыны! — раздался вдруг в коридоре бесцеремонный гром звонка, потом еще, еще, — настойчиво и резко.

— Ну вот, — расстроился Борис Николаевич. — Только разговорились!

— Мама родная! Ключи же у меня! — ужаснулся Зиновий, бросаясь открывать.

— Хозяйка! — громко возгласил он из коридора.

Шаги, шуршание пакетов, осязаемое дуновение холодка, — человек вошел с улицы, с мороза.

— Все руки оттянула! — жаловалась на кухне Тамара. — Подержи-ка, Зям. На стол не ставь, я сейчас.

— Том, ты что так долго? — крикнул Борис Николаевич, с наслаждением забиваясь под теплый плед и чувствуя, как, должно быть, настывает на улице к ночи.

Не отзываясь, Тамара проворно совалась по кухне, выкладывая покупки. Шаль спущена на плечи, на ботиках снег. Зиновий с тяжелой, набитой припасами сумкой терпеливо ждал.

— А я в редакции завязла, — рассказывала Тамара, забирая у него наконец сумку. — Этот разочарованный любовник сегодня из всех буквально душу вынул. Вынь да положи ему Кравцова! Уже из обкома звонили.

— Жена! — снова позвал Борис Николаевич. — Ты где? Зямка, черт, оставь свои штучки, пусти ко мне жену. О чем вы там шепчетесь?

— Зям, — негромко спросила Тамара, прислушиваясь, не встает ли с постели муж, — я с собой заявление взяла, секретарь дал. Показать ему?

— Какое еще заявление?

— Ну... этого... Ромео. Он же из обкома теперь не вылезает. Оттуда в редакцию прислали.

— Конечно! Какой может быть разговор? Пускай работает. Это для него сейчас самое милое дело. А то он совсем тронется. Ты бы послушала, что у него в башке творится! Где он эту чертову Библию достал?

— Боюсь я, — пожаловалась Тамара. — Только расхлеба-

лись с тем фельетоном, теперь — снова. Видела я этого Ромео. Он же как танк — раздавит любого... Опять первотрепка?

— Ничего, это даже к лучшему. А то — видали его? — Христосик нашелся!..

— Вот негодяи! — притворно ворчал в комнате Борис Николаевич. — О болящем и скорбящем и не вспомнят... Зиновий! Я вызываю тебя на дуэль!

— Уходишь? — спросила Тамара, увидев, что гость направляется к вешалке. — Оставайся. Поужинаем вместе.

— Пора, — отказался Зиновий, влезая в пальто. — Какие у вас планы на завтра?

— Зямка! — позвал Борис Николаевич. — Ты что, уходишь? Том, не пускай его. Сними с него очки. Или портфель отбери, портфель!

— Пока, старик. До завтра. — Одетый, в шапке пирожком, Зиновий заглянул из коридора в комнату и помахал перчатками. В другой руке он держал объемистый, как чемодан, портфель.

— Сбегаешь? Завтра увидимся?

— Обязательно! Ну, пока. Будь здоров.

Заперев за ним дверь, Тамара постояла в темном пустом коридоре, прижавшись лбом к холодной обитой двери, затем, не замечая, что в комнате, привстав на диване, муж с нетерпеливой улыбкой ждет ее появления, медленно прошла на кухню. Загремела там кастрюлями.

— Жена! — звонко позвал Борис Николаевич. — Что за черт! Я сегодня дождусь жену или нет? Это что, бунт на корабле?

Дни в одиночестве кажутся ему теперь долгими, почти бесконечными, и он с удовольствием кричит во весь голос, на всю квартиру. Ему хочется разговаривать, шуметь, даже бегать, он перестает чувствовать свое напряженное сердце. Тамара, однако, не появляется, и он, удивленный, по-прежнему веселый, настроенный и кричать и двигаться, попытался разглядеть с дивана, что она там делает на кухне. Ему видна лишь мотающаяся по стенке тень Тамары, — она забралась на табуретку и тянется к горячей, яркой лампочке под самым потолком и внимательно, изучающе разглядывает на свет собственную ладонь.

— Что ты там делаешь? — удивился он и начал ногами шарить шлепанцы. Тамара поспешно прыгнула с табуретки и появилась на пороге. Он поднял навстречу веселое лицо, задорную улыбку человека, которому наскучило одино-

чество и неподвижность. Ей бросилась в глаза только сейчас замеченная худоба мужа. Особенно поразили ее уши — большие, как бы отросшие, и сильно оттопыренные. Но ему ничего, он улыбается, смеется и хочет подняться на ноги, заодно поддергивая неряшливо закатапные рукава несвежей рубашки. Тамара прикусила губу и, сильно зажмурившись, затрясла головой, как бы не желая видеть похудевшей растрепанной головы мужа, бледных, словно у болевого подростка, рук и — уши, ужасные эти уши!.. От жалости, которая у женщин сильнее и долговечнее любви, у нее сами собой брызнули слезы.

— Борька, милый! — вскрикнула она и, бросившись к нему, опрокинула его обратно на подушку. — Борька... Ты у меня самый хороший! Самый, самый...

Соскользнула и шлепнулась увесисто на пол старинная книга.

— Том!.. — забарахтался Борис Николаевич. — Помилуй, что с тобой? Ты меня утопишь!

Кое-как ему удалось приподняться, и он начал успокаивать жену.

— Слушай, сумасшедший ты человек! А ну-ка, ну-ка, давай сюда твою мордаху. О, сколько мокроты! Что случилось, Том? Тебя обидели? У тебя неприятности? Ты мне-то можешь рассказать?

Зажмурившись еще крепче, Тамара затрясла, затрясла головой, потом, понемногу успокаиваясь, обеими руками принялась утирать заплаканные щеки.

— Ну что вдруг за истерика?.. А, Том?

Она вздохнула, высвободилась и ушла.

— Пойду умоюсь.

«Вот номера-то!.. — удивился он, не зная, промолчать ему сегодня или все же настоять и добиться, что случилось. — Не стоит пока...»

— А мы тут с Зямкой, — громко заговорил он, едва в ванной стих шум воды, — мы тут с Зямкой. знаешь, о чем толковали? О бессмертии души.

С полотенцем через плечо, утираясь, Тамара показалась из ванной. Припухшие глаза ее смотрели виновато.

— Ты не обращай, пожалуйста, внимания. Я сейчас в редакции была, там тебе одну бумагу передали.

— В редакции? Так давай ее сюда. А что за бумага?

— Тип этот... был в обкоме. Заявление оставил.

— Кухаренко? Мой друг Ромео? Так это же великолепно! Том, ты сейчас получишь удовольствие — первый класс! Уве-

ряю, таких сочинений ты еще не читала. Давай, где оно у тебя?

— Великолепного, по-моему, мало. Там и о тебе.— Тамара ходила и принесла сложенную вчетверо бумагу.— Читай, я еще не разулась. А наследила!.. Ох, неряха я, неряха!

Лихо запустив пальцы в растерзанную шевелюру, Борис Николаевич быстро пробежал глазами пространное, обстоятельное заявление, тут же рассмеялся и со счастливым видом хлопнул себя по груди:

— Ну, что я говорил? Том, немедленно ко мне. Ты права — это жалоба. Просто блеск!

Он схватил жену за руку и усадил, заставил слушать, хотя она пришла в комнату с тряпкой вытереть пол.

— Я тебе кусочек, Том. Ну, пожалуйста! Вот отсюда. Смотри... Значит, так, внимание. «...В заключение позволю несколько сказать о второстепенном: это о моих субъективных качествах. Я исключительно ревнивый субъект, а это значит, и любвеобильный. Исключительно чистоплотный и страстный. Из простого крестьянина я окончил два высших учебных заведения, написал много разных работ по техническим вопросам, построил много пром-сооружений и даже целых городов типа Севастополь. Вспыльчив, но скоро отхожу. Во время вспышки, особенно когда мне прут ахинею, могу прибегнуть, в мужском обществе, к нецензурным словам. Очень люблю ласки и ласкать любимого человека. Обладаю, так сказать, даром домашней поэзии и частенько пишу...» Ну, не классика? Поправилось у тебя настроение? Это он о себе, обо мне там дальше. А вот в редакции у меня его стишата лежат,— вообще закачаешься!

— Слушай, Борька, неужели ты его в самом деле воспринимаешь только так вот, со смешочками?— возмутилась Тамара, вытирая пол и разгибаясь, убирая с лица упавшие волосы.— Этим заявлением возмущена вся редакция.

— Том, милый! Так ведь ископаемый же тип!

— Хорош ископаемый! Ты меня прости, но этот твой Ромео занимается самым элементарным принуждением к сожительству. Ну, она, конечно, дура набитая, но он-то! Видела я его сегодня собственными глазами и до сих пор не могу отделаться от впечатления. Мне он показался каким-то наглым захватчиком,— скажем, римским легионером, мясистым, с ручищами, ляжками, бычьим сердцем. Такой, как козленка, убивает старого ослабевшего раба и не знает никаких запретов в своих утехах... Или надсмотрщик с бичом на галерах... Ты не думаешь, что он может ее убить?

— Что ты! Такие убивают иначе.

— Но за что он на тебя-то взъелся?

— Э, Том. Мало ли...— Борис Николаевич поморщился.— Может быть, за то, что у меня нет такой здоровой глотки.

— Вот, вот! А мы все проповедуем, что мир наш с каждым нарождающимся человеком становится лучше.

— Ну, Том, будущее гарантировано нам на сто процентов, и не надо о нем так уж убиваться,— проговорил Борис Николаевич, с увлечением читая заявление.

— Кем, кем оно гарантировано?

Борис Николаевич оторвался от чтения и удивленно посмотрел на жену:

— Как это кем? Всеми. В конце концов оно гарантировано такими категориями, как честь, благородство, доброта. Совесть, наконец.

— Совесть! А ты думаешь, таких, как... этот твой... их совесть мучит?

— Кухаренко?.. Мучит, Том,— Борис Николаевич умудренно покивал.— Должна, по крайней мере. Просто обязана. И вообще, как я погляжу, человечество наше, несмотря ни на что, живет и довольно здорово развивается. Значит, в большинстве своем, в массе подавляет порицательность. А это главное.

— Вот Христосик-то действительно!— возмутилась Тамара.— Да этот твой Ромео любого проглотит и косточки выплюнет. И не поморщится!

— Ну, вы с Зямкой как сговорились!— расстроился Борис Николаевич и, отмахнувшись, стал дочитывать.

Потом ужинали, и Тамара, убирая посуду, долго гремела на кухне. Когда она управилась, Борис Николаевич опять лежал под пледом и задумчиво посасывал кончик карандаша. На коленях у него, на толстой книге, как на столике, лежало несколько чистых страниц бумаги. Запятый своими мыслями, он молча подвинулся и показал Тамаре место рядом с собой.

— Я тихо,— извиняющимся голосом проговорила она, укладываясь.— Так что-то сегодня устала!

— Лежи, лежи,— пробормотал Борис Николаевич.— Накройся как следует. Вот так. Ну, удобно тебе? Спи, я немного поработаю. У меня тут одна мыслишка прорезается, мне надо помолчать.

— Припадок гениальности!— тихонько рассмеялась Тамара и, прячась от света, укрылась с головой.

Решено было как-то сразу, и Борис Николаевич не успел опомниться, а Тамара уже созвонилась с Зиновием, мимоходом лихо сдернула с супруга одеяло и молодецки крикнула: «Але-

гоп!..», повытаскивала из далеких углов запрятанные, почти забытые за лето вещи, захлопала ящиками, дверцами, дверьми,— словом, подняла тот самый переполох, когда в обжитой утренней квартире не стало спасенья от суеты, беспорядка и мелькания. «Идея овладела массой!» — иронически называл Борис Николаевич такие вспышки неукротимой деятельности жены.

— Нет, я намерен бороться с диктатурой! — проворчал Борис Николаевич, не слишком охотно спуская с постели бледные ноги с худыми мосластыми коленями, однако постепенно беготня и сборы передалась и ему, и он, встряхивая, разворачивая, прикидывая на глазок выбрасываемые на середину комнаты вещи, стал покрикивать, что не видит толстых, вязанных крючком носков, которые он всегда надевал поверх тонких, тоже шерстяных, что у брюк оторвались внизу штрипки и что надо не забыть положить тюбики с мазью на самый верх, под руку, а не прятать на дно, — потом весь рюкзак перероешь, покуда найдешь.

— И гетры, гетры где?

Сборы были приятны. Голая нога хорошо легла в сухой, нагретый за горячей батареей носок, и Борис Николаевич с удовольствием повертел всей стопой, следя за тем, чтобы не осталось ни рубчика, ни морщинки. Трико, залежавшееся и пыльное, тонкая фуфайка, все теплое, плотно обтянули тело, и он почувствовал мускулы, крепость и силу, поиграл, подвигал плечами, ощущая повсюду прикосновение тугой податливой ткани. Брюки у него были старые, заслуженные, еще со студенческих времен, когда за зиму приходилось чуть ли не каждый месяц выступать на соревнованиях. Огорчало, что пропали, завалились куда-то гетры, — тогда нога, обтянутая поверх брюк до колена, выглядела бы совсем как у гонщика: поджарая, неутомимая — одни мускулы и сухожилия. Без гетр брюки чуть полоскались внизу и человек утрачивал спортивность, устремленность, а обретал какой-то дачный прогулочный вид сгоняющего жирок горожанина.

— Обойдешься без гетр, — заявила Тамара, понемногу утихомириваясь в сборах. — Будем кататься чинно и благородно, как солидные взрослые люди.

— Променад пенсионеров! — усмехнулся Борис Николаевич, не переставая собираться.

— Я не помню, — спросила Тамара, — Зямка хоть стоять на лыжах умеет?

— Вы с ним одного примерно класса, — ответил он, сильно затягивая шнурки на ботинках. Тупоносые, пахнувшие мазью

ботинки сели плотно, обняв всю ступню до щиколоток. Ноги были в порядке. Он взял с развороченной постели пестрый, давно не надеванный свитер, просунул голову и, убирая с глаз волосы, почувствовал, как теплый шерстяной ворот высоко охватил шею, заставляя задирать подбородок. Цокая пластинками ботинок, Борис Николаевич стал ходить по комнате, собирая последние вещи.

Тамара, тоже в свитере и туго натянутых брюках, хлопотала на кухне, готовя бутерброды. Волна волос то и дело сваливалась ей на глаза, и она отбрасывала их рукой с зажатым в кулаке ножом.

— Лыжи в кладовке!— крикнула она, выглядывая из-под свалившихся волос.

Лыжи были заставлены, загромождены какой-то рухлядью. Борис Николаевич вытащил их и несколько раз стукнул об пол, разглядывая. Они перестоялись за лето, были сухи и ободраны, но сберегались, как положено: на распорках. Он щелкнул по парусиновым мешочкам, которыми были затянуты загнутые концы лыж,— поднялся серый фонтанчик пыли.

— Брось!— крикнула Тамара, заметив его раздумчивое разглядывание.— Намажемся на месте. Посмотрим, какой снег.

Она шуршала газетой, заворачивая бутерброды.

В эту минуту над входной дверью загремел, залился звонок,— приехал Зиновий. В коридоре стало тесно. Борис Николаевич почувствовал, как из дверей по ногам стегнуло холодом. Зиновий был все в той же шапке пирожком, но в пиджаке, натянутом на свитер, в шарфе и стареньких неглаженных брюках от костюма, заправленных в белые носки. Поставив увязанные лыжи в угол, он, как был в перчатках, запустил под очки большие пальцы, протирая запотевшие стекла. Румяное лицо его морщилось от удовольствия.

— Погода — прелесть!— доложил он, укрепляя очки.— Великолепная идея. Кому это стукнуло в голову?

— Диктатору.— Борис Николаевич, одетый, натягивал на уши вязаную шапочку и кивком головы показал на кухню.

— А что?— серьезно сказал Зиновий.— Диктатура иногда — великолепная вещь.

В настывшем темном подъезде их шаги проклацали отчетливо и гулко. Дом еще спал. На крыльце их неожиданно встретило солнце и настоявшийся морозный воздух. Борис Николаевич на мгновение зажмурился, затряс головой: «Хорошо!»

Спускаясь по выщербленным ступенькам, он едва не упал: подкованные ботинки сильно разъезжались на снегу.

Они побежали к остановке, неся лыжи в одной руке и взмахивая другой, когда оскальзывались на твердых навощенных кочках.

Автобус брали штурмом. Над головами, сберегаемые от давки, плыли и исчезали в провале дверей увязанные и зачехленные лыжи,— много лыж. В этот ранний час обычные озабоченные пассажиры, наслаждаясь воскресеньем, еще спали, а за город направлялись крикливые стаи лыжников. Веселый штурм автобуса был для них началом хорошего, бодрого дня.

Несколько парней в автобусе, одни, без девушек, были одеты тщательно и скупой, ничего лишнего, и Борис Николаевич, разглядывая их сухощавые гончие фигуры, будто в себе самом ощутил их горячую, нетерпеливую кровь, их нарастающий азарт от близкого свидания с пустым заснеженным лесом, где раскатившемуся человеку нет никаких помех отбрасывать назад преодоленное пространство. Среди шумливых поющих горожан, набившихся в автобус, они выделялись молчаливостью, лишь иногда кто-нибудь из них обронит словечко и все они посмотрят в окна. Это были зимние бродяги, навсегда преданные одинокому безмолвию гонки.

Миновали окраину, большие новые дома, стоявшие на взгорке. За ними начинался лес. Где-то здесь, в одном из домов, жила Софья Эдуардовна, сюда же приглашал журналиста на снег и на воздух здоровенный бугай Кухаренко. Автобус катил быстро, Борис Николаевич успел лишь мельком разглядеть знакомые места. Отсюда он написал свою первую серьезную заметку, отсюда же и первый фельетон, потом написавшись другой фельетон, еще и еще, и новое увлечение стало как бы специальностью. К нему теперь и приходят в редакцию, как к специалисту на прием...

Скоро автобус, качнув всю массу плотно сбившихся людей, остановился, и в заскрипевшие двери вывалились первые приехавшие. С невысоких гор, усыпанных пестрой россыпью ярко одетых лыжников, доносился звон голосов и смеха. Через раскрытые узкие двери виднелось сверканье снега, мрачная строгая зелень сосен и пролетающие по склону разноцветные фигурки.

— А мы?— нетерпеливо спросила Тамара, оглядываясь на мужа. Она была возбуждена, красива, покраснелась и блестела глазами. Парни-бродяги, сидевшие молчаливо впереди, нет-нет да и отметят ее ленивым медлительным взглядом.

На вопрос жены Борис Николаевич презрительно скривил губы:

— С горочки на санках? Мы поедem дальше.

Молчаливые парни уже давно засекли его и отметили в нем своего — бывшего лыжника. Ему не хватало лишь гетр, и он чувствовал, что озноб касается его необтянутых ног.

Они вышли все вместе на далекой лесной остановке. Одинокая дорога тонула в ветронутым снегом. Здесь было пусто и тихо. Автобус, поплеывая вбок синим дымком, укатил и скрылся за поворотом.

Парни молча развязали лыжи, вколотили поги в крепления и, все такие же молчаливые, скрылись за кустарником. Раз или два донесся тонкий скрип снега под лыжной палкой.

За дорогой, по ту и другую сторону, возвышались в небо могучие державные колонны сосен, и, видимо от их величия, от их высоких мрачных кроен, здесь не было такого блеска, как возле города на горочках. Тени на крупном вымороженном снегу лежали тихие, едва заметные. Вверху постоянно угадывались шевеление и шум, и снег между рыжими колоннами сосен был усыпан редким мусором иголок.

Сонно, одна за другой, опускались сверху медленные, мало-кровные снежинки.

Зиновий, задрав голову и придерживая рукой шапку, наблюдал за беспечной сорокой, уронившей с тяжелой ветки сухую кисею просыпавшегося снега.

— Прелесть!— сказал он, очарованно осматриваясь.— Просто здорово!

— Мажемся, мажемся!— кричала Тамара.— Боря, посмотри в рюкзаке тубики. Я положила их в карман.

Голос ее звенел, но глух тут же, в великом снегу и соснах, непоколебимо подпиравших небо.

Узкая, с продольным желобком поверхность лыж была сильно изранена царапинами, поисточилась и иссохла. Уперев один конец в землю, а другой положив себе на плечо, Борис Николаевич резкими сильными ударами тубика по дереву стал наносить частые мазки. Тубик кропился, затачиваясь с одного бока и теряя в мазках на дереве свой глубокий бутылочный цвет.

Растирать мазь он принялся сначала пробковой распоркой, а затем ладонью, держа лыжу на весу за дужку крепления. Широкие ритмичные взмахи руки по всей длине лыжи разогрели дерево, комочки мази растопились, сильно запахло хвоей. Скоро горячий, пылающий ладони стали нечувствительны царапины, дерево закрипело под рукой, покрываясь крепким маслянистым глянцем.

— Прекрасная затея!— снова сказал Зиновий, весь распа-

ренный, красный, неумело повторяя все, что делал Борис Николаевич.

Тамара отобрала у него лыжу.

— Клади пока мазь, а я разотру.

Волосы поминутно мешали ей, и она отбрасывала их сгибом испачканной руки.

— Ну, все?— спросил наконец Борис Николаевич, оглядывая попутчиков.— Тогда по коням!

Вдев носок ботинка в крепление, он нашарил шипы и туго затянул дужку, пригибая ее вниз. Лыжа закрепилась плотно, став как бы продолжением ноги. Он вдел руки в ременные петли и, оперевшись на палки, несколько раз сильно, назад и вперед, подвигал ногами. Скольжение было хорошее.

— Ну-с...

Тамара уже откатилась от дороги и теперь, высоко поднимая из снега лыжи, выбиралась на пригорок.

— А снег, а снег пахнет, чувствуете?— кричала она, обращаясь.

— Ну-с, я вперед, а вы за мной,— сказал Борис Николаевич и мощно оттолкнулся палками.— Я предлагаю небольшой кружок по окрестностям. Или сразу курс на город? Все-таки забрались далековато.

— Командуй сам!— кричала Тамара, беспорядочно взмахивая палками и уминая снег.— Устанем, выйдем к автобусу.

— Мадам!— позвал сзади раскрасневшийся Зиновий, с упоением одолевая глубокий снег.— Мадам, предлагаю забег сильнейших. На Кравцова равняться нечего. Он нам не пара.

— Боря, ты далеко не убегай,— попросила Тамара.— Оглядывайся.

Судя по состоянию снега, недели две назад была оттепель, и Борис Николаевич вспомнил, что в самом деле не так давно стояли сырые ненастные дни. Неглубоко под свежим снегом образовалась плотная корка наста, и, если идти быстро, она легко выдерживала человека.

Сначала Борис Николаевич никак не мог освоиться с вольным размашистым шагом, но постепенно припомнилась забытая сноровка, и шаг стал длинным, накатистым, с широкой и ритмичной работой рук. Унялось и сердце, будто тело со всеми мышцами подхватило его учащенный темп, и дышать и двигаться стало легко и вольно.

С сухим шелестом раздавался под ногами сыпучий вымороженный снег, и Борис Николаевич, наклонив голову, видел мельканье острых кончиков лыж, попеременно обгоняю-

щих одна другую. Они высывались из-под снега, как перископы. Идти становилось все легче, и он с удвоением ощущал, как заглодело от быстрого бега тело, как пружинят, напрыгаясь, ноги и крепнут, наливаются плечи от резких толчков палками. Колочий морозный воздух покалывал гортань, но чем размашистей становились шаги, тем чаще и гуще вырывалось из груди горячее дыхание, и по тому, как загорелись и упругими сделали щеки, он чувствовал, что этот ясный, настоящий на хвое воздух вентилирует все его тело, выдувая изнеженную квартирную немощь.

Ему попались свежие следы, две ровных узеньких полоски, скупно прорезавшие снежный покров между соснами. Борис Николаевич вспомнил о парнях в автобусе. Несколько минут он шел по следу, раскатываясь еще сильнее, но потом свернул вбок и пошел своим путем, наблюдая все время, как загнутые кончики лыж режут никем не тронутый пласт снега. Следы попались ему снова, и он еще раз прокатился по чужой лыжне, но потом свернул и уж больше не соблазнился, прокладывая свой собственный след.

— Бо-ря-а!..— протяжно донесся до него далекий, глухнущий в могучем безмолвии леса крик. Он остановился, сильно и шумно отдуваясь. Сохли губы, сердце колотилось под фуфайкой — хоть удерживай рукой. Задирая ногу, он перекинул лыжи, став на свой же след лицом назад, и, ослабив колени, грудью навалился на палки, стал ждать.

Две фигуры, двигаясь близко одна за другой, маячили далеко между деревьями. Борис Николаевич, отдыхая, с улыбкой наблюдал, как они, глубоко проваливаясь на каждом шагу, неумело переставляли ноги.

Озябли плечи, и Борис Николаевич, разогреваясь, несколько раз взмахнул руками.

— Ну, тянетесь вы, ну тянетесь!— встретил он их.— Да ноги-то сгибайтесь. Что вы как деревянные?

Зиновий, трудно дыша всей грудью, остановился и растопырил руки, упираясь в палки. От него валил пар, он боролся с одышкой.

— Старик... не козунствуй. Помни... часовой стрелке... не угнаться за минутной. Зато она и показывает-то... часы!

Борис Николаевич рассмеялся.

— Сомнительное утешение на гонках!

Тамара, тоже задыхаясь, блеснула счастливыми глазами.

— Ну... тебе нравится? Ты далеко ушел.

Теперь, в лесу, он не казался ей больным, он выглядел и здоровей и мужественней смешного, неуклюжего Зиновия.

Борис Николаевич снова навалился на палки.

— Знаете, братцы, давненько уж не чувствовал я себя так здорово! Просто великолепно! Все-таки в нашем любимом и треклятом городе, в прокуренном своем офисе человек медленно, но верно закисает. Оттуда все и немощи. А здесь чувствуете, как всего тебя продувает? Насквозь!— С восхищением задрав голову, он половил языком редко падавшие снежинки.— Все эти дни, признаться если, я, братцы, ощущаю какой-то припадок, что ли, озарения. Такое, знаете ли, свалилось, как на столетнего. Мудрость, так сказать, возраста. Сам не пойму откуда... И вот бегу я сейчас, а в голове все шевелится, шевелится. Смотрите,— мы часто говорим: свобода, свобода, абсолютная свобода! И как эталон этого, лучшее доказательство люди всегда считали выбор пути — идти куда захочешь. Хоть на все четыре стороны! Но ведь что получается-то? Ведь, выбирая какую он хочет дорогу, человек совершенно не свободен. Совершенно! Это один обман. Выбрав дорогу, он уже тем самым подчиняет себя... или, иначе скажем, в зависимость ставит от воли строителя, проложившего эту самую дорогу. А тот, в свою очередь, наверняка был не свободен и зависел от заказчика, от материала и средств, от характера местности, наконец! И так во всем. Вот уж на что, кажись, медицина, а тоже. Вот тобой, Зям, что распоряжается? Болезни. Само существование человека. И ты от этого никогда не свободен. Какая-то всеобщая обязательность! Все равно что вечное вращение Земли. Человек живет, и одним этим он уже обязан и обязан. Сплошь и до конца дней. А всякие там права — это лишь жалкая компенсация за наши вечные и никогда не проходящие... Но чего вы ржете, черти?

— Старик,— рассмеялся, не в силах больше сдерживаться, Зиновий,— мне хочется достать блокнот и записывать твои мудрые мысли.

— Афоризмы!— подхватила Тамара.— Я, например, представляю себе даже обложку книги: «Б. Кравцов. Мысли. Афоризмы. Диалоги». Платон перевернется от зависти.

— А ну вас!— смешался Борис Николаевич и, толкнувшись палками, легко ушел вперед.

— Гении самолюбивы!— крикнула Тамара вдогонку.

Зиновий напутствовал:

— Ты не очень-то махай! Слышишь? Не на гонках.

— Догоняйте! — не оборачиваясь, крикнул Борис Николаевич, вновь входя в ритм быстрого бега.

Озноб в лопатках, когда он застоялся, постепенно проходил, шаг вроде бы снова стал размашистым и легким, но что-

то, как он чувствовал, мешало теперь ходьбе, и Борис Николаевич, понаблюдав, заметил, что пропал прежний накат, и, как он ни старался, лыжи зарывались и не справлялись со снегом,— будто снег вдруг посыпали песком. Он стал слышать громкие шлепки задников и крепче налег на палки, хотя знал и помнил, что опытный лыжник никогда не станет насиловать рук в начале дистанции,— сила рук обычно сберегается к концу, когда устанут ноги. Те парни, зимние бродяги, сейчас наверняка поиздевались бы над ним... Наклонив корпус, он подчеркнуто четко стал отмерять крупные скользящие шаги, следя за накатом и отталкиваясь, когда нужно, палками. Снова зашелестел, расступаясь под лыжами, снег, и упругое сопротивление воздуха свидетельствовало, что ход наконец-то приличный, как вдруг при замахе ногой правая лыжа заскочила за пятку левой, и он не успел даже упереться палками,— упал грудью в снег. Подломился наст, и руки провалились глубоко в пушистую и холодную бездонную мякоть. Он неловко выбрался и поднялся, вытряхивая из перчаток зернистый крупный снег. Такой позорной запинки с ним никогда раньше не бывало,— разве что мальчишкой, когда только становился на лыжи.

Попутчики были где-то позади и позора его не видели. Он поспешил уйти подальше.

Пробуя раскатиться, набрать прежний широкий, размашистый ход, он снова упал, но на этот раз легко, на одно колено, успев выбросить перед собой палку. Отряхиваясь, он обнаружил, что противно дрожат непонятно почему ослабевшие вдруг колени, а на шее и запястьях, там, где плотно прилегал свитер, неприятно мокро и холодит: от растаявшего снега или от испарины. Но лицу было жарко, сильно стучало в висках. «Второе дыхание?»— подумал он, унимая вздымавшуюся грудь. Когда-то, на студенческих гонках, на третьем этапе эстафеты, он так же вот осекся посреди дистанции и, задыхаясь, не в силах справиться с дрожащими ногами, завистливо и раздраженно смотрел, как пролетают мимо соперники, оглашая притихший безлюдный лес требовательными криками: «Лыжня!» Он сходил и пропускал их вперед, но тащился тоже, ступая из последних сил, и вдруг как-то само собой унялось и затихло сердце, окрепли колени, и он задыхался, задвигался, покатился, набирая ход, и уже летел, махая метры и метры, и доставал убежавших далеко вперед, наступал им на задники, требуя яростно и громко: «Лыжню!»

Слабость, как ни напрягался он, не проходила, и он уже три или четыре раза валился прямо в снег, все медленней вы-

приставаясь и вставая, и уже не вытряхивал перчаток. Лыжи теперь не представлялись надежным продолжением ног, хотя ботинки и крепления по-прежнему плотно зажимали обессилевшие ступни. Он узнал тяжесть лыж, пзнуряющую тяжесть этих изящных полосок сборного легкого дерева. Вот они наехали одна на другую, крест-накрест, и он, покорно выставляя руки, снова повалился в снег.

Он пошевелился, поднял голову, но прикосновение снега к лицу было приятно, и он снова лег. Руки провалились глубоко-глубоко, не доставая до земли. Усиленно моргая, чтобы убрать снег с ресниц, он долго смотрел на неожиданно изменившийся мир, на все, что было вокруг и стало вдруг иным. Он смотрел глазами поверженного, обессилевшего человека и пораился множеству деталей, которых раньше, пробегая во весь дух и торопясь, не замечал, не имел времени разглядеть. Близко возле глаз разбросан был изысканный мусор опавшей хвои, кристаллы вымороженного снега вблизи казались крупными, как удивленный глаз большого насекомого, он увидел обесцвеченный морозом кусок озябшей земли у комля сосны и редкой красоты узор инея на стылом подбое оранжевой коченеющей коры.

Наверху, он теперь это слышал, не переставали качаться скудные кроны сосен, и шум, глухой, почти отпевающий, стоял в засыпанном снегом лесу, нисколько, впрочем, не нарушая храмовой, величественной тишины.

Снизу, грудь на снегу, он впервые заметил выпуклость земли, разглядел убывающий скат ее куда-то далеко, за большое пустынное поле, и там, за протяженным этим полем, снова темнела дружная стена леса, вертикального, большого и строгого, как соборный орган.

Лежа, поверженный и лишенный сил, он будто заново засмотрелся на небо, отодвинувшееся сейчас от него дальше привычного всего лишь на высоту человеческого роста. Голова поднималась, а он ронял ее и думал горячо и очень увлеченно, что каждый человек, разобраться если,— даже без мистики! — как сердится Зиновий...— каждый человек, пусть даже одинок и обречен, всегда есть часть большого вечного материка. «Нет, весь я не умру...» Значит, чувствовал и он то же, когда родил эти свои библейские пророческие слова...

Снег пахнул свежим подмороженным бельем, когда его внесут с балкона, и был сыпуч и шелестел под лыжами. Ему казалось, что наперекор всему, одолевая слабость, он разогнулся и скоро по завихренью воздуха возле горевших щек почувствовал, что скорость нарастает, как будто бы катился

с кручи. «Уклон?» — подумал он, тревожно глянув в сторону. И точно, был уклон, крутой, покатый бок Земли. Шуршание рассекаемого снега переходило в тонкий свист, и лыжи заиграли, завибрировали, как легкие полоски на ветру. Нет, это слишком, подумал он, пугаясь быстроты, однако затормозить, убавить скорость был уже не в состоянии. Подхваченное плотным встречным ветром, тело зависло в воздухе, заглодело, земля летела мимо и навстречу. Мелькание в глазах, катились слезы, и он боялся: а ну какое-нибудь дерево или засыпанная снегом яма? Тогда конец, каюк, спасенья не будет. Из суеверия он тут же оборвал себя: не надо думать, даже мысли допускать!.. Однако было поздно — уже подумалось, и вот, как на заказ, возникла впереди зловещая стена кустов, возникла разом, моментально, и он успел только закрыть лицо и голову руками и испустил какой-то тонкий обреченный вскрик.

Падение было ужасно: треск сучьев, кувыркание тела, тяжелый, многотонный шелест обвалившегося снега. Его куда-то потащило, увлекло, но он успел схватиться за кустарник — схватился цепко, по-звериному и остановил свое падение. Оказывается, едва не улетел в обрыв, куда все еще сыпался холодный, равнодушный снег.

Как будто спасся, уцелел. Однако ноги с лыжами, все тело повисло над какой-то бездной. Там был провал, мрак, гибель безымянная, и он боялся посмотреть туда, чтобы не закричать, не испугаться окончательно.

Лозинки, за которые он уцепился, казались наводненными и медленно высвобождались, выскальзывали из перчаток. Руками без перчаток он смог бы ухватиться крепче!

Если бы хоть лыжи отстегнуть!..

Боясь пошевелиться, даже пискнуть, он ждал и представлял себе, как где-то далеко, по ровной и заснеженной земле, не торопясь и не сгибая ног, бредут Зиновий и Тамара. Когда-то доберутся, когда-то догадаются прибавить шагу!

— Господи, если ты только есть! За что, за что? Ведь глупый случай. Обрадовался, раскатился как дурак... Ну что же ты...

Вверху послышалось неторопливое скрипенье лыж. О боже, наконец-то!

Из-за кустарника, поверх, возникла голова, затем плечистая фигура в теплом свитере. Могучее ядреное лицо легионера на покое. Заглядывая вниз и упираясь палками, чтобы не сорваться, легионер увидел гибнущего человека и этому не удивился.

— Егор Петрович! — с надеждой заорал висевший над обрывом, но вышло шепотом, совсем неслышно, и все же оттого, что он позвал и шевельнулся, его напрягшее тело едва не сорвалось с конца согнувшейся лозинки. Руками крепче... все спасение в руках! Умолкнув, затаив дыхание, он звал, молил глазами снизу: скорее... палку, руку... что-нибудь!

Легионера мучила отрыжка. Он сморщился, коснулся горла и желчно сплюнул в снег. Затем, покачивая головой, позвучал плевок, толкнулся палками и покатился дальше. «Да ты... Да ты...» — так и застыл с раскрытым ртом висевший над обрывом.

Собрав всю ненависть, весь запоздалый гнев, он крикнул вверх:

— Подлец! Тебя же совесть замучит!

И только крикнул, как полетел, сорвался и стал парить, кружиться, словно палый лист, в каком-то мраке, со страхом ждать удара в землю. Но нег, удара не последовало, а вместо этого его втянуло в какую-то длинную и узкую трубу и сильным сквозным ветром потянуло, понесло, все убыстряя, вдаль и вдаль, к светившемуся в самом конце трубы пятну. Тонкий режущий свист так и стоял в ушах. Наконец им выстрелило, как из пушки, в глаза ударил дивный свет и он сразу почувствовал себя легко, свободно, радостно, — ни тяжести, ни даже намека на недавнюю усталость. А как дышалось! Вот сейчас только и бежать... даже лететь, лететь... И он действительно летел, парил, был счастлив, как никогда, радуясь тому, что все тяжелое, гнетущее осталось где-то там, внизу, а здесь он легко и беспечней птицы, бесплотный словно дух. Но самое счастливое ждало его дальше — он увидел родное, чуточку уже забытое лицо матери. Да, это была она... мать, мама, она смотрела на него издали с таким участием, как это бывало в детстве, когда он сильно ушибался и плакал. Ласковый взгляд матери звал его к себе и обещал, что боль скоро пройдет, все снова станет хорошо. «Вот так бы жить и жить!» — подумалось ему, согретому и ободренному столь неожиданным подарком судьбы.

Но почему же и куда исчезло родное, доброе лицо? Помашило и исчезло... Внизу, среди кустов, в глубоком подмороженном снегу, он вдруг увидел самого себя. Качались сосны, серый день, унылое безлюдье, пустота, тоска.. Как холодно и одиноко! Он стал спускаться... ниже, ниже... и вот уже снова ощутил изнурительную тяжесть немощного тела, исчезло упительное ощущение свободы, легкости, с которыми он пере-

жил несколько таких светлых, таких незабываемых мгновений.

...Очнувшись, Борис Николаевич открыл глаза, как после тягостного сна. Лицом в снегу, он заоченел настолько, что уже не чувствовал, как холодит и колется набившийся повсюду снег. В нем еще было живо странное ощущение пережитого освобождения от собственного тела, как от какой-то оболочки. «Бред... бред собачий! К черту!» Он завозился, намереваясь встать.

Пытаясь высвободиться из трясины снега, никак не находил, во что бы упереться. Бесконечные проваливания, беспомощность ожесточали, но сил уже не оставалось. Тогда он лег и стал тянуться к лыжам, — напарил, отстегнул крепления. Без лыж почувствовалось сразу же большое облегчение...

Снегу оказалось много, почти по пояс, и он побрел, подняв руки, будто переходил вброд речку.

За лощинкой, куда он спускался, намечался небольшой подъем, а там, в отдалении, только что промелькнул автобус из города, одинокий и очень нарядный в этих белых унылых окрестностях.

Хруст и вздохи снега под неумелыми тяжелыми шагами перемежались громкими прогулочными голосами.

— Зяма, куда мы так торопимся? Кравцова нам все равно не догнать. Подожди, я тебя отряхну. Я тебе снежком по шапке попала.

— Пустяки... — Зиновия одолевала одышка, но он упорно, с упоением топтал глубокий снег, сильно помогая палками. Позади оставался рыхлый безобразный след.

Внезапно он остановился.

— А вот... и след становий древних... — проговорил он, задышав и сдвигая теплую шапку с мокрого, воспаленного лба. — Но позвольте, а где же наш философ?

Он в недоумении разглядывал брошенные в снегу лыжи и палки. Осмотрелся вокруг. Глубокая борозда вела вниз, в лощину, и пропадала в жидком голом кустарнике. Заросли внизу просматривались насквозь, и никого там не было. Зиновий настороженно поджал губы. Ни слова не говоря радостно задышающейся Тамаре, идущей сзади по проложенному следу, он очень долго, подозрительно смотрел вниз, в лощину, куда вводила борозда.

— А там? — вдруг задал он вопрос, указывая на лощину рукой с повисшей на ремешке палкой. — Ты не видишь? Там не след?

На подъеме, сразу после зарослей, Тамара без труда разглядела такую же неровную изрытую борозду в снегу.

— След... Но что это значит? — Она огляделась. — Все бросил, расшвырял.

Зиновий решительно взялся за палки.

— Домой! И — быстро! Быстро! Поскорее.

Он толкнулся и заскользил, поехал вниз, неуклюже растопырив руки. Лыжи внесли его в кустарник, он въехал и упал, зарылся в снег. Тамара, подъехав, свалилась рядом. Торчавший кустарник царапался и лез в лицо. Поднявшись на колени, она отплевывалась от снега и обламывала вокруг себя ветки. Зиновий, барахтаясь, подбирал из снега очки.

Одинокий рыхлый след пересекал заросли и уходил вверх, к дороге в город. Тамара тревожно оглянулась назад, на брошенные лыжи и палки. Зиновий даже не заикнулся, чтобы забрать их с собой. Едва удалось ему подняться и взять в руки палки, он немедленно полез вперед, продираясь и ломая лыжами кустарник. Взираясь наверх, он с неожиданным проворством закрестил «елочкой» выпучий мягкий склон.

След оборвался, и Зиновий ступил на твердое. Он нагнулся, стал снимать лыжи. Выбралась и обессиленно присела на бугорок Тамара.

Увязав кое-как лыжи, Зиновий отогнул рукав и посмотрел на часы. Дорога была тиха и пустынна.

— Наверное, только что проехал, — проговорил он. — Ждать минут двадцать, может, полчаса. Скорость, комфорт, черт подери! Ходят в час по чайной ложке.

Мягко ухнул, свалившись с сосны, пушистый ком снега, в воздухе еще долго висела серебристая морозная пыль. Нетерпеливо кривя губы, Зиновий прислонился спиной к столбу у дороги и закрыл глаза, подставил лицо редко падавшим снежинкам.

— Хоть бы сказал нам что-нибудь, предупредил, правда? — негромко и как бы виновато проговорила Тамара, поглядывая на спутника.

Не меняя позы, Зиновий стоял прямой и безучастный, как одинокий столб на остановке, к которому он прислонился. Вечером вчера он, не оставшись ужинать, поехал к Софье Эдуардовне. Те опасения, что высказал после осмотра Берзер... Нашла ли что-нибудь тревожное и Софья Эдуардовна?

— А, много я найду! — с пренебрежением к себе, к своему возрасту и медицинскому значению ответила старуха. — Я советовалась с Берзером.

— Ах, вот как! — насторожился Зиновий. — Ну и? Что он

сказал вам?.. Тамара, надеюсь, ничего не знает?— добавил он скороговоркой.

Старуха расстроенно махнула рукой:

— Он еще спрашивает... А что он мог сказать мне? Что? Все то же, что и вам. Надежды самые поганые... Ну что неделя, что неделя? Как будто за неделю... Это же страх и бог... Это же страх и бог какое несчастье! В такие минуты стыдно за себя, за свое здоровье. Даже мне, старухе... А он? Что он, Зяма?

Зиновий сидел перед ней убито, не раздеваясь, стянув лишь шапку. Свой огромный портфель он держал на коленях.

— Вот видите!— заволновалась она и стала шарить по столу, отыскивая пенсне.— Бедный мальчик. Я читала его газету. Не ему надо было такое несчастье, не ему!— Она вскинула очки и свирепо глянула на притихшего Зиновия.— Все эти проклятые болезни, все их собрать в одно место, в один, как теперь называют, акваторий и — бомбами, бомбами! Ракетами! Бабий Яр!

— Я не уверен, что найдет через неделю Берзер. Наследственность? Вы знали его маму?.. Это будет страшно.— Страдальчески моргая, Зиновий помолчал.— Я боюсь, что он узнает сам. Догадается и... тогда...

— А, не говорите чепухи, Зяма!— рассердилась Софья Эдуардовна, и пенсне, блеснув стеклышками, свалилось.— Он же умный человек и не станет делать никаких глупостей!

— Он может сделать глупость!— твердо возразил Зиновий и, подождав, пока она водрузила пенсне, значительно посмотрел ей в глаза.— Такой, как он, может.

— Ну... если все умные люди станут делать глупости, кому же останется делать умные?

Зиновий вздохнул:

— Завтра стану договариваться с Берзером.

Он поднялся и отодвинул стул.

— Ну вот, он опять за свою шапку, за свой портфель! — закричала на него Софья Эдуардовна.— Что вы все бегаєте, как таракан? А, вам всегда некогда посидеть со старухой. Вам подавай... Я знаю, что вам подавай! Вы думаете, мне легко все это? Посидите, прошу вас, как человека. Сядьте!

...Приоткрыв глаз, Зиновий незаметно понаблюдал за Тамарой. «Старуха молодец. Но ведь когда-то все равно придется говорить начистоту!»

— Слушай-ка,— с неожиданной вкрадчивостью позвал он,— Борис ничего не толковал тебе об исчезновении там... материи и прочего? О вечной жизни? О душе?

Тамара удивилась:

— Н-не помню что-то... А что? Что ты хотел сказать?

Ему стало неловко от упорного, доискивающегося взгляда Тамары, и он, раскисаясь, сморщился, помячил пальцами.

— Да нет, это так. Это не к делу...— И снова закрыл глаза.

Тамара неуверенно посматривала на замкнутое, отрешенное лицо Зиновия. Поведение его казалось подозрительным.

— Но я же говорила с Софьей Эдуардовной... Зям, а твое светило? Ты же обещал устроить. Ну что тебе стоит?

— Хорошо, хорошо,— поспешил ответить Зиновий.— Я завтра же поговорю.

— Зям, ты что-то от меня скрываешь,— с жалкой, вымученной улыбкой просителя заговорила Тамара.— Слышишь?

— Вот глупости-то еще!— рассердился не на шутку Зиновий (вернее, сделал вид, что рассердился).— Семейка шизофреников. То тот, то эта. Сплошные подозрения!.. Автобус!— вдруг объявил он и хлопотливо засобирался.

Заскрипел снег, застонал тяжелый изношенный кузов. Пихая впереди себя лыжи, они влезли в пустой, настывший автобус. От белых, занесенных снегом окон несло холодом.

Зиновий прошел вперед и постучал в окошечко шофера,— изо рта показался клубочек пара.

— Скажите, до города долго будем ехать?

Шофер что-то ответил, Тамара не расслышала. Зиновий опустился с ней рядом и затаил, уткнувшись носом в шарф. Неряшливо пробритые щеки его будто постарели. Пока они ехали, Тамара тоже попробовала замереть и сжаться, чтобы незаметно скоротать ожидание, но пустой гремучий автобус мотало из стороны в сторону, и она, неохотно открывая глаза, всякий раз видела одно и то же: нахохлившегося Зиновия, стальные продавленные сиденья и спину шофера в окошечке. Судя по тому, что шофер сидел в одном пиджаке и мирно по-пыхивал папироской, в кабине у него было куда как тепло.

Перед самым городом, у больших новых домов, автобус остановился. Шофер напялил ватник и, не открыв пассажирам разболтанных, всю дорогу дребезжащих дверей, ушел.

Глубоко засунув руки в карманы пиджака и задрав воротник, Зиновий терпеливо посапывал в шарф. На мохнатом от снега окошке Тамара продышала крохотное пятнышко, потерла его теплым пальцем, и яркий внезапный луч осветил и согрел промозглое помещение автобуса. Снаружи разгулялось солнце, искрились и голубели окрестности.

— Зям, дай-ка руку.

Он без всякой охоты зашевелился, выпростал из кармана руку и подал.

— Перчатку сними.

Она взяла его ладонь и подставила под луч света.

— Смотри, Зям!— оживилась она.— У тебя тоже просвечивает. Ты посмотри, посмотри!

Он хмуро оборотился к ней и ничего не мог понять. Затем стал рассматривать свою худую озябшую руку. Почему вдруг такая радость?

Тамара сама натянула ему на руку перчатку и отодвинулась.

— Не обращай внимания.

Он снова затих и еще глубже зарылся в шарф и воротник.

В окошко, в протаявшее отверстие, Тамара стала рассматривать сверкающий снег и яркое солнце. Она увидела шофера в подшитых валенках и куцей испачканной телогрейке. Попыхивая дымком от папиросы, шофер с пустым измятым ведерком в руке неторопливо поднимался к новым домам, стоявшим вперемежку с редкими соснами на пригорке. Какая-то девчонка, в беретике, с косичками, брякнулась животом на санки и, задрав ноги, шибко покатила вниз. Проваляваясь валенками в снег, шофер остановился возле колонки и засмотрелся на огромного бритоголового мужчину, голого, в одних широких пижамных брюках. Туго подпоясанный полотенцем, здоровяк проворно наклонился, черпал пригоршнями сухой колючий снег и бросал себе на голую мохнатую грудь, на крепкий живот и на плечи, еще сохранившие шершавый легкий загар. Мощно двигаясь всем телом, он растирал бока, грудь и живот, выгибал спину, стараясь достать до крутых мясистых лопаток. Судя по клубам пара, беспрестанно вылетающим изо рта, мужчина с наслаждением гоготал.

Шофер, с восхищением любуясь здоровяком, не вынимал из зубов папиросы и пускал синеватые густые порции дыма. Пар валил теперь не только изо рта гогочущего мужчины, но и от всего его огромного, полнокровного тела, от крепкой бритой головы.

— Вот ничего же не делается таким!— проговорила Тамара и стукнула по коленке. Неохотно зашевелился Зиновий, подался к окошку, взглянул и скривился:

— А!..— Нахохлился опять.

О купающемся в снегу человеке Тамара перестала думать лишь на площадке перед квартирой. Она не могла справиться с волнением и не попадала ключом в тонкую извилистую скважину.

Когда отперлась дверь, Тамара не позволила Зиновию раньше себя проскочить в квартиру.

— Он дома!— крикнула она, пробежав по коридору и быстро взглядывая на обе стороны: в комнату и в кухню.

Мужа она увидела на кухне. Борис Николаевич сидел на табуретке и, навалившись на подоконник, устремил потухший взгляд в окно. Лыжная шапочка валялась на газовой плите, с ботинок натекло на пол. Он медленно обернулся. Зиновий и Тамара стояли на пороге кухни и смотрели на него, как на воскресшего.

— Слушай, старик,— нашелся наконец Зиновий,— у тебя довольно-таки идиотская манера исчезать...

Едва он заговорил, Тамара кинулась к мужу, припала, обхватила его колени.

— Борька... Милый... как ты напугал!

Борис Николаевич не стал ни поднимать ее, ни утешать. Он медленно провел рукою по рассыпанным волосам жены, затем подцепил и подержал на ладони большую роскошную прядь, как бы с сожалением взвешивая и оценивая.

— Ладно, ладно. Чего ты?

— Молчи!— Не поднимая лица и прижимаясь еще крепче, Тамара протестующе затрясла головой.— Не надо... Все еще будет хорошо. Вот увидишь!.. Мальчишки, милые, ну что вам стоит? Возьмитесь натираться снегом, а? Или еще что-нибудь. Гири купите. Я сама вам куплю!.. Зяма, ты-то почему молчишь?

— Ну, разумеется,— со всей убедительностью, но слишком часто поправляя очки, поддержал ее Зиновий.— Тамара дело говорит, старик. И вообще, чего ты надумал скисать раньше времени? Подумаешь — болезнь! Ну... Недомогание или... еще... Да если хочешь знать, каждый человек уже с самого рождения чем-то болен. Это совершенно точно! И доказано!

— Вот, слышал? — подхватила Тамара.— Все еще будет прекрасно!.. Борька, милый, ты же сам всегда издевался и смеялся над малодушием.

Слушая, как они наперебой соревнуются в бодрости и энтузиазме, Борис Николаевич, ровный, спокойный, притихший навсегда, раздумчиво поворотился и поверх головы жены посмотрел на Зиновия. Зиновий ждал этого взгляда и боялся. И точно,— он увидел мрачные, начисто отрешенные глаза человека, которому выпал небывалый случай как бы заглянуть в самое загадочное и страшное для всех непосвященных.

1971 г.

РАССКАЗЫ







ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

— Геш, а Геш,— окликнул Иван Степанович, тренер.— Сиди, подвезем. Чего ты?

— Спасибо,— отозвался Скачков и спрыгнул в темноту с подножки.— Тут ближе.

Лязгнула, задвинулась, как металлическая штора, дверца, и освещенный изнутри автобус тронулся. Команда поехала на базу. Скачков с тяжелой сумкой у ноги проводил прильнувшие к окошкам лица, помаячил на прощанье рукой. Заметил,— Федор Сухов, с которым сидели рядом, состроил кислую физиономию: дескать, завидую... Он тоже заикнулся, чтобы уйти домой, но сумрачный Иван Степаныч, листавший всю дорогу свой исписанный блокнот, досадливо мотнул щекой: сиди!

— По-нятно!..— не слишком громко, чтобы не слышал тренер, сказал Сухой и завернулся в плащ. От него еще там, в воздухе, пахивало, Скачков принюхивался и не верил: да где он ухитрился? Уж не с соседом ли, летевшим в отпуск с Севера? Они с ним что-то слишком оживленно разболтались, а в Свердловске, где была посадка, расстались, как друзья до гроба.

Из всей команды накануне матча только Скачкову позволялось уходить домой. В нем опытный Иван Степанович уверен: не Федор Сухов, за режимом последит. А Скачкову и следить не приходилось. Сам понимал и чувствовал, что в тридцать один год, да при таких нагрузках, не разгуляешься, — не мальчик в восемнадцать лет!..

На тяжело осевшем кузове автобуса мигнули красные огни: остановился перед светофором. Улица безлюдна, поздний час. В автобусе, набившись на последнее сиденье, дремали молодые из состава дубля. Иван Степанович везет их специально на завтрашний четвертьфинальный матч. Впереди, в просторном одиноком кресле у кабины, тягуче всхрапывал оплывший толстый массажист Матвей Матвеевич. За ним, оставшись без соседа, нахохлился обиженный Сухой. В автобусе от Сухова уже разило, как он ни отворачивался и ни пытался завернуться в плащ.

— Ты что, дурной? — спросил Скачков, чтобы никто не слышал. — Ты где успел?

Оказывается, он догадался правильно: тот самый отпускник, сосед, — у них, у северных, всегда спиртишко под рукой.

— Они там, черти, натуральный хлещут, — рассказывал Сухой, угрюмо отгораживаясь воротником плаща. — Да я и выпил-то: глоточек. Водой разбавил в туалете. Все равно старик меня назавтра не поставит. Пацанов везет.

— Теперь, конечно, не поставит!

— Ну и... На Север вон возьму подамся! Там люди позарез...

Ну что с него возьмешь? Ведь классный футболист, талант, каких не так уж много. Пытались говорить с ним, срамили всей командой, — молчит, не ерепенится, исправиться пообещает, а чуть недоглядели: снова!.. Почувствовав, что молодость пошла на убыль, махнул на все рукой: гожусь я вам такой — берите, не надо — что ж... А мог еще блеснуть на поле. Не так, конечно, как когда-то, но выпадали дни — и он, будто вернувшись в молодые годы, показывал отличную игру...

Пустынным проходным двором, минуя арку, гулкую, высокую, Скачков шагал и торопился. Роса блестела на крышах темных запертых коробок гаражей. На детской площадке, не разглядев песка, Скачков увяз, запнулся и подобрал поломанный грузовичок.

— Ах вы, люди-человеки, — проговорил он и, вытаскивая осторожно ноги, выбрался к грибку, положил игрушку на скамейку.

Поверх деревьев, высоко вверх, он отыскал окна кварти-

ры. Свет горел только на кухне: конечно, Софья Казимировна с пасьянсом. Всю дорогу он торопился, думал застать Маришку не в постельке, но продержали час в Свердловске, затем пришлось звонить на базу и ждать автобуса. Теперь Маришка спит.

Шурша плащом, Скачков вошел в подъезд, из руки в руку перекинул тяжелую, набитую умело сумку и тронул кнопку застрявшего на этажах лифта. В узком, уходящем вверх колодце обозначилось движение, что-то защелкало и завздыхало, словно в уснувшем доме завозился разбуженный, усталый до смерти трудяга человек.

Дверь он открыл ключом и, не поставив сумки, прошел по коридору. Так и есть,— на кухне Софья Казимировна, закутанная в шаль, в очках, уставив острый нос, внимательно раскладывала на вымытом столе пасьянс. Она не оглянулась, пока не положила, куда следует, очередную карту. Скачков стоял, как посторонний, ждал. Софья Казимировна, тетка Клавдии, щурясь под очками, посмотрела на него, узнала. Они не поздоровались, хотя не виделись больше недели. Софья Казимировна, вновь принимаясь колдовать над картами, сказала как бы между прочим, что Клавдия у Звонаревых. «Все ясно,— догадался он,— собрались, галдят, дымят и пьют».

Пока он раздевался, Софья Казимировна соображала над разложенным пасьянсом. После долгого раздумья выпростала из-под шали зябнувшую руку и, сомневаясь, переложила с места на место какую-то карту. Посмотрела, подумала, поправились.

— Есть ужин,— сказала она.

— Спасибо,— отказался Скачков, вешая плащ.— Не хочется.

На цыпочках, в одних носках, он прошел в комнату, где спал ребенок. Софья Казимировна, приспустив очки, осуждающе посмотрела ему в спину, но промолчала.

В комнате, зашторенной и с запертой балконной дверью, было темно и душно, а форточка, как сразу разглядел Скачков, закрыта. Он первым делом распахнул неслышно форточку, затем приблизился к кровати. Девочка спала среди разбросанных и смятых простыней. Скачков нагнулся и увидел на плече ребенка плюшевого зайца с оторванным ухом — любимая, вконец заласканная кукла, которую привез он года два назад из Австрии. Убрав веселого, с задорным уцелевшим ухом зайца, он натянул на толстенькие заголившиеся ножки простыню. Горячим показался ему лоб ребенка и влажными волосики.

— Что Маришка, здорова?— спросил он, появляясь на пороге кухни и загораживаясь от режущего света. Единственно, о чем он разговаривал с теткой Клавдией, так это о ребенке.

— Вечером вдруг что-то...— пожаловалась Софья Казимировна, в раздумье изучая разложенные по всему столу карты.— Но уснула хорошо. Хорошо.

— Температуры нет?

— Температуры?... Температуры... Ах, температуры? Нет, температуры не было.

Скачков мысленно ругнулся и ушел.

У себя в комнате он вытащил из сумки тренировочный костюм, переоделся. Низкий свет несильной лампы блестел на полированных гранях. В углу у стенки, где составлены уютно кресла, он заметил корзинку не корзинку, а что-то круглое, плетеное, подвешенное на шнуре. Внутри, как он попробовал, горела лампочка. «Ага, ночник». Каждый раз, возвращаясь из поездок, он находил какие-нибудь изменения в квартире. Клавдия что-то приобретала, переставляла,— украшала комнаты по-своему. Он в эти дела не вмешивался,— привык не вмешиваться.

Хотелось лечь и вытянуться, но не решился раздвигать диван, искать запрятанное где-то в ящиках постельное белье. Хозяйничать в квартире предпочитала сама Клавдия.

Невысокий столик на трех ножках завален тонкими журнальчиками с фотографиями. Жена их покупала ворохами. Скачков взял, полистал, затем отбросил и достал из сумки потрепанную книгу без обложки. С кухни послышался сладкий затяжной зев, щелкнул выключатель, прошелестели войлочные легкие шаги: Софья Казимировна закончила пасьянс. Скачков подождал несколько минут и, выглянув, стал пробираться в кухню.

Свет он зажег после того, как плотно притворил дверь.

Стараясь не шуметь, открыл тяжелую дверцу холодильника, присел и оглядел морозные, заваленные в беспорядке недра. Попалась начатая бутылка, он отодвинул ее подальше. На стол легли пакеты с сыром, с ветчиной и твердые, холодные на ощупь огурцы. Хлеб он нашел на полке, в прозрачном целлофановом мешке.

В запертой освещенной кухне, один во всем большом уснувшем доме, он чувствовал себя уютно, куда приятней, чем на сутолочной, многолюдной базе. Ветчина потрескивала под отточенным ножом, отваливаясь на сторону лоснящимися аппетитными ломтями. Скачков разрезал по всей длине холодный огурец, чуть посолил на обе дольки и медленно стал на-

тирать. Возникший тонкий аромат вызвал настоящий приступ голода. Томясь и сглатывая слюну, он тем не менее не торопился: отыскал и положил поближе книгу, нарезал ровно хлеба, окинул взглядом — все ли под рукой? Кажется, все. Тогда он жадно, крупно откусил, рванул зубами мясо и смачно захрустел присоленным и заслезившимся на срезе огурцом. С набитым ртом, с трудом прожевывая, в одной руке книга, в другой то хлеб, то ветчина, то огурец, он расположился в старушечьем покойном, теплом кресле, забросил ноги на табурет. Софья Казимировна готовила лишь для Маришки, Клавдия вообще обедать не привыкла дома, так что ему, если бывал он не в поездке, кормиться приходилось самому, но он нисколько не сердился и не выговаривал. Ему, наоборот, было легко, привольно одному, и уж совсем бывало хорошо, когда он оставался наедине с Маришкой, но так им выпадало редко, очень редко, потому что Софья Казимировна почти что никуда не отлучалась, — разве с кошелкой в магазин.

«Чаю согреть?» — подумал он, отваливаясь от еды. Не поднимаясь с кресла, дотянулся до чайника и поболтал, — заплескалась вода. «Как раз будет...» Чтобы зажечь газ, пришлось снять с табурета ноги и подняться, и тут почувствовалось, как он устал, расслабился и погрузнел. Дожидаясь чайника, он сел, затем положил голову на скрещенные руки. Кололись крошки, но лень было пошевелиться. Все-таки выматываешься же — пог не волокешь! Особенно невмоготу от перелетов. Для завтрашнего матча им вроде повезло — по жребию попало свое поле. Однако пришлось прервать поездку и вернуться, а это перелет, да перелет такой, что до сих пор вибрация от самолета во всем теле. А послезавтра, отыграв, опять на самолет. Дурак Сухой, что не жалеет и не бережет себя. Ему еще играть бы да играть... Откуда черт поднес этого отпусника со спиртом?..

Услыхав щелчок дверного замка, Скачков моментально встрепенулся: опухший, с красными глазами, болит неловко согнутое тело. Ему мерещился гул самолета и дрожанье кресла, и он осматривался, не понимая, что это с ним. Уснул, выходит?

Из коридора, щурясь, разглядывала его румяная, веселая Клавдия.

— О, Геш! Приехал? — удивилась она, хотя известно было, что команда возвращается, и по городу расклеены афиши.

Он засопел, зажмурился от нестерпимо режущего света.

Все-таки зачем этой Софье Казимировне такая лампочка на кухне?

— Слушай, сумасшедший!..— внезапно крикнула Клавдия и бросилась мимо него на кухню. Подскочив к плите, схватила и тотчас выпустила паривший раскаленный чайник.

Скачков спросонья крепко тер измятое лицо. Так, значит, вот оно откуда, это гуденье самолета!

— Как маленький, честное слово!— Клавдия трясла рукой от боли, сосала и разглядывала палец.— И что, скажи на милость, за идиотская манера дрыхнуть на кухне?.. И кстати, пора бы холодильник приучиться закрывать.

Скачков, не обижаясь, запрокинулся всем телом и потянулся с такой силой, что затрещало старенькое кресло.

— Маришка не больна?— спросил, шевеля, как от озноба, затекшими плечами.

— Маришка?— удивилась Клавдия, сбрасывая плащ и ловко подбирая рукава нарядной кофты.— С какой стати? Ты Соню спрашивал?

— Температуры, говорит, нет.

— Ну, значит, все в порядке... А я у Звонаревых засиделась.— Она зевнула, прослезилась и недовольно глянула на захлащенный стол.— Вадим из Москвы вернулся, осенью будет защищаться. В декабре крайний срок. Как только защитится — сразу же доцента обещают.

Повесив голову, Скачков сидел и вяло слушал. «С Вадимом вашим...» Видали: убил для дела целый отпуск, уехал, закопался в библиотеке, перелистал десяток диссертаций. «Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан...» Он будет кандидатом, и доцентом будет. Все выколотит и всего добьется. Он мастер выколачивать и добиваться: постоянный пропуск на трибуну, квартиру в центре, диссертацию...

— У ней волосики какие-то... как искупалась,— проговорил он, неловко отъезжая вместе с креслом, чтоб не мешать Клавдии прибирать на кухне.

— У кого волосики? Ах, ты опять... Да ну, просто баловалась перед сном. С ней, если хочешь знать, нет никакого сладу. У меня иногда зла не хватает. А Соня, бедная, так чуть не плачет. Геш, будь ты с ней, пожалуйста, постройте.

«Ну да, ну да»,— опять кивал он утомленно, но возражать и тут не захотел. Конечно, жаловаться будет эта Соня! Растет Маришка, и неудобный становится ребенок. Им бы как плюшевого зайца. Скажи: ложись — уляжется, скажи: замри — не видно и не слышно станет. А для Клавдии вообще:

ваявится, влетит как угорелая, потормошит, причмокнет в щечку и: «Возьми-ка ее, Соня, я пошла!..»

Одолевая зевоту, Скачков зажмурился и головой затряс, но все-таки не одолел: аж челюсти свело и показались слезы.

— Сейчас я постелю, — сказала Клавдия, ополоснув и вытирая руки. — Тебе надо выспаться. Я лягу с Соней и с Марishкой.

Он раззевался безудержно и, соглашаясь, замахал руками: давай, только скорее!

С кухни было слышно, Клавдия в комнате гроыхнула диваном. Затем заскрипели дверцы шкафа. Она там ловко управлялась: раз — приготовлен для спанья диван, два — откуда-то появляются подушка, простыни, припрятанные до его приезда. Но и постель, разброшенная на диване, пискoliko не меняла парадного убранства уголка квартиры, где не живут, а лишь изредка ночуют.

Роняя голову, боясь заснуть, Скачков поднялся мешковато с кресла: большой, нескладный в этой маленькой опрятной кухне. Фуфайку распирало на груди. В дверях он крепко зацепился за косяк плечом и сонно покачнулся.

В комнате он сразу погасил свет, разделся и улегся в темноте. Заворачиваясь в простыни и в одеяло, вытягиваясь, начиная забываться, он успел подумать, что Клавдия опять брезгливо вынесла его потрепанную сумку с формой в коридор. Она сердилась постоянно, когда находила ее возле дивана, и выбрасывала, как вещь вульгарнук, которой не место в чистых и ухоженных комнатах.

Назойливая муха, как ни старался отогнать ее Скачков, никак не отставала: побегала по трепетавшим векам, коснулась уха и щеки и стала щекотать в носу. Скачков, оберегая сон, со слабым стоном перекинул по подушке голову. Но от проклятой мухи не было спасенья, — теперь она упрямо норовила забраться в самый нос. Скачков чихнул, махнул рукой, и сон пропал.

В комнате было светло и солнечно, он медленно повел глазами. Кажется, в квартире уже не спали, — доносилось что-то с кухни.

Внезапно в глазах Скачкова мелькнул живой лукавый огонек, он сунул руку вниз с дивана и сразу же наткнулся на затаившееся тепленькое тельце в мягкой байковой пижаме. Радостный визг запрыгавшего, пойманного за рукав ребенка прогнал последнюю сонливость.

— А ты, маленький хулигашка! Ах ты, маленькая поро-

слюшка!..— растроганно приговаривал Скачков, втаскивая и укладывая Маришку к себе под одеяло.

— Пап, ты догадался да? Или ты подумал, что это муха?— допытывалась Маришка, прижимаясь, затихая рядом с ним. Ее восторженная рожица, всклокоченные волосенки торчали из-под одеяла.

— Му-уха! Конечно, муха. Муха-цокотуха!..

— Пап!..— позвала шепотком Маришка.— Давай лежать тихонечко-тихонечко. Чтобы никто-никто не услышал. Давай?

Скачков почувствовал, как колотится сердчишко присмиревшего возле него ребенка.

Они не виделись неделю, целую неделю, даже чуть побольше. Бережно, с опаской повернувшись на бок, Скачков большим корявым пальцем стал гладить, приводить в порядок тоненькие бровки на задорной затаившейся мордашке.

— Я некрасивая еще?— тотчас же поняла его по-своему Маришка, проворно выпростала из-под одеяла руки, пригладила, прибила волосенки и вновь закуталась и замерла под одеялом.— Я еще не умывалась. Я еще как будто сплю. Хорошо?

— Валяй, валяй,— приглушенно басил он, стараясь тоже, чтобы разговор их слышен был поменьше.

— Ты вчера приехал, вчера? Я уже спала?.. А мы пойдем сегодня к обезьянкам? Я им печенье припасла.

— Обязательно!

Это у них давно стало привычкой: накануне матча, если играли дома, они на весь день отправлялись в зоопарк. В прошлый раз смотрели бегемота и бросили ему в корыто булку, но бегемот, ленивая гора тоскующего мяса, той булки не заметил или заметить не захотел, и Маришка огорчилась. Тогда они условились лойти, как можно будет, к обезьянам. Те попроворней, с ними интересней...

Стремительно вошла Клавдия, хозяйственная, в фартуке. Взглянула, увидела их вместе — рассердилась:

— Это еще что за номера? А ну-ка марш к себе! Марш! Быстро!

Скачков почувствовал, как напряглась всем телом под его рукой Маришка, миролюбиво попросил:

— Оставь ее в покое.

— Ты что, в своем уме?— накинулась Клавдия — с утра была не в духе.— Ребенок нездоров, а они тут... Марина, я кому сказала?

Скачков потрогал лобик,— кажется, горячий.

— Дай нам градусник, мы сейчас проверим.

— Я принесу!— с готовностью подпрыгнула Маришка, желая услужить, но лишь бы не было скандала.

— Я тебе принесу!— прикрикнула Клавдия, доставая из кармана фартука кругленький футлярчик.— Я тебе такое принесу!..

Встряхнули градусник, поставили, затихли. Клавдия что-то выговаривала Софье Казимировне на кухне.

— Вот видишь!— сказал притихшей дочери Скачков. А что «Вот видишь!» — он и сам не знал. Во всяком случае, ему тоже не хотелось, чтобы день, приятно намечавшийся, оказался испорченным с самого утра.— Ты лежи, я сейчас,— сказал он и сел, спустил с дивана толстые, в узлах закаменевших мышц ножищи. Натянул тренировочные брюки со штрипками и босиком, разлаписто шагая, вышел в коридор. Из кухни показалась Софья Казимировна, увидела его с могучей голой грудью и возмущенно своротила нос. Сконфузившись, он отскочил назад, загородился дверью, затем вернулся, чтобы надеть фуфайку.

— Пап, пап!..— позвала, не пустив его, Маришка.— Вынимай скорее градусник! Уже тридцать семь. Сейчас мама придет смотреть. Если будет тридцать восемь, она нас никуда не пустит.— И столько хитрости, столько боязни потерять хороший день было в ее глазенках, что Скачков развеселился.

— Ах ты, маленький малыш! Нет, брат, давай все же посмотрим до конца.

— Да...— обиделась Маришка.— А вот будет тридцать восемь, тогда увидишь!

— Ну, брат... а что поделаешь? Нам вообще-то надо бы с тобой собаку завести. Ты хочешь собаку? Ма-аленькую такую псинку?

— Собаку? Собаку — это хорошо,— серьезно, рассудительно ответила Маришка, придерживая градусник под мышкой.— А может быть, еще не будет тридцать восемь?

Скачков проворно, головой нырнул в фуфайку и вышел. Фуфайка плотно обтянула тело. Застоявшиеся, тяжелые спросонья мышцы требовали привычной силовой нагрузки, и он, пока шел, поводил плечами, напрягал плечи, ноги, грудь. «Прекрасно... Отлично выспался!»

Когда он вернулся из ванной, Клавдия стояла у постели и озабоченно разглядывала градусник.

— Ну вот, тридцать семь и девять. Почти тридцать восемь. Все, пошли в постель! Геннадий, отнеси ее в кровать.

Маришка заморгала, заморгала, готовая заплакать. Скач-

ков вздохнул, пожал плечами: дескать, ничего не попишешь.

— Это как же ты умудрилась, маленькая?— спросил он, забирая на руки ребенка. Маришка грустно обхватила его ручонками за шею.

В другой комнате, где снова была закрыта форточка, царил утренний кавардак: раскладушка, развороченные постели.

— Пап,— тихо позвала Маришка, едва он тронулся к окну,— пап, а от температуры не умирают?

— Ну что ты, маленькая, что ты!

— Я не хочу умирать, совсем не хочу. Там узко.

— Где — там?

— В гробике.

— Малышка ты моя!..— Скачкова словно ударило по сердцу, и он, нагнувшись, подхватил ребенка под горяченькую спинку. Растроганно закрыв глаза, он слышал, чувствовал, как бьется его сердце: крупно, мощно.

— Не думай об этом, малышок. Не надо. Выздоровливай скорее.

— Что это она тут болтает?— спросила Клавдия, зачем-то ненадолго забежав из кухни.

— Так... Ничего.— Скачков переглянулся с дочкой, подмигнул.

Появилась сухопарая Софья Казимировна, с прямой спиной проплыла мимо,— тоже чем-то недовольна. Склонилась над кроваткой, стала поправлять.

— Пап, не уходи,— попросила, высовываясь из-за ее плеча, Маришка.— Слышишь, папа?

— Надо лежать,— строго сказала Софья Казимировна, насильно укладывая ее на подушку.— Больные девочки должны лежать.

— Папа, я не больная! Я не хочу!.. Не уходи!

Не зная, удалиться ли, остаться, Скачков страдальчески смотрел на плачущего ребенка.

— Идите, идите,— с такой же строгостью сказала ему Софья Казимировна, легонько подталкивая в спину.— Вам лучше уйти.

Он сделал шаг, другой, а Софья Казимировна шла следом и все так же подталкивала в спину. Это назойливое прикосновение к спине вывело его из себя. Он раздраженно дернул телом и обернулся.

— Клавдия!..— пискнула и отшатнулась Софья Казимировна, едва взглянув в его глаза.— Клавдия! Ради бога!..

— Что, что случилось? Что?— влетела в комнату Клавдия.— Что у вас тут происходит?

Не жалуясь, не говоря ни слова, Софья Казимировна трясущимися руками поправила очки, прическу и стала копошиться у кровати.

Клавдия развернулась и гневно двинулась на мужа:

— Я с-сколько раз тебя просила...

— А!.. К черту!— Скачков крутнулся и, хлопнув дверью, выбежал из комнаты. Немедленно раздался громкий плач Маришки.

— Ну?..— напустилась в коридоре Клавдия.— Доволен? Доволен? Ты слышишь, что наделал? Это всё твои, твои всё штучки!

— Дай я с ней сам поговорю.— На жену, в лицо ее, пошедшее пятнами, он старался не смотреть.

— Не о чем с ней говорить, понятно? Не о чем! Ребенок болен — ты это понимаешь?.. И вообще — разве ты не едешь сегодня на базу?

«Старая гримза!— кипел Скачков, переодевшись и набивая как попало сумку.— Ух, и напьюсь же как-нибудь!..»

Софья Казимировна была тиха и неприметна в доме не более недели, пока не осмотрелась. А поняв, кто в семье хозяин, стала открыто презирать Скачкова. Она и раньше никогда не одобряла увлечения племянницы. Взрослый человек, только и умеющий, что на потеху публики гонять ногами мяч,— что мог он принести семье, кроме позора?

В коридоре у двери Скачкова перехватила Клавдия.

— Уходишь? Не помню, говорила я тебе вчера, не говорила: сегодня к нам приедут Звонаревы... Оставь, пожалуйста,— они к тебе относятся прекрасно! Не знаю, правда, за что, но относятся прекрасно... Может быть, ты купишь вина? Я не успеваю.

— Хорошо,— отрывисто сказал он, открывая дверь.— После игры.

Она не дала ему захлопнуть за собою дверь и высунулась на площадку:

— Мы все приедем болеть,— слышишь?... Постарайся не задерживаться! Геш!..

Сбегая по ступенькам, Скачков никак не мог избавиться от ощущения, что его все еще подталкивают в спину. Назойливое, унижительное прикосновение словно приклеилось к спине, и он, прежде чем выйти из подъезда, завел под плащ не ловко руку и там, возле лопаток, скреб долго и ожесточенно.

Час был не ранний, в киоске на углу не осталось ни одной газеты. Однако продавщица узнала его и достала несколько газет из-под прилавка. Знакомая Клавдии, — у ней вообще какие-то знакомства: продавцы, закройщицы, маникюрши. Сам он знакомств старался избегать и тягостно переносил компании. Давно уж миновала та пора, когда, переведенный в основной состав из дубля, он старался раньше всех одеться и выбежать на поле для разминки, чтобы болельщики узнали номер на его футболке, назвали по фамилии, по кличке. Теперь он понимал того же тренера, Степаныча, который из всего большого города, из всей орды знакомых и навязчивых приятелей, избрал двух скромных и совсем не любящих футбол людей: какого-то врача и, кажется, охотника. И правильно, друзей, таких, с кем можно помолчать, и не должно быть больше.

Гудок, настойчивый, протяжный, совсем рядом, заставил вскинуть голову и оглянуться, — пока ему отсчитывали сдачу, он развернул газету. На тихой скорости ползло битком набитое узлами, пассажирами такси, и шофер, высунувшись, приветливо кричал, махал рукой, показывал в улыбке зубы. Они отчаянные болельщики, все эти шоферы. Скачков, едва взглянув, небрежно отсалютовал и стал сметать с прилавка сдачу.

С газетами под мышкой, с сумкой он направился к детской площадке, обошел разбросанный песок. Грузовичок, который он вчера поставил под грибком, стоял на том же месте: не нужен... На перекрестке, где покупал сейчас газеты, дул резкий ветер, холодил изрядно щеки; здесь же, в окружении высоких каменных домов, было тихо, пригревало солнце, и голоса детей звенели на одной высокой ноте. Ребячий гам несколько не мешал Скачкову. Наоборот: просматривая заголовки, поглядывая на копошившихся в песке детишек, он успокаивался и обретал свое обычное настроение здорового, всегда уравновешенного человека. Не хватало, чтобы в этом завидно деятельном муравейнике одетых разноцветно человечков копошилась и Маришка. Он сидел бы и читал не топясь газеты, она иногда подбегала к нему и... А, да что теперь!

Он отложил газеты, достал из сумки книгу. Но тоже что-то не читалось, не было охоты. Отметив ногтем строчку и пальцем заложив страницу, Скачков откинулся, покачивал ногой и щурился на гомонивших ребятишек. У Звонаревых, которые — он это знал — водились с ними из пижонства, а за глаза считали футболистов всех дубинами и «полторы извилины», —

у этих Звонаревых был прелестный ласковый мальчишеска, и с ним Скачков любил возиться, говорить и слушать и оживлялся всякий раз настолько, что забывал компанию. За ним, сидевшим только что как бука за веселым, разгулявшимся столом, украдкой наблюдали, пересмеивались, плечами пожимали, но — делать нечего! — мирлись. Они к нему тянулись, а не он. К ним у Скачкова было устойчивое и спокойное презрение. Им бы хоть тайм один прожить по-настоящему, как те, кого они считают «полторы извилины»: с предельною отдачей сил и при любой погоде. А то перелистать двенадцать диссертаций и написать тринадцатую и — словно постоянный пропуск получить к самодовольству и достатку. Когда-нибудь он все-таки поднимется и выскажет, что футболисты думают о них, — пусть тоже знают!..

Потом, когда все расходились, Клавдия начинала выговаривать ему, ну как это не чокнуться, не пригубить, если уж так все просят, умоляют, и не найти о чем поговорить с хорошими и компанейскими людьми! И, распалившись, забывала о его огромной славе, которой в общем-то гордилась и пользовалась, когда необходимо, как отмывкой, вспоминала, о чем нашептывала Софья Казимировна, и злилась, что дурак вот этот, «полторы извилины», пока возился с ребятенком, не слышал, что рассказывал подвыпивший актер. «Я, говорит, попробовал однажды мяч принять на голову, так после музыка и гром с неделю. А ведь за целый матч, за полтора часа — это сколько же разочков по башке?..» Рассказывал, конечно, так — ни про кого, но ей-то все понятно! И по дороге, добираясь до дому, Клавдия почти не умолкала, а он лишь отворачивался и мрачнел. В чем-то, наверное, права была она. Ну что он будет скоро по сравнению с тем же Звонаревым, доцентом, кандидатом? Иван Степанович уж вон какой игрок был — гремел, все время в сборной, а мест, однако, шесть переменил, пока за их команду зацепился. Потому и не сдавался до сих пор Скачков, терзал себя свирепейшим режимом. Хоть и не сахар эти перелеты и игры, игры без конца: на первенство, на кубок, товарищеские у себя и за границей, хотя нагрузка становилась не по силам, но все же можно было жить, как он привык и как хотелось. Все время было у него занятие, которому он отдал молодость, счастливейшие годы и в чем считался изощреннейшим специалистом, академиком...

Он не заметил, когда утихло все вокруг, когда успели разобрать и увести в квартиры детвору, почувствовал вдруг гол и подскочил, увидев, сколько на часах. Неряшливо пих-

нул потрепанную книгу в сумку и зашагал, соображая, где побыстрее и недорого, но плотно пообедать,— совсем чужой, заезжий человек в родном, да необжитом городе.

Автобус с командой пришел за час до начала матча. Шюффер беспрерывно давал протяжные гудки, толпа у стадиона расступалась, через стекло все узнавали футболистов, и многие бежали за автобусом, но вязли, застревали — был самый вал народу.

Объехав длинный, поперек движения поставленный автобус телевидения, мимо мороженщиц, столиков с лимонадом и чадающих жаровен с шашлыком, команда прибыла к служебному подъезду. Здесь было тише и спокойнее, стояла стайка разнаряженных девиц. Из дверей выскакивали часто толстенькие мужчинки в темных очках — они почему-то все, кто крутится возле футбола, носят темные очки. Скачков не любил этих развязных, проеырливых типов, привыкших обращаться с футболистами запанибрата. А девицы... Когда-то и Клавдия дожидалась вот в такой же стайке. Теперь у нее постоянный пропуск на трибуну. Они всегда сидят там вместе, жены футболистов.

Из автобуса, в обе двери, стали прыгивать ребята: в одинаковых плащах, с толстыми сумками, четкие проборы на головах. Ноги из-под плащей в голубых тренировочных брюках. Не озираясь, без всякого внимания к сбегавшимся болельщикам, вразвалку скрылись в помещении.

Грузный Иван Степанович сошел последним, поздоровался со Скачковым.

— Ну, как?

— Все в порядке,— ответил Скачков.

Больше они не сказали ни слова. Как старейшему игроку и капитану, тренер доверял ему во всем. Но почему-то именно сейчас Скачков подумал: а не оттого ли ему доверие такое, что он уж сходит, играет предпоследний или последний год? Растут в команде молодые, внимание, заботы все на них...

В знакомой раздевалке ребята привычно занимали шкафчики, кидали сумки возле просторных и удобных кресел.

— Геша, идешь?— позвал Матвей Матвееч, массажист. Он переоделся, приготовился и разминал, почти выламывая с хрустом, пальцы. Густо курчавилась в проеме майки грудь, крепкий живот перепоясан широким обручем ремня. Его распирало от чудовищных оплывших мышц. У иного из ребят нога потоньше, чем у него рука.

— Сейчас, Матвей Матвееч.

Кто-то успел обуться и заподпрыгивал, пощелкивая по полу шипами. Скачков не глядя мог сказать, что кто-нибудь из молодых. Торопится на поле, на разминку.

Матвей Матвееч, все еще похрустывая пальцами, ждал у массажного стола. Скачков, раздетый, влез, как на заклание.

— Покрепче,— попросил он, укладывая голову на скрещенные руки.— Колено что-то...

Массажист, словно маэстро перед инструментом, посуровел, потряс над головой огромными кистями и вдруг с лицом сосредоточенным и вдохновенным с размаху опустил их на притихшее расслабленное тело. Скачков сначала вздрогнул и напрягся, но вот шлепок, другой, потом протяжное движение, и он закрыл глаза, почти забылся. Матвей Матвееч был великий мастер. Скачков, кряхтя, постанывая под его безжалостными каучуковыми пальцами, все больше ощущал, как отжимается из мышц усталость, не стало вялости и лени, и плечи, бедра, ноги затребовали напряженья и борьбы. Он раскраснелся, переворачиваясь на спину, еще раз попросил:

— Колено, Матвей Матвееч!

Раздувая от усердия подгрудок, массажист уже лоснился. Время от времени хватал большое полотенце, проводил им по лицу, груди и шее, отбрасывал, не глядя, в сторону.

— Геннадий Ильич, прочитали? — расслышал, как во сне, Скачков. Раскрыл, завел глаза и увидел у изголовья юное чернявое лицо Белецкого, паренька из дубля.

— А, Игорек...— проговорил он, содрогаясь под руками массажиста.— Возьми у меня в сумке.

— Понравилось?— спросил Белецкий, становясь так, чтоб не мешать работе массажиста.— «Желтый пес», да?

Скачков задышался,— массажист вытягивал, разглаживал и встряхивал его большое, увесистое тело. Матвей Матвееч совсем забросил полотенце и только иногда движеньем той или иной руки проворно вытирал пот со лба.

— Нет...— попадая в ритм движений массажиста, сказал Скачков.— «Негритянский квартал».

Чернявый, тоненький, как девушка, Белецкий изумился:

— Да что вы, Геннадий Ильич! «Желтый пес» — вот добрая штука, до самого конца ни черта не догадаешься!

Наконец Матвей Матвееч отступился и, схватив истерзанное полотенце, зарылся распаренным лицом. Под мышками на майке у него темнели громадные полукружья. Скачков

поднялся и сел, как обновленный. Похоже было, что массажист умело перегнал в него всю мощь своих огромных мышц.

— Пусти-ка...— шлепнул по спине его Сухой, раздетый, стройный, как подросток, но со старушечьим изношенным лицом. Полез на стол.

«Ага, значит, Степаныч ставит... А что — может, отбегает хоть половину матча?»

Одевался он не торопясь. Носки, две пары носков, затем гамаша. Достал старые обношенные бутсы, придирчиво ощупал изнутри. Нога легла, как в люльку. Разобрав концы тесьмы, стал крепко-накрепко затягивать шнуровку по всей длине подъема. Оставшимися концами перевязал ступню крест-накрест: сверху вниз и спереди назад.

Подошел Иван Степанович, сел рядом и задумался,— набрякли породные щеки.

— Молодых сегодня?— спросил Скачков, ровно натягивая гамашу и отворачивая под коленкой вниз.

— Да. Надеюсь на Белецкого. Турбин... Ничего?

— Дельно. А Сухов?

— Придется тоже. Пусть выйдет, а там...

— Ну правильно, Иван Степанович!

Он понимал, о чем тревожится сегодня тренер. Его не любят, хмурого, сурового Степаныча,— не любят так же, как везде, где он работал раньше и не сумел прижиться. Он плохо жалует газетчиков и уж совсем не терпит покровителей: подсказчиков, советчиков из всякого начальства. А их же пруд пруди вокруг любой команды... Поэтому сегодня выиграть необходимо, хоть расшибись. Забрестило: сыграли на подъеме в «одной восьмой», теперь вот «четвертушка». Не в первенстве, так в кубке хоть успех!

Он натянул футболку и, подкатывая рукава, зашевелил ногами, затапцевал.

— Все!.. Все!..— Иван Степанович поднялся, в ладоши хлопнул.— На поле!

В длинном переходе под трибуной, где звучно цокали шипы шагавших футболистов, Скачкова остановил администратор. Звонила Клавдия недавно, просила два билета.

— Да? Ну хорошо...— и побежал вдогонку за командой. «Два места... Видно, Звонаревы. Хотя у Звонаревых постоянный пропуск. А, черт бы с ними и со всеми!..»

В дни матчей Клавдия обязательно зовет каких-нибудь знакомых, и ни администратор, ни кассирши ей не откажут: всегда места на западной трибуне. Дни матчей — праздник

для нее, награда за все унижения, которые она испытывает с ним в гостях. Это там, в говорливой выпившей компании, он молчаливая дубина, «полторы извилины», а на стадионе, в обстановке разнузданного поклонения, он самый именитый: идол, а не человек. И что особенно приятно — Клавдию тоже узнавали, показывали пальцами, приподнимаясь с мест, и пилились туда, где табунком, разряженные, только что из парикмахерских, сидели жены футболистов.

Многоголосый рев трибун плескался и вспухал над всей огромной чашей стадиона. Как будто в кратере вулкана, кипело, клокотало накалявшееся нетерпенье. Все в городе жило сейчас футболом, и только изредка в автобусе, троллейбусе, трамвае окажется унылая, ушедшая в себя фигура.

Скачков оглох, когда мелькнуло небо, свет, — он показался из туннеля. «Скачок!.. Горбыль!.. О, Скок!» — вопило, улюлюкало со всех откосов уходящих вверх трибун. Когда-то было сладко слышать, теперь же — будто не о нем. Он и в игре не обращал внимания, и рев, истошная истерика трибун имели для него такое же значение, как цеховой привычный шум для токаря, для слесаря.

Небрежно волоча, едва переставляя ноги, Скачков трусцой направился к середке мягкого зелененького поля, где по густой коротенькой траве защитники раскатывали мяч. Вратарь, весь в черном, длинноногий, бежал к пустым воротам и, оглядываясь, на ходу натягивал перчатки. Белецкий, носившийся с мячом по краю, увидел, как трусит Скачков, и резко дал ему на выход, отпасовал неровно, вёрхом, но Скачков, взорвавшись моментально, настиг тугой звенящий мяч, коленкой пригасил и усмирил и тотчас мягко, щечкой, скачковским стелющимся пасом выложил опять Белецкому. Игорек накинулся на мяч, как разыгравшийся котенок на клубок: подхватил, неуловимо ловко на бегу подбросил пятками, принял плечом, потом на голову, опять на ногу, — все это набирая скорость, неудержимо, — и с ходу вдруг ударил по воротам. Красиво!.. Скачков, опять труся лениво, еле-еле, смотрел за ним и усмехался: играют в парне силы! Наверняка сидит сейчас на переполненной трибуне счастливая девчонка и радуется, преданно не сводит глаз. Даже у них после таких вот матчей устанавливается дома мир и настроение. Клавдия возвращается со стадиона какая-то отмякшая, как будто сытая, становится заботливой, почти что прежней, и уж не замечает, что Софья Казимировна в таком затишье и согласии живет особенно чужой и оскорбленной...

Протяжная трель судейской сирены прекратила разминку. Стадион, вся затаившаяся по крутым откосам чаша, умолк и приготовился. Иван Степанович, провожая на поле команду, пропускал ребят мимо себя и трогал плечо каждого. Он волновался и не скрывал: встречу в первом круге они вот этой же команде проиграли с крупным счетом.

Пожилой судья, с голыми незагорелыми коленками, с большой, похожей на мишень эмблемой на груди, по традиции предложил капитанам:

— Знакомьтесь!

Скачков и тот, напротив, Алексей Решетников, улыбнулись, дружески ударили ладонь о ладонь. Лет восемь или семь назад они тренировались вместе в сборной, а каждый год встречаться дважды приходилось на полях. В нынешнем сезоне прибавилась еще и кубковая встреча,— значит, трижды...

Сегодняшний противник был неприятен для Скачкова, он не любил навалистой и жесткой, игрок на игрока, игры. Он предпочел бы комбинационного соперника, с манерой мягкой, завлекающей, многоходовой,— тогда сказался бы его огромный опыт, его умение угадывать и разрушать расчеты атакующих в самом зародыше, в глубинке поля. Сегодня, как было решено на установочном совете перед матчем, необходимо задавить, прижать к воротам,— перебегать.

Против Скачкова вновь действовал молоденький парнишка нападающий, которого он наглухо закрыл в том проигранном матче. Сначала он не понял, почему тренер соперников не заменил парнишку, однако скоро разгадал: молодой, неутомимый, он должен был мотать, оттягивать Скачкова на себя, а в открывавшийся к воротам коридор нацеливался ринуться Решетников, хитрющий, как лисица, Леха, полузащитник с крепким плассированным ударом. Парнишка исполнял задание старательно: финтил, юлил, откатывался к самой бровке, показывал, что порывается пройти по краю,— Скачков все видел и читал, как по букварю. Давно он изучил этих уж слишком исполнительных ребят, надолго скованных начальной установкой тренера. Он делал вид, что поддается на приманку, смещался часто в сторону, но лишь настолько, чтобы успеть наперехват седому, умудренному в боях Решетникову. Несколько раз он крепко сталкивался с разогнавшимся парнишкой, чувствуя, как со всего разбега врежется в его разгоряченное, напрягшееся тело. Скачков щадил его, пытался образумить, хотя, не нарушая слишком правил, мог подло-

вить и вывести надолго из игры. Самого его когда-то так ловили и выносили с поля...

Первый тайм как будто проходил на равных,— не перебежали, но и не уступили. А под свисток, в последнюю минуту, Белецкий очень вовремя успел на резаную передачу, как выюн оставил за спиной опекуна и только ринулся к воротам,— открылся по другому краю Сухов: его, сдыхающего, мокрого как мышь, защита стерегла вполглаза.

— Смотри!..— остановившись, завопил Скачков, еще не веря сам такой удаче, но Игорек и без него увидел. Мяч по траве перечеркнул наискосок штрафную, и, охнув, приподнялся стадион: успеет, не успеет Сухов? Вот-вот... еще чуть-чуть,— Скачков извелся, наблюдая. «Переставляй же горбыли!..» Свои ему отдал бы, чтоб бежал скорее! Но ноги Сухова все отставали, и он запнулся вдруг, упал на руки, перевернулся раз, другой... Мяч мимо дальней штанги укатился с поля.

Вздых стадиона услышал весь город. Скачков себя в досаде — по коленке, по коленке! Убил бы! «Вот он, глоточек! Ну погоди!.. Та-кую передачу!..»

Сухой вскочил, остервенело кинулся к Белецкому: куда, куда давал? Тот отступил, попятился, рукой загородился. Сухой все налетал — едва же в драку лез. Скачков по-капитански грозно глянул издали: чего, чего еще? Но тут свисток протяжный, и все смешалось на поле, упало напряжение. Усталой, запалившейся гурьбой на отдых потянулись футболисты.

— Геш, ты видал его?..— окликнул, подбегая, Сухов — горячий, задыхающийся, в мыле.— Нет, ты видал? Его же на моторе не достанешь!

Искал сочувствия, заглядывал в глаза. Скачков отворотился — клокотало зло. Чего темнить, чего на парне зло срывать? Ведь сам же понимал, что мог достать, и если бы...

— Иди, иди отсюда... Катись! — сквозь зубы процедил Скачков и шаг прибавил, чтоб не приставал.

В туннеле под трибуной его позвал Белецкий,— едва не плачет от обиды.

— Геннадий Ильич...

— Ладно, ладно...— грубовато потрепал парнишку по плечу, повел с собою.— Пас был на блюдечке. Чего там!.. Не обращай внимания.

— Уж лучше бы я сам, Геннадий Ильич!

— Пошли, пошли. Все впереди еще...

...Интересно, изменит что-нибудь тот тренер в своих перво-

начальных установках? Скачков не думал о парнишке-нападающем, его могли и заменить,— он опасался все того же Лехи, старого, проевшего все зубы на футбольном поле, способного вдруг вдохновиться на не обдуманый заранее поступок, рискованный, опасный, но, как правило, результативный. Потом попробуй отыграйся...

— Как нога?— прогудел Матвей Матвееч, нависая над Скачковым массивной волосатой грудью. Весь тайм он просидел у края поля на скамейке с запасными и близко видел, как изматывал Скачкова нападающий.— Ты кинь его как следует... Чего он?— посоветовал Матвей Матвееч.— У них же ставить больше некого!

Скачков, почти задремывая от усталости, расслабив руки, ноги, открыл, чуть разленил глаза:

— Все в порядке... Ничего.

— Чаю дать?

— Не стоит...

И снова отрешился.

На второй тайм, сберегая силы, он вышел после всех, последним, когда команды разбежались по обеим половинам поля и нападающие, которым начинать, переминались у мяча, поглядывали на судью с хронометром. Скачков, окидывая поле, определил, что у противника все без замен и без перестановок, и, чтобы сразу же настроиться на темп, включиться по свистку сирены, подпрыгнул сильно раз, другой, попутно взмахивая руками. На левом фланге ярко выделялась не тронутая потом, чистенькая майка,— вместо Сухого вышел запасной. самого Сухого не было ни в раздевалке, ни на скамейке у ворот,— обиделся, совсем ушел со стадиона.

Опять забегали, опять перемешались. Скачков, перемещаясь, как необходимо по игре, рассудочно и остро просматривал все поле. Так шахматист глядит на доску, когда на ней еще полно фигур. Сейчас Белецкому создать бы пару, тройку голевых моментов, и все — достаточно, не надо больше ничего. Парнишка весь заряжен на удар. (Об этом говорил, напутствуя, Иван Степанович: «Белецкого, Белецкого не забывай!..») Но что-то спуталось, пошло совсем не так. Скачков недолго видел впереди семерку на футболке Игсрька, он скоро потерял его из виду, почувствовал, что замотался и стал не успевать на перехват напористого Лехи. Мальчишка на краю теперь подолгу передерживал мячи и не спешил отпасовать, едва обозначалось нападение. Он ждал, искал единоборства, а если замечал, что страж его не подступал вплотную, сам рвался к лицевой и бил, простреливал опасно вдоль ворот.

Скачков и не заметил, как уступили центр поля. Ворота стали близко за спиной, и он, отчаянно гадая: пойти и броситься на молодого или смотреть, глаз не спускать с маячившего Леха, все отступал, все пылся и чувствовал, как мечется за ним защита, как бегают от штанги к штанге молодой испуганный Турбин, товарищ Игорька по дублю. «А, черт!..» И часто шел на крайнюю, решительную меру: ногами в ноги, в мяч, стремительным подкатом. Сам на земле, но мяч за полем, и можно оглядеться, перестроиться, передохнуть.

Свистят и издеваются трибуны, не слышно ни сирены, ни что кричит там от ворот Матвей Матвеевич, судья показывает знаками, и вот уж снова вброшен мяч, опять навал, опять прижали, и тут Скачков промахивается со своим подкатом, а вскакивая, видит, как замаячила на подступах к штрафной горячая и мокрая, хоть выжимай, спина Решетникова. Он не терял мгновений, Леха, и бил своими крепкими, настильными, как выстрел из мортиры, ударами; бил не раз, не два, но слава и хвала сегодня молодому Турбину. Скачков чуть жилы не порвал, чтобы успеть и помешать удару, не дать случиться назревающему голу, и доставал, мешал, но кто бы знал, что стояли ему все эти вскакиванья и рывки вдогонку!

Минуту бы, другую передышки!

Длинными, через все поле пасами он стал переводить игру на тот, противоположный фланг, но стоило отдать и осмотреться, как вот он, вновь идет, сработавшийся и нацеленный на гол тандем: проворный, без следов усталости мальчишка и таранистый в своей расхлыстанной футболке Леха. Они, конечно, чувствовали, вся команда знала, что здесь вот-вот будет прокол,— и жали, били специально в одно место...

Свисток судьи остановил игру, и, радуясь невольной передышке, Скачков не торопился к месту нарушения. «Я, я пробью!»— руками помаячил он ребятам. Но что там? Белецкий, поджимая к животу колени, лежал и перекачивался на спине по гаревой дорожке. «Сломался?..» Скачков ускорил шаг... Как оказалось, Белецкий оттянулся в оборону, хотел остановить напористого Леху, но тот, в азарте ли, со зла ли, так врезался в него заматерелым, выкованным в тренировках телом, что парень вылетел за бровку.

Под рев разбушевавшихся трибун бежал, катился шариком судья, мелькая бледными коленками. Сбегались игроки.

Белецкого подняли, он прыгал на одной ноге, держался за колено. Решетников, оправдываясь, пытался объяснить и разводил руками.

— Что... чокнулся совсем?— накинулся Скачков, едва переведя дыхание, и грудью в грудь полез на Леху, но тут судья развел их, растопырил руки. Леха покаянно жестикулировал, прикладывал к сердцу руку, но что он говорил — не разобрать...

Прихрамывая, но с каждым шагом меньше, Белецкий побежал на поле, и судья ткнул пальцем, показал, куда поставить мяч.

Выгадывая лишние мгновения, Скачков нагнулся, поставил мяч по-своему, потом стал пятиться, высматривая поле. Нет, ничего не находилось впереди,— все игроки разобраны надежно. Он сильно разбежался, но пробил тихо, откатил мяч рядышком, Белецкому. Пока тот принял да разглядывал, куда и как перемещаются ребята, Скачков вдруг ощутил в себе прилив неудержимых сил, взорвался на рывок и устремился на ворота, бежал, летел — и многое теперь зависеть стало от партнеров: поймут ли, подыграют? Белецкий понял все и подыграл как нужно: и мяч попридержал, и обошел кого-то, а лишь перед Скачковым обозначился проход к воротам, он мягко, четко выложил ему на ход. «Ай, молодец!..» — заликовало в бешеной груди Скачкова, и, доставая мяч, он увидел ворота, вратаря, молниеносно понял, куда он кинется, сметится, и врезал по мячу с такой силой, что от рубца шнуровки заломило ногу.

Едва ударив, он понял, что получилось хорошо,— мяч плотно лег на ногу. В какое-то мгновение он потерял его из виду, но вот увидел и радостно, восторженно подбросил руки: есть! По восходящей линии, не шелохнувшись, не крутясь, словно ядро из гладкоствольной пушки, мяч врезался в «девятку». Вратарь, весь вытянувшись наискось ворот, почти достал, царапнул по нему, но только лишь царапнул — не помешал... Скачков, обмякнув, словно спущенный утихший мяч, услышал беснование трибун. До той минуты, пока он разгонялся, пока искал пространства и следил за врагом,— на все эти мгновения атаки он вроде бы оглох и не слышал, как тысячи народу, вскочив, кричали, плакали, молили, любя его и заклинающая: «Ну, Гешенька, ну, Геш!..» «Да бей же, бей, горбыль проклятый!..»

На него прыгали товарищи, наваливались горячей потной кучей, он принимал их поцелуи и объятия, но сам уже не чувствовал ни радости, ни ликования — одну усталость. Он брел назад, оттягивал от горла жаркую футболку и с мукой запрокидывал лицо, не в силах справиться с распухшим сердцем. Нет, к черту, такие сумасшедшие рывки уже не для него. И

часто сплевывал обильную тягучую слюну — вернейший признак обморочной слабости.

Противник под угрозой проигрыша подтягивал для нападения защитные порядки, — терять им нечего. Остервеневший Решетников, подкатывая рукава, махал своим: вперед, только вперед! Скачков оглядывался на судью: не стал ли он поглядывать на свой секундомер?

Другая половина поля очистилась совсем, даже вратарь стоял у линии штрафной, смотрел, как там орудуют, пытается сокрушить «бетон». Мяч стал все чаще улетать на дальние ряды трибун. Скачков теперь не отходил от Лехи, а если иногда не поспевал, то Леха все равно запутывался в частотке обороны: при скученности двадцати парней не очень разгуляешься с маневром. И все же Леха лез, метался в самой свалке. Вот подыграли ему снова, и он попер с мячом вперед, как буйвол в заросли: один игрок остался за спиной, другой, еще ударился о Леху кто-то и отлетел, а он все на ногах, все двигается и поглядывает то на ворота, то на своих: кто где, кому отдать? Остановить бы следовало Леху, помещать ему как раз сейчас, но у Скачкова ни дыхания, ни бега, а сердце — хоть придерживай рукой. И он увидел: Решетников рванулся, катнул себе на выход мяч, кто-то из стопперов упал ему под ноги, но Леха не ударил, а отдал в сторону, наискосок, и — оставалось развести руками: к мячу успел парнишка нападающий, один, без стража, без опеки. Была еще надежда, что под таким углом мяч не минует вратаря, Турбин в воротах изготовился, напрягся, но малый вновь откинул мяч, и тут уж быть спасенья не могло. Решетников в упор, злорадно расстрелял ворота. Турбин, бедняга, даже не метнулся: куда там!..

На гол, сквитавший счет, из вежливости, сдержанно, отозвалась лишь западная трибуна.

Скачков уныло посмотрел туда, где на скамейке запасных сидел Иван Степанович. Из всех, что были в этот день на стадионе, лишь он один увидел промах капитана. Те, на трибунах, — они не смыслят ничего и видят только гол: кто забил, кто пропустил... Иван Степанович, в карманах руки, шагал вдоль бровки поля: туда — назад, туда — назад. «Замсна будет, нет?» — высматривал Скачков, но тренер не глядел на поле, а все ходил, сутулился, — переживал. «Заменит в дополнительном», — решил Скачков, опять настраиваясь на игру.

Равенство в счете вернуло вновь командам осмотрительность. Да и последний натиск измотал противника. Скачков

почувствовал свободу, облегчение и стал все чаще посылать мячи Белецкому. В мальчишке клокотали силы, и он трудился за двоих, но вот что странно: зачем он так оттягивался к бровке, где задыхающийся Леха своими бесконечными подкатами легко сбивал игру, выбрасывая мяч на аут? Скачков сердился и давал мячи на выход, старался дать как можно лучше, выкладывал «на блюдечке», однако Игорек упрямо устремлялся к краю и там финтил, как выюн, выматывая жилы из защиты. Ах, вот он для чего! Старательный Белецкий, выманивая к краю игроков, готовил коридор ему для нового броска. «Ну, нет. Куда там... А — хотя!..» И не успел подумать, а уж бежал и рвался, напрягаясь, — опять какой-то взрыв, посыл в движение, все мысли, силы, тело, все в атаке, в беге, в напряжении, и вот уж мяч почти что доставал, успев заметить впереди ворота, уже нога заныла и окрепла в ожидании удара, как вдруг огонь и чернота в глазах, полет и кувыркание как попало... Очнулся он, почувствовав лицом прохладу пахнувшей землей травы. Перевернулся на спину, увидел над собой ребят: все лица, лица, лица... Протискался Матвей Матвеевич, присел, в коленях поместив объемный свой живот. Но только подхватил ручищами под спину, как вновь поплыли, вздыбились в глазах трибуны, и пусто-пусто стало в голове... Потом Скачков увидел сверху еще одну сбежавшуюся группу, там был судья и больше наблюдалось суеты. Он завозился на руках Матвея Матвеевича, соображая, что Лехе, кажется, досталось крепче, — его и не пытались поднимать.

— Пусти-ка... — попросил он массажиста, но за руку держался. Попробовал ступить на ногу: можно, потом еще шагнул — и ничего.

— Ну все, порядок. — И он пошел один, прихрамывая, потирая ногу. Матвей Матвеевич наблюдал со стороны: разбегается, нет?.. Разбежался!

Судья метался, выпроваживал всех посторонних с поля и махал рукой, чтоб подавали мяч. Леху, как он лежал на травке, переложили на носилки, понесли. «Наверно, перелом», — решил Скачков, но подойти и извиниться было некогда: пока распрыгался — игра.

На место Лехи вышел запасной, со всеми перастроченными силами, старался успевать везде. Скачков, оттягиваясь в оборону, поглядывал на свеженького игрока, как старый умный пес на шаловливого щенка.

Турбин, перехватив на резком выходе прострельную передачу, стоял на месте, бил и бил мячом о землю, а сам глядел, высматривая в поле: куда, кому? Скачков махнул рукой:

сюда... Тот разбежался, выбросил рукой Скачков принял, повел, мпнуя центр поля,— мяч, как привязанный, катился в полуметре от ноги. «Ну, ну же!» — подзадоривал он запасного, все больше углубляясь, а сам следил и замечал, как заматалась впереди защита, пытаясь разобрать свободных игроков. И он дождался, выманил,— парнишка кинулся, Скачков мотнул его, оставил за спиной и вышел на штрафную. Тут верно оценил создавшуюся ситуацию Белецкий,— он вихрем полетел наискосок от края, бежал, в ладоши хлопнул: «Тут я, тут!..» Щечкой, длинным стелющимся пасом Скачков подал ему на выход, а сам тотчас сместился влево, чтобы иметь перед собой всю площадь вражеских ворот,— вот так же выходил на их ворота Леха.

— Я... Я!..— вдруг закричал Скачков, потребовав ответный пас. Он так и ждал, так и рассчитывал, что Игорек оттуда, с лицевой, откинет мяч ему на ногу, но тот, зарвавшись, ничего не слышал, не соображал.

— Дай!— завопил Скачков, неистово стуча себя руками по коленям. Ведь прямо же с угла идет, пацап, а тут ворота — вот они, мяч на ногу и — в сетку!..

Но что кричать было, приказывать, взывать,— напрасно! Белецкий — во вратарской, Белецкий — у ворот, мяч на ноге: летит, не слышит. Весь пыл, всю ярость и азарт счастливого прорыва, весь свой стремительный разбег вложил он в сокрушительный карающий удар, и от такого мощного удара мячу положено бы сплющиться и лопнуть, не уцелеть воротам, если в штангу, смерть, гибель вратарю. И в тот момент, когда мяч должен был снарядом страшным устремиться от ноги в ворота, вратарь, несчастный, обреченный, решился на последнее, что оставалось: он прыгнул и поставил себя как бы под выстрел, надеясь не поймать, конечно, а лишь бы зацепить, отбить рукой ли, телом, чем придется. И он отбил бы, зацепил, мяч неминуемо бы врезался в него,— слишком был острым угол для удара, но... что-то вдруг случилось. Удара, каким его предчувствовал сам бьющий и вратарь, каким ждал весь вскочивший на ноги, ревуший стадион,— удара и не получилось. Вот растопырился в отчаянном броске вратарь, сам Белецкий следом за своей ногой влетел и брякнулся в ворота, но... мяч-то, где же мяч? А мяч, задетый краешком, чуть-чуть, тихонько покатился в сторону, и уж вратарь валялся на земле, Белецкий рыбиной забился в сетке, а мяч катился и катился и возле ближней штанги пересек черту ворот. И тут увидели, поняли: получилась срезка! Но был гол, был,— мяч в сетке все равно! И — что тут началось!.. Скачков всплеснул

руками и залился смехом: бывает же такое! А сам Белецкий, осознав, что мяч все же в воротах, а значит, гол, победа, впал в буйное неистовство и яростно набросился на мяч, — бил, бил, пинал с обеих ног, вколачивая в сетку, пока его не оттащили.

Судья, единственный, кто сохранял невозмутимость, шел быстро к центру, но глаз не отрывал от секундомера...

У раздевалки, загораяживая двери и молча отстраняя посторонних, стоял Матвей Матвееч. Тут был его извечный пост после игры. И миновать его, совать бумажки, корочки удостоверений, грозить и называть себя, — все было бесполезно.

— Пройти позвольте, — гудел он мрачно, завидя через головы прорвавшегося футболиста, отодвигал, кто бы ни был перед ним, и снова загораяживал собою дверь.

В туннеле перед раздевалками творилось черт те что. Набилося столько, что не протолкаться, и липнут, мельтешат, бросаются на шею. Белецкого затискали вконец. Скачков, без майки, с худым, запавшим, как у проголодавшегося зверя животом, невежливо отбилсЯ ото всех, протиснулся и с облегчением укрылся в раздевалке.

Здесь было пусто и прохладно. «Фу-у...» Футболка в угол, трусы стянул, расшнуровал и нога за ногу отбросил бутсы. Лежать теперь, вытягиваться, глаз не открывать...

Зацокали шипы, шаг легкий, быстрый: Игорек. Скачков, не то задремывая, не то в забытьи и усталости, чуть дрогнув веком и залюбовался парнем: счастливый, молодой, ему бы и еще одна игра не в тягость. Заметил и Белецкий утомленный дружелюбный взгляд.

— Геннадий Ильич, подумать только: еще одна игрушка — и в финале!

Светилось, ликовало его юное чернявое лицо с невысохшими грязными потеками. Скачков, не отвечая, догадался, что из туннеля, видимо, убрали всех, кто ухитрялся набиваться каждый раз, — иначе Игорек толкался бы еще, заласканный, затисканный, герой последнего, решающего гола.

— А испугался, Игориска? — проговорил усмешливо Скачков, приподнимаясь трудно в кресле.

— Это с ударом-то? — воскликнул, засмеялся Игорек. — Ой, Геннадий Ильич, прямо сердце остановилось! Я ведь думал как: по ходу. И вдруг: блямс!.. — нога едва не улетела, а мяч не чую. Ну, думаю, и жлоб же я, пижон проклятый! А потом гляжу: а он вот, рядом, в сетке!.. Ну его к черту, в самом деле! Так шизофреником стать недолго...

Обернувшись вокруг бедер полотенце, Скачков поковылял, прихрамывая, в душевую. Он словно разучился вдруг ходить, — так больно отдавался в теле каждый шаг. Шершавый пол в кабинке охлаждал натруженные ноги. Приятно отдыхали пальцы, ступни, и только под коленкой, в набрякшей, будто каменной икре, беспокоила какая-то назойливая жилка. Он сильно пустил воду, горячую настолько, чтобы вытерпеть, и заурчал, подставившись всем телом, разнежился и замер. Потом он стал потягиваться, изгибаться, мять и массировать все мышцы, затем пустил холодную, почти что ледяную и, рывкнув, выскочил из-под струи, заколотил ладонями по животу. Сводило плечи, напряглась спина, но он задвигал сильно телом, растираясь колючим жестким полотенцем, и тут почувствовал, что ожил окончательно. А ожидало одевание, всегда приятное после игры, и он, как опытный гурман, неторопливо все почувствовал до мелочей: шелк тонкого носка на утомленные, изломанные ноги, из мягкой замши туфли, в которых нежится ступня, душистая от свежести рубашка. Вынырнув из ворота промытой головой, необходимо лишь заученно и ловко обозначить щеткой от виска к затылку ровный щегольской пробор. И после этого вся маета, усталость, пот недавнего сраженья останутся в потрепанной привычной сумке, в затисканных туда доспехах. Снять плащ, одеться и — сумку в руки — можно уходить.

Стемнело, обезлюдело вокруг, когда Скачков прошел служебным ходом. Идти, ступать было приятно и легко — в удобной обуви блаженствовали ноги.

На перекрестке, через улицу, у магазина и автоматов с газированной водой, толпился разволнованный народ. Сквозь ярко освещенную витрину было видно, как брался приступом гастрономический отдел.

Завидев огонек такси, Скачков призывно замахал рукой. Он поднял воротник плаща и, бросив сумку, занял заднее сиденье.

В машине бормотало радио: записанный на пленку репортаж.

— К магазину, — попросил Скачков.

Без всякого внимания к пассажиру, шофер отъехал, развернул на перекрестке и стал как раз возле болельщиков и автоматов с газированной водой. Прибавил громкости, — Скачков услышал, вылезая из машины: «.. Решетников, боевой, напористый полузащитник, душа команды.. Но кто же выйдет? Кого поставит тренер?..» Скачков, высматривая, что творится в магазине, покачивал убито головой. Туда показы-

ваться не имело смысла, — окружают, едва узнают, и уж не вырвешься, не убежишь.

У автоматов с газировкой шли нарасхват стаканы, пустые бутылки выстраивались на прилавке закрытого газетного киоска. Копилась стайка опорожненных бутылок, кипели, накалялись страсти. Скачков узнал багровое лицо Сухого. Не обознался ли? Да нет, он самый. В светлом пуловере, нарядный, как игрушка, он был угарно пьян. Стоял, покачивался, — выплескивалось из стакана. Его и чествовали и утешали.

— Еще поклонятся! — грозил патлатый парень в разлетающей. — Еще спохватятся! Такими не бросаются...

Сухой покачивался и молчал, в глазах тоска, — смотрел куда-то слишком далеко, как будто видел самого себя молоденького, на подъеме славы, способного отбегать оба тайма и сил не потерять. А, лучше б замолчали все! Что толку?

В машине заревело радио, как грохот обвалился шум трибун: тот гол, Белецкого... Вдохнув, Скачков забрался на сиденье, захлопнул дверцу.

— Давай куда-нибудь подальше.

Шофер, ловя последние мгновенья матча, сердито оглянулся, потом, уж слишком быстро, снова: узнал.

— В больницу надо, — пояснил Скачков. — Но сначала в магазин. Всякое там... понимаешь?

Еще бы не понять! Шофер весь загорелся — готов был расшибиться.

— Быстро надо?.. Все, Геш! Сейчас все отоварим!

И понеслась машина — сигнализала как на пожар, визжали тормоза на поворотах. Горело вдохновенное лицо шофера.

— Сейчас, сейчас... Все сделаем! Будь спок.

«Отоварились» в каком-то спрятанном в казенном здании буфете, уже закрытом, куда шофер проник привычно просто, без помех. Что-то успел шепнуть буфетчице, — та встретила Скачкова лучше некуда. Шофер сам наблюдал за всем, подсказывал подать одно и показать другое, — Скачкову стало жаль, что он не в состоянии забрать всего, что предлагалось. Он выбрал для гостей бутылку коньяку, отдельно попросил коробку шоколаду, апельсины. Два апельсина из пакета он взял и спрятал в сумку: для Маришки.

— Ну, все? По коньям? — спросил шофер. Буфетчице сказал: — Я скоро заскочу. Тут нам в одно местечко надо.

Опять пустыми коридорами в затихшем затемненном здании, мимо ночного сторожа, которого приветствовал запанибрата, провел Скачкова к ожидавшей за углом машине.

— Торопиться?— спросил Скачков, когда машина стала у больницы.

— Да что ты, Геш! Валяй, я подожду. Сумку оставь,— покараулю.

С пакетом и коробкой Скачков поднялся на высокое крыльцо, толкнулся в двери. Отворил плечом и очень удивился: в приемной на диване, на валиках дивана, на стульях по двое сидела смирно и ждала усталая команда, сегодняшний соперник. Так, значит, вот что за автобус стоит на улице, к которому такси подъехало впритык!

— Привет! — сказал Скачков негромко, поглядывая, где бы поместиться, и кто-то из ребят поднялся, уступая место.

Игра всех вымотала, все сидели тихо. Стал дожидаться и Скачков. В том, что Решетникова унесли, ни он и ни ребята не видели ничьей вины,— могло и так случиться, что не ему сейчас, а Лехе по дороге на аэродром пришлось бы попросить притормозить и забежать в палату на минутку... Поспешно скидывая на ходу халаты, из внутренних покоев показались двое. Все сразу поднялись и затеснились, и дверь не закрывалась, пока пустело помещение. Скачков, не глядя на часы, понял, что торопиться следует: до аэродрома, как ни нажимай, а верных полчаса, да там еще с билетами,— едва-едва успеют. Рейс был знакомый, многолетний,— завтра и они на нем же...

В палате, где лежал Решетников, с порога чувствовался нарушенный режим. Больные, плесневевшие от скуки, поворотились к новенькому. А тут еще Скачков. Его узнали тотчас и завозились, ожили на своих кроватях. На подоконнике, забытый всеми, еще, казалось, не остыл от всех волнений матча невыключенный маленький приемник.

Из операционной Леху привезли с ногой в бинтах и гипсе, похожей на большое белое бревно. «Да, худо дело,— поморщился Скачков.— Теперь как пить дать до конца сезона, а то и больше».

Медицинская сестра макала ватку в блюдечко и протирала Лехе воспаленное лицо. Он уже опомнился от боли, лежал затихший, утонул в подушках. Скачков остановился, подождал, пока управилась сестра.

Решетников узнал его не сразу: очень бледный, выбитый из жизни человек. Но вот глаза ожили, заметались, он быстро отвернулся и, стиснув зубы, щекою промакнулся о подушку.

— Ведь черт же его знал!..— проговорил Скачков, покаян-

но касаясь руки поверженного Лехи. Подали табуретку, ткнули сзади в ноги, он сел, свалил на тумбочку пакет, коробку и подхватил сползающий с плеча халат.

Решетников собрался с духом.

— Ладно. Чего уж...

— Тут я вот апельсинчиков...— Скачкова раздражало, что пялятся на них, глазают со всех коек.

— Вали в тумбочку,— равнодушно сказал Решетников,— там ребята еще принесли.

— А тут вот шоколад. Ты жуй, копи мощу.

— Теперь я накоплю! — невесело скривился Леха.

— Так вот же...— огорченно произнес Скачков и удержался, чтоб не вздохнуть, как по покойнику. Конечно, плохо дело, что и говорить. С погой теперь до самого конца сезона, а там зима, а там... В их возрасте да вдруг такие перерывы! Он мог и сам сегодня оказаться здесь на коечке, и тоже понимал бы все, и тоже бы — цецкою о подушку. А что поделаешь? Потом, хоть подлечишься, останется одно: костылик в руку и по билету на трибуну. И вот орет, беснуется битком набитый стадион, а ты с костыликом между колен, на руки подбородок, сидишь и смотришь, смаргиваешь глазом, и все как будто бы по-прежнему, но только нет, совсем другие топчут мягкое, ухоженное поло, где пролетела, отшумела навсегда твоя так быстро закатившаяся юность. А может, и так еще: не сразу соберешься с духом, сядешь на трибуну, а оставаться станешь дома, у телевизора, с ребенком на коленях... «Интересно,— подумал вдруг Скачков,— у Лехи-то...»

— У тебя кто: пацан, девчонка?— спросил он, будто знал, что кто-то у Решетникова есть, но только он забыл, кто именно.

Решетников поморщился и посмотрел на свою уродливо уверенную ногу.

— И пацан, и девка... Рсвут сейчас. Видели же по телевизору!

— Да-а...— вздохнул Скачков и помолчал. Представил, как переживают за отца мальчишка и девчонка, а жена, быть может, сейчас бежит на телеграф, на переговорный, а может быть, ждет не дождется, когда откроют утром кассы Аэрофлота.

— Ну, поправляйся.— Придерживая за полы выброшенный халат, он встал.— Я еще забегу. Тебя ж не скоро...

— Бывай!— Решетников чуть шевельнул покоившейся на подушке головой и приподнял ладонь. Скачков пожал ее без всякого усилия. В белье больничном, на больничной койке Ре-

шетников казался слабым, хотя всегда был мускулистым, будто литым парнишкой килограммов на восемьдесят пять.

— И здорово-то, знаешь, не того... — попробовал Скачков утешить на прощанье. — Оно, конечно, хоть кого коснись, но все же...

— Иди, иди, — с усмешкой покивал Решетников. — У нас же знаешь: при любой погоде.

— Вот именно!.. Ну, будь здоров. Я как-нибудь еще зайду.

— Когда летите? Завтра? — Решетников беспомощно заозирался, пытаясь приподняться и лечь повыше. Скачков вернулся и подбил подушку. — Спасибо, Геш... А что, Сухой у вас так и не просыхает? Какую он вам штуку проворонил! А? Безногий бы забил.

Скачков уже не помнил зла: матч выиграли все равно. Представил пьяного, несчастного Сухого и — жалко стало.

— Что сделаешь? Кончаемся мы, Леха. Все кончаемся.

— Футбол-то не кончается!.. Ты обратил: какие пацаны растут! На воротах у вас стоял: откуда только взяли! И тот, по краю, — тоже ничего.

— Белецкий? Белецкий ничего. Играть будет.

— И здорово будет. А нашего узек? Как он мне выкатил на гол! Это же уметь, сообразить же надо... Вот будут пацаны играть! А? Куда нам!

Вот, самый стариковский разговор. Скачков опять присел на краешек. Вчера, когда домой летели и в самолете оказались рядом, Степаныч начал жаловаться, что надо бы набрать команду ребятишек, да некому их поручить. Похоже, он его сговаривал. А что, он взялся бы, — в неутомимых, как волчата, пацанах воспитывать уверенную мудрость стариков. Возьмется он, пожалуй. Они народ чудесный, ребятишки, и дело с ними у него пойдет.

— О тренерской не думаешь? — спросил Скачков, вставая.

— Да как сказать... Конечно, хорошо бы, да ведь не просто все. У вас Степаныч как — прижился? Он молодец старик, таких парнишек откопал.

— Ну побежал я. Будь здоров! — Скачков занес с улыбкой ладонь, Решетников свою подставил, — они ударили, тряхнули крепко, как будто расставались там, на поле, после финального судейского свистка.

— Так сколько там? — спросил Скачков, когда приехали, остановились у подъезда и он открыл легонько дверцу, чтобы при свете лампочки увидеть цифры на таксометре.

— Да что ты, Геш! — обиделся шофер. — Скажешь тоже!

— Брось, брось! — запротестовал Скачков. — Вот еще!..

— Ладно, давай тогда рублевку, что ли.

— Возьми вот... — Скачков вывернул карман и быстро сосчитал, что у него осталось. — Два... Сколько тут? Вот, два с полтиной. Бери, бери — нечего!

— Ну, спасибо, Геш! Бывай здоров! Летите завтра?.. Ни пуха ни пера. Болеть будем!

— Ладно, к черту, — суеверно проворчал Скачков, вытаскивая за собой из машины сумку.

Высоко вверх во всех окнах квартиры горел свет, и он только сейчас подумал о гостях и спохватился, как долго задержался после матча.

Дверь он отомкнул бесшумно, неслышно приоткрыл, но не успел ступить через порог, навстречу вылетела Клавдия, уже навеселе, нарядная, очень красивая.

— Приветик! — накинулась, не дав поставить сумку. — Ты попоздней не мог? Что случилось?

Из комнаты, откуда она выскочила, наплывал табачный дым, смеялись и галдели там подвыпившие гости. Скачков, устало поднимавшийся на плавном тихоходном лифте, с порога угадал тот срашаш в квартире, когда все за столом перемешались, пьют без тостов и курят, курят без конца, гася окурки где попало. Сама Клавдия была возбуждена, глаза блестя. Скачков догадывался, что завелись они еще все там, на стадионе, а сразу после матча расселись в несколько машин и к ним: шуметь, горланить, праздновать.

Стаскивая плащ, он объяснил негромко:

— Там, понимаешь, штука одна... Заехать пришлось в одно место.

Она не слушала и рылась в сумке, поставила ее на согнутое, облитое чулком колено. Бутылку она вытащила сразу, но больше ничего не находилось. Футболка полетела в угол, полотенце. Клавдия опустила сумку, в глазах ее, заметно удлинненных зачесанными наверх волосами, мелькнуло пьяненькое удивление:

— И это — все? Ты что, хозяин дорогой, не болен?

Ногой он отодвинул брошенную сумку. повесил плащ. Давно уж он не узнавал в ней ту, какой ее увидел в стайке восторженных поклонниц футболистов.

— Скачков? — позвала Клавдия, сердито дожидаясь объяснений.

— Ну... понимаешь? Так случилось. Парня я одного заломал, и надо было в больницу. Такое, в общем, дело.

Он был всегда не мастер говорить, да ей и не потребовалось больше. Недоуменно, медленно подняла она плечи:

— И что — ты все угробил на больницу? Хо-рош хозяйин!

С бутылкою за горлышко, разгневанно свистя вокруг колен чешуйчатым, каким-то модным платьем, она отправилась на кухню. Скачков, нагнувшись запихнуть в расстегнутую сумку мятую футболку, невольно замер, загляделся. Вот в чем она совсем не изменилась, так это если глянуть со спины, — все та же длинноногая девчонка. «А! Ладно!» Он запихнул и снова застегнул, поставил сумку к стенке.

На кухне, присев на корточки, Клавдия рылась в холодильнике.

— Ведь ни черта же не осталось! Все как приехали, как навалились... Коньяк ты, кстати, мог бы и не брать, все прекрасно хлещут «российскую». У нас как раз отличная селедка... Ну, ладно, в общем. Как-нибудь! Идем, поздоровайся с людьми. Они так болели за тебя. Охрипли все!

Она сегодня не могла сердиться долго. Он понял, что на стадионе Клавдия получила все сполна: ее и узнавали, и разглядывали, показывали знакомым.

— А что, Маришка спит? — спросил он.

— Ну, Геш!... — расстроилась опять Клавдия. — За твоей Маришей, слава богу, есть кому приглядеть. Иди же! Тебя ждут.

И потащила выставлять его, показывать.

Начиналось для Скачкова самое тяжелое. Все ждали от него, что он начнет трепаться, балагурить, душа компании и свойский в доску парень, а он... ему бы лечь сейчас, раздеться и никого не видеть. Спросил, не с сыном ли явились Звонаревы, но Клавдия тут рассердилась не на шутку, и он, умолкнув, обреченно потащился к гостям.

Появление его в дверях туманной жаркой комнаты, где столько наслоилось и качалось волнами вокруг разгоряченных, потных лиц, что он невольно сморщился, его возникновение на пороге взорвало всю компанию. Его тут ждали и томились и, рюмочку за рюмочкой, поглядывали на часы — ну где же, что не едет? Пока компания, воспрянув, толклась вокруг него и ликовала, Скачков, словно дикий зверь и желанная игрушка, передавался от одного к другому. В кутерьме приветствий, обниманий, поцелуев кому-то что-то бормотал, кому-то незаметно подставлял плечо, чтобы не дотянуться было пьяными губами до щеки, а сам приглядывался, кого это сегодня при-

несло, и никого почти не узнавал, — так, Звонаревых разве да одного или двоих еще, а остальные — черт их разберет! Кусок трибуны на дому!.. Он даже комнаты своей не узнавал — так все захламлено, перебуровлено. И дыму, дыму-то!..

Влетела Клавдия — с тарелками, с бутылкой, угарно счастлива и весела, и сразу новый взрыв восторга, движение и суета вокруг стола. Пока толпились, разгребали, что осталось на столе, передвигали, расставляли снова, Скачков обрадовался передышке и, поискав, куда бы сесть, нашел местечко дальше от стола, под самой форточкой. Здесь было тише, посвежей, и он только теперь, вытягивая спину, ноги, почувствовал, как здорово устал. Но ничего, — наутро завтра баня, сухой горячий пар, душистый веник и массаж. Матвей Матвеевич приведет его в порядок.

— Геш!.. Геш!.. — звала, не унималась шумная орава, и все старались так расположиться, чтоб он был в центре. Они пришли сегодня на него, готовые смотреть и слушать, а что он мог им рассказать? Им лишь про границу подавай, а что подашь, если и там для футболиста все то же самое, что и здесь: отель, разминка, отдых и — на автобусе на стадион. И вот пока в автобусе, глядишь в окошко — так это еще граница, а уж как началось на поле, так сразу все забудешь. Игра, она и есть игра. А про игру им всем до лампочки. Еще про третий гол Пеле в московской встрече сборных они порассуждают, но зайкнись о том, какую «штуку» залепил когда-то молодой Иван Степанович, так скосоротятся. А гол такой, что помнят до сих пор: из своей штрафной пройти с мячом через все поле, мотнуть почти что всю защиту и из вратарской ляпнуть в самый угол! Такого сольного прохода пока не числится ни за Пеле, ни за Эйсебио. Отечественная классика, заря российского футбола. С мальчишками когда приходится, так те поразегают рты, а с этими...

— Ну, Геш!.. — окликнула с досадою Клавдия, показывая, что ждут его все, приготовились. — Ты что, так уж устал, голуба?

Как было бы у них все по-другому в доме, умеи он быть сейчас таким, каким хотелось ей! Дурная, — так бы и сказал, — да эти Звонаревы и с ними все, они потом на улице не поздороваются, едва он спосится и перестанет выбегать на поле. Прилепят к кому-нибудь другому, — к Белецкому к тому же. Им, как пижонам, не футбол, а футболисты притягательны: известность, телевидение, пресса... Но не сказал, — сложился в кресле, словно перочинный ножик, и, потирая лоб, не отнимал руки от страдающего нервного лица. Кругом молчали,

дожидаясь, потягивали сигаретки,— и становилось по-скап-дальному невмоготу. Спас положение развязный Звонарев.

— Милиционер родился!— провозгласил он с громким смехом, и кто-то подхватил -- пропало напряжение, а Звонарев, поддержав рукава, уже вздымал в руке, как жезл веселия, бутылку:

— Подставляйте, граждане, посуду!

Скачков передохнул и выпрямился, слезил за платком в карман. В коридоре, близко у двери, раздался недовольный голос Софьи Казимировны. Она кому-то выговаривала:

— ...но только на минутку,— слышишь?

Вбежала толстененькая свежая Маришка. На ней была пижамка, короткие штанишки,— ее укладывали спать. Она опешила сначала, остановилась, ловя ножонкой отстающий шлепанец, но вот сквозь дым узнала в кресле у окна отца. Сладко отдалось в груди Скачкова, когда Маришка прыгнула к нему с разбегу на колени и обняла, прижалась, спрятала лицо. От пьяных и замаслившихся отовсюду взглядов он отводил счастливые глаза.

— Ка-кая прелесть!— пропела незнакомая худая дама и, сильно выдувая дым ноздрями, отбросила изжеванную, в губной помаде сигарету.— Ну иди, иди же ко мне, крошка!

Маришка испугалась и, отстраняясь от протянутых рук, притихла, сжалась еще больше. Скачков поморщился, загородил ребенка: еще чего! Нисколько не обидевшись, худая дама руки убрала, прикрылась пальцами и длительно, вздохнув, зевнула. Затем, помедлив, поблуждав увядшими, усталыми глазами, полезла в сумочку за спичками и сигаретой.

Вмешалась быстро и решительно Клавдия:

— Ну, нечего, нечего!— Она погнала Маришку от отца, пришлепнула для строгости.— Подумаешь, телячьи нежности! Никому это не интересно. Марина, убирайся немедленно к себе! Ты слышишь?.. Соня, заberi же ее, ради бога!

Софья Казимировна была все время тут за дверью, вошла и по пути подобрала потерянный ребенком шлепанец. Когда Маришку уносили, Скачков ей подмигнул и потрепал за пятку.

— Граждане!..— не унимался Звонарев, перекрывая пьяный гвалт.— Кончайте вы... К столу! Геп, подвигайся ближе. Чего ты там?

Давно налитые и застоявшиеся рюмки веселый расторопный тамада стал раздавать в протянутые руки.

— Геп, хватай,— он протянул Скачкову.— У меня имеется железный тост.

— Ты ж знаешь, я не пью,— негромко сказал тот, предчувствуя, что начинается волюнка: да ну глоточек, да ну чуть-чуть...

— Брось, брось!— бесцеременно, как давнишний лучший друг, настаивал Звонарев и не убирал, держал протянутую рюмку.— Глоточек. Ничего не будет.

«Много ты знаешь...» Краем глаза Скачков успел заметить, как закипает Клавдия: «Да ну же, дурень! Просят же, как человека!»

— Гешка, да ты что, старик?— не отставал задетый за живое Звонарев.— Ты хогь по арифметике валяй. У тебя сколько весу? Кил восемьдесят есть? Ну вот. Разбрось-ка на кило! Тут и по грамму алкоголя не придется. Так, пар один... Бери давай, старик, не обижай компанию! Вам на банкете где-нибудь ведь разрешают пригубить?

— Отстань!— сквозь зубы тихо попросил Скачков и, ноги подбрав, нахохлился, засунул кулаки в колени. Лицо его приняло ожесточенное гупое выражение. Как раз в такие вот моменты, он знал, как раз сейчас-то и сочувствует вся эта братия Клавдии — дескать, и дуб же, хоть и... «полторы извилины»!

— Ладно, наплюй ты на него!— вмешалась Клавдия, забрала рюмку и, сильно расплескав, поставила на стол.— Давай, Вадим, какой-нибудь грузинский тост! И вообще — чего мы? Пошли-поехали! Чего закисло все?

И, слово за слово, застолье снова зашумело: поднялся хохот после длинного, с какой-то непристойной заковыркою тоста, взметнулись и мелькнули рюмки, дым густел, а Звонарев, душа-парняга, свой в доску малый для любой компании, с бутылкою, в закапанной рубашке, опять кричал и требовал внимания, но где уж там добиться было хоть какой-то тишины: пошло действительно, поехало!

— ...А я вам говорю: весь неореализм этот!.. Да что мне ваш Висконти! Что мне ваш Висконти! Вы еще Антониони... Да это же сейчас ни для кого не секрет!..

— ...Здравствуйте: это Полетт Годдар живет с Ремарком... Да, Брижит тоже за немцем. Миллионер какой-то... И не второй, а третий раз.

— Да второй же! Первый муж Роже Вадим.

— А я говорю: третий. Читать же надо, милочка!

— Ну, знаете!..

Скачков поднялся и незаметно вышел в коридор. Фу-у, здесь дышать хоть можно!.. Он увидел свет на кухне, подкрался, выглянул из коридора: конечно, Софья Казимировна

с пасьянсом. Отгородилась, дверь стеклянную подперла табуреткой. Видимо, и ей обрыдла колготня...

В комнате, где спать уложена Маришка, темно, свежо: открыта форточка. Скачков почувствовал, как от него несет проклятым табачищем. Удивительно, что и Клавдия привыкла с братней своей курить напропалую.

— Папа, ты? — окликнул его тихий голосок Маришки.

— Лежи, лежи... Спокойно, — проговорил Скачков, оглядываясь на притворенную дверь. На цыпочках, бесшумно, пронес он через комнату свое большое тело, она подвинулась под одеяльцем, прихлопнула, куда ему присесть.

— Тебя отпустили, да?

— Тс-с... — предостерег Скачков и, наклонившись, поцеловал одну ручонку, затем другую. Все время чувствовал он отвратительный неистребимый запах, которым пропитался там, с гостями. Пиджак ему сбросить, что ли?

— Пап, пап... — звала его Маришка, он разглядел ее блестящие глазенки. — Пап, давай сделаем темно? Совсем, совсем темно!

— Ну, валяй, действуй... Давай.

— Вот так! — она нырнула с головой под одеяло, затихла там и позвала: — Тебе тоже темно? Совсем, совсем? Тогда давай говорить. Давай?

— Ну, говори, я слушаю... Говори.

— Пап, — доносилось из-под одеяла, — а дядя Вадим, он кто? Он дурак, да?

— Ну, ты уж сразу... Так нельзя. Нехорошо.

— Нет, дурак! — Она сердито вынырнула из-под одеяла. — Зачем он меня все время щелкает в живот? Позовет и щелкнет, позовет и щелкнет.

— А, плюнь! Не обращай внимания.

Она затихла, как бы обдумывая житейский дружеский совет, затем опять позвала, но спокойно, кутаясь по горло в одеяльце.

— Пап, а почему когда большие падают, то им совсем не больно?

«Видно, с Софьей Казимировной у телевизора сидели!..» Вспомнил Решетникова с ногою, как бревно, и потрепал Маришку по головке.

— Всем, брат, больновато, всем. И большим, и маленьким.. Ну, будешь спать?

Ворочаясь и подтыкая одеяльце, Маришка обиженно проговорила в темноте:

— Вот и ты тоже: спать. А ты лучше спроси меня, спроси! Ну?

— Да я пожалуйста! Что хочешь...

— Нет, ты спроси: а не хочу ли я конфетку?

— Постой!— Он вспомнил апельсины в сумке и вскочил.— У меня получше есть. Постой!

— Только тих-хо!..— зашипела на него Маришка, отбрасывая одеяльце и садясь в постели.

Он спохватился тоже и на цыпочках, балансируя руками, направился к двери.

— Да тише ты... как слон!— командовала вслед ему Маришка.— Сейчас как баба Соня...

Но в тот момент, когда он крался, замирая, чтобы не скрипнуть половицей, дверь распахнулась настежь и Клавдия, картинно замерев в проеме, увидела и осудила все: его с лицом, захваченным врасплох, Маришку, свесившую ноги.

— Ну, вот!— Клавдия была зла, кипела в ней непзрасходованная на него досада.— Конечно, нашел себе компаньона по уму! Ко всему надо еще и из ребенка идиота сделать... Марина, ты наказана! Лежать!.. Как дурак какой-то, как болван — честное слово, ни зла, ни нервов не хватает! Перед людьми ведь стыдно, перед людьми! Уж ничего не требуют, не просят... но хоть какой-то разговор, хоть слово-то сказать ты в состоянии?

Прошелестела метнувшаяся с кухни Софья Казимировна, заняла свой пост у кровати. Она как будто и не слышала сердитых слов племянницы, но по лицу, по носу видно было, что мнение ее конечно же давно известно...

«Нет, это крест мой, наказание мое!» — сейчас войдет к гостям и скажет после ругани Клавдия, ну не скажет, так всем видом даст понять и в кресло плюхнется, напарит, схватит сигарету... Скачков, загородив собою все окно на кухне, в карманах руки, плечи сведены, качался, успокаивал себя, а между тем прекрасно представлял, как сунется к Клавдии тот же Звонарев, учтиво щелкнет зажигалкой, и, пока она, страдальчески пуская клубы в потолок, будет молчать, качать ногой и стряхивать куда попало пепел, компания заделикатничает и притихнет, но в том молчании, в коротких переглядываниях, вздохах будет давнишнее сочувствие хозяйке.

«Войти разве, сказать, чтоб к черту по домам?.. Вот будет номер!» — он усмехнулся и вынул из карманов руки. А что? Только спокойно надо, без истерики — войти, остановиться похозяйски и ровно, голосом усталым, быть может, потянуть-

ся даже и зевнуть... Ну, тут, конечно, Клавдия взовьется, однако — не беда: матч должен состояться при любой погоде! Тут важно появиться на пороге и сказать, — это как первый выход в основном составе, как первый гол...

Он откачнулся от окна, прислушался: ага, опять загомонили! Ну что ж... И тем же шагом, как привык вести команду, цепочку дружных, сыгранных ребят, направился решительно и твердо, будто заранее настраиваясь на игру, которую вельзя проигрывать ни при какой погоде.

1966 г.



ЕЗДОВОЙ ЗЮЗИН

1

Наступление, так стремительно начавшееся, внезапно приостановилось, и глубокие тылы, свернув с больших магистралей войны, по которым с прежней силой катился поток вливающих в прорыв войск, расположились в лесочках, балках, на полянах и за несколько дней врылись в землю, устроились хозяйственно, покойно. Неподалеку от обозников и мастерских оказались блиндажи трибунала, и кто-то из ездовых, кажется степенный, медлительный Мосев, сумел разузнать, что там, впереди, дела наши очень хороши, взяты Купянск и Харьков и что неожиданная остановка, падо полагать, вызвана накоплением сил перед новым броском.

В один из первых дней отдыха Степан Степанович Зюзин, горбатенький, мешковатый ездовой, возвратившись из поездки, привез с собой девушку-санитарку.

Только что прошел тихий теплый дождь, стоял серенький парной денек. Недавно проложенная в лесу дорога раскисла, и Зюзин, путаясь в грязьких полах мокрой тяжелой шинели, поспешал сбоку телеги и, где надо, помогал измученной ло-

шади. За всю дорогу он ни разу не пытался разговориться со своей попутчицей, и только однажды, когда лошадь сорвалась передними копытами на скользком глиняном бугре, упала и ударилась оскаленной мордой в землю, Зюзин помог ей подняться, ослабил супонь, чтобы дать передохнуть, и отошел к телеге, где, накрывшись плащ-палаткой, молчаливо сидела девушка.

Длинная, не по росту, шинель сидела на Зюзине коробом, заношенная, вконец размокшая пилотка налезала на уши. Он понимал, что неказист на вид, и поэтому не лез девушке на глаза, не набивался на разговор. Но он слышал, что девушка списана к ним в тыловое хозяйство по распоряжению самого майора Стрешнева, догадывался, отчего могла случиться такая немилость, жалел девушку и считал своим долгом хоть как-нибудь ободрить ее, утешить. У них в обозе тоже люди, — не одни кони. И ничего, что старики, — со стариками спокойнее, надежнее. Ну, а если что, так рядом, в соседях у них, трибунал, там такие ли молодцеватые офицеры. А если насчет музыки, то лучшего музыканта, чем Петька Салов, не сыскать — как возьмет вечером свою тальянку, как развернет: соловьи заслушиваются!..

Однако ничего этого Зюзин сказать не решился. Горбатенький, с налезшим на затылок воротником шинели, он потоптался, украдкой поглядел на вытянутые из-под плащ-палатки круглые крепкие ноги сачитарки и, смущенно потирая слабые, очень большие ладони свои, пробормотал:

— Сапожки на вас... словно на колодочке сидят.

Девушка сумрачно взглянула на свои щегольские, забрызганные грязью сапожки, несколько раз стукнула носок о носок, но на Зюзина даже не подняла глаз. И он смешался окончательно, отошел и заторопил, запонукал лошадь...

До места они добрались перед вечером. За лесом, за неширокой, но очень беспокойной рекой, через которую тылы переправились третьего дня, розовело на закате чисто промытое небо, — к хорошей устойчивой погоде. Пока Зюзин распрягал, девушка отбросила залубеневшую от дождя плащ-палатку и прыгнула на землю. Оказалась она невысокого роста, крепкая, ладная, в туго сидевшей на ней форме. Привычным движением поправила каким-то чудом державшуюся на волосах пилотку, огляделась с холодным, нарочито безразличным ко всему выражением на круглом, очень чистом лице.

— Дядя Мосев, — позвал Зюзин тонким высоким голосом, — лейтенант где?

Лейтенантом он звал младшего лейтенанта Худолеева,

жившего в отдельной землянке. Тихий, страдавший какой-то давней застарелой болезнью, Худолеев все свободное время сидел в землянке и подолгу, обстоятельно писал домой письма...

Девушка оправила под ремнем гимнастерку и, глядя прямо перед собой, пошла в указанную землянку. Зюзин засмотрелся было ей вслед, но запаленная лошадь все мотала и мотала головой, брэнча удилами,— она словно подгоняла Зюзина потопиться.

Неряшливый, заросший бородой Мосев и сидевший рядом с ним в гимнастерке распояской Петька Салов, гладкий нагловатый парень с каким-то кошачьим текучим взглядом, проводили девушку глазами до самого входа в худолеевскую землянку.

— Икрistaa, — с удовольствием сказал лохматый Мосев, сквозь махорочный дым наблюдая, как узкая юбка облегает при ходьбе ноги санитарки. Петька промолчал и снова раскрыл книгу, которую читал Мосеву до приезда Зюзина. Это был «Еврей Зюсс», зачитанный Петькой до дыр. Любовные успехи фейхтвангеровского героя настолько запали Петьке в душу, что он уже не мог смаковать любимые страницы в одиночку и нашел в лице Мосева благодарного слушателя.

— Ловко, — лениво говорил Мосев, как обычно щуря глаза и застилаясь тяжелым махорочным дымом. — Ловко он их оформлял.

— У нас в ресторане директор был, — вспоминал Петька. — И молодой вроде еще, но на баб на этих он и смотреть не хотел. А уж баб-то было! И каждая — пожалуйста!

— Баба бабе — рознь! — строго сказал вдруг Мосев и цигаркой как бы поставил в воздухе утвердительный знак, — дескать, это понимать надо. Петька знал странную манеру Мосева перескакивать в разговоре с одного на другое и, не удивляясь, гнул свое:

— Так вот я тебе об этом и говорю... Бывало, возьмешь какую-нибудь... уж такую стерву, что пробы ставить негде. И смешно: «Давай, говорит, не сразу, давай, говорит, как у людей...» А другая попадется — ну совсем еще кутенок. И тоже смех. «Давай, говорит, скорей, скорей!..» Бойтся она, что ли, хрен ее знает.

— А бабенка-то... — Мосев кивнул косматой головой в сторону худолеевской землянки и все дымил, не отрывал цигарки от губ, щурил глубоко посаженные глаза. — Как орешек.

Петька притворно зевнул:

— А, все они одинаковые.

— Надо будет спросить, кто такая.— И Мосев позвал Зюзина:— Степаныч... слышь, Степаныч! Поди-ка на час.

Зюзин догадывался, о чем его станут расспрашивать, и заранее настроился враждебно ко всему, что коснется девушки. Особенно недолюбливал он Петьку за бесстыдные его рассказы о женщинах. «Скажу, что ничего не знаю»,— решил он, направляясь к Мосеву и Петьке. Но тут глуховатый голос Худолеева позвал Зюзина в землянку.

2

С появлением Шурочки, так звали санитарку, жизнь обозников пошла совершенно иначе. Прежде всего, младший лейтенант Худолеев, вызвав Зюзина, попросил его взять над девушкой шефство; приказывать Худолеев не мог привыкнуть и распоряжения отдавал просительным тоном.

— Ты, Зюзин, о земляночке для нее подумай. Отдельной. Пока у нас тут мирное дело, мы ее телефонисточкой пристроим. А телефонистке, сам понимаешь, ни сна, ни покою. Значит, устроить надо так, чтобы... Понимаешь? Ну, и прочее...

Девушка стояла тут же, и в сумраке землянки она показалась Зюзину еще красивей, еще недоступней, чем в тот миг, когда он увидел ее впервые. Зюзин подумал, что нет, не зря, видно, обратил на нее свое избалованное око знаменитый майор Стрешнев. И ведь молодец, видать, отшила Стрешнева.

Зюзин был счастлив, что заботу о Шурочке командир поручает ему, и заранее прикидывал в уме, как он все устроит для нее. «И пусть только кто-нибудь сунется! Петька этот... Да и Мосев хорош. Старый козел!»

Молоденькая санитарка поразила воображение не одного только Зюзина. Худолеев, прежде чем отпустить ее из землянки, долго и сбивчиво наказывал Зюзину о каких-то пустяках, почему-то несколько раз повторил об одном и том же: что забот у телефонистки почти не будет никаких,— смешно сказать, какой у них туг узел связи!.. Девушка, устав от напряжения, встала вольнее, переступила плотно сомкнутыми ногами.

Когда Зюзин и санитарка ушли, Худолеев несколько минут теребил намотанный на шею шарф, бездумно смотрел на семейную фотографию, где он сам в новом пиджаке и застегнутой доверху рубашке был снят с худенькой, удивленно застывшей женой; Худолеев как сейчас помнил, что сфотографироваться собирались недели полторы и жена сумела-таки упротить избалованную районную модистку, чтобы поторопилась

с новым платьем... Худолеев вздохнул, покосился на дверь, в которую только что вышли красивая санитарка в ловко подогнанной форме и неряшливый, куль кулем, солдат, и принялся за прерванное письмо.

Устраивая девушку, Зюзин хлопотал самозабвенно. Он сердито отмахивался от помощи и больше всего боялся, как бы кто-нибудь из солдат не вздумал вышучивать его при Шурочке. «Со своими словечками... Разве поймут они!» Но ему никто не мешал, и самым приятным было то, что главный противник, которого он более всего опасался, Петька Салов, не обращал на санитарку никакого внимания. За все время, пока Зюзин устраивал девушку, Петька ни разу не взглянул в ее сторону. Едва выдавалась свободная минута, он брал свою тальянку и уходил куда нибудь подальше. Правда, играл он в эти дни как никогда раньше, его игрой заслушивались даже суровые, нелюдимые солдаты комендантского взвода. Слушала и Шурочка, наблюдая, как работает расторопный и счастливый Зюзин. Как-то она не удержалась и похвалила:

— Хорошо играет! Но смешной какой-то, странный...

— Музыкант.— Зюзин утомленно разогнулся и, улыбаясь кроткой и доброй улыбкой, утер воспаленное лицо. Он прислушался к грустным, доносившимся из березника на берегу реки звукам тальянки и покивал головой:— Хорошо. Так за душу и берет. Правда?

Поймав на себе ее взгляд, Зюзин смутился. Шурочка, удивившись тому, как он вспыхнул, впервые обратила внимание, какое тонкое, необыкновенно прозрачное и светлое у него лицо. «Как портит человека уродство! Ведь совсем еще... и не старый». В больших прищуренных глазах солдата плескалась с трудом сдерживаемая нежность, и Шурочке, только что думавшей о странном гармонисте, который почему-то упрямо не хотел замечать ее присутствия, стало неловко. Она опустила глаза и, задумчиво покусывая губу, бесцельно постучала плотно сидевшими на ногах сапожками.

Поодаль на бугорке сидел, как всегда распатлаченный, Мосев и, не отнимая от губ цигарки, немилосердно дымил. Он догадывался, почему это вдруг Петька забросил чтение любимой книжки и с таким самозабвением ударился в музыку. Сквозь махорочную завесу Мосев молча смотрел на все, что происходило вокруг, трезвыми холодными глазами старого ерника и, казалось, заранее знал, чем все кончится. Он видел счастливые хлопоты Зюзина, замечал, как скучает и день ото дня все более интересуется музыкантом санитарка, мысленно хвалил пройдоху Петьку и жалел горбуна.

А Зюзин, видя, что его опасения насчет Петьки не оправдались, был благодарен ему за такую щедрость и простодушно прощал все обиды и насмешки.

С Зюзиным Шурочка скоро свыклась настолько, что стала рассказывать ему о себе, и он, на доверие готовый ответить удештеренным откровением, открыл ей себя всего — наизнанку. Поведал даже о том, о чем никто не знал и не догадывался. Был он до войны дамским сапожником, удивительным мастером своего дела: шил только на заказ...

— Так трудно же вам в обозе! — чистосердечно пожалела Шурочка, не догадываясь, что это больно ранит его. — Шли бы лучше в пошивочную.

Но он готов был простить ей и не такое.

— В пошивочную, Шурочка, меня с руками возьмут. Только заикнись. Но я зарок себе дал до конца войны... — И понимал к ней прозрачное, одухотворенное лицо свое. — И потому — мечту я имел одну, Шурочка. Эх. было у меня одно дело! Как сейчас в руках держу... — И понурился, умолкал, с тайной мыслью, чтобы заинтересовалась, попросила рассказать.

В темноте из березника показался неясный силуэт человека, приблизился к Мосеву, — и скоро два светлячка сигарок зачертили по воздуху, выдавая спокойный разговор курильщиков. Потом силуэт отделился от Мосева и скрылся в землянке. Шурочка проводила его глазами и поднялась.

— Ладно, Степан Степаныч, завтра расскажете. Мне идти надо. Сколько можно прохладиться. А то начальство смотрит, смотрит, да и скажет.

— И то, — согласился Зюзин, тоже собиравшись.

Назавтра ему выпало стоять в карауле. Одетый по форме, с полной выкладкой, серьезный и чуточку для всех отчужденный, он ходил в отведенном месте с винтовкой наперевес. Вооружены обозники были кто винтовками, кто автоматами, но Худолеев установил правило, чтобы в карауле стояли только с винтовкой...

Рано утром запряг и уехал Мосев. Проезжая мимо Зюзина, он хотел было попросить прикурить, но вовремя вспомнил, что, несмотря на свою мягкотелость, Худолеев не простил бы часовому такой вольности, — чтобы не казаться сугубо гражданским человеком, младший лейтенант неумело строжился и взыскивал за малейшие вольности, нарушавшие, как ему казалось, монолитный уклад страшноватой и зачастую непонятной ему военной жизни... Зюзин несколько раз видел, как про-

бегала куда-то Шурочка, он радовался ей издали и с нетерпением ожидал вечера, когда освободится совсем.

Вечером сменившегося Зюзина зазвал к себе Худолеев и, сильно смущаясь, стал показывать вконец развалившийся сапог. Зюзин охотно вызвался починить,— за работой, думалось ему, он удобней пристроится где-нибудь рядом с Шурочкой и, слово за слово, скоротает в разговоре приятный вечерок. Сколько их, таких вот тихих, совсем не военных вечеров, осталось им? Совсем мало, не сегодня-завтра снова оживет фронт и — прости-прощай насиженное местечко!..

Уже стемнело, когда вернулся из поездки Мосев. Он долго распрягал, без нужды дергая и крича на лошадь,— не любили лошади Мосева. Потом он, усталый, изломанный дорогой, подошел и подсел к тихо разговаривавшим Зюзину и Шурочке.

Зюзин с ремешком на волосах пристроился на пеньке и, привычно согнувшись над сапогом, ловко орудовал проворными тонкими руками. Закусив зубами конец дратвы, он чутко шарил пальцами внутри сапога, ловя острое жальце шила. Глаза его щурились, словно он прислушивался, как шило прокалывает изношенную на дорогах войны кожу солдатского сапога. Но вот палец наткнулся на острие, в проколотое отверстие продевались усики дратвы, и Зюзин раздергивал концы широко и уверенно, с наторелостью бывалого мастера. Смотреть на его работу было приятно, как на что-то дорогое, по чему за бесполезное время войны изболелось мужское сердце, истосковались руки.

Мосев, настраиваясь все более благодушно, подсел еще ближе. Подошел кто-то еще и еще... Зюзин сознавал, что сейчас он в центре внимания, и это было на самом деле, потому что все молчали даже тогда, когда он, чтобы освободить руки, закусывал зубами концы дратвы и умолкал. Все молчали, смотрели на его ловкие руки и ждали, когда он снова заговорит.

— Я, Шурочка,— продолжал Зюзин, едва вынимая из рта дратву,— я был в городе человек известный. Мою работу узнавали по руке. А в нашем деле...— он снова неуловимым движением заправил в рот концы дратвы и на минуту замолчал.— А в нашем деле это, если кто понимает, значит многое. Я, например, работал с выбором, и если кому отказывал, так тот человек не обижался, а просился подождать...

Он замолчал неожиданно надолго,— что-то слишком долго шарил внутри сапога. Мосев уважительно произнес:

— Рука у тебя хорошая. Это видно.

— С детства на этом,— не без гордости отозвался Зюзин,

справившись с заминкой. Он рассказывал как бы для Шурочки, но видел, что слушают все.— А посчитай-ка, сколько я за это время обуви пропустил через них!— и Зюзин покачал перед собой белевшими в темноте руками.

— По сапогам ударял или фасонную работал?— заинтересованно спросил Мосев, все больше влезая в разговор.

— Не-ет, дядя Мосев,— с неким удовлетворением протянул Зюзин.— Я по женской части был, вот по какой!

Мосев, как бы признавая неоспоримое превосходство Зюзина, одобрительно крикнул.

— Да-а... И вот по этой самой своей профессии я имел, прямо сказать, очень интересные приключения,— стал рассказывать Зюзин, явно любясь собственным слогом и по-прежнему часто замолкая, когда надо было орудовать шилом.— Стали как-то снимать в нашем городе кино, и возникло по этой причине у нас невиданное возбуждение.. Да, а особенно досталось мне, потому что приходится однажды ко мне в мастерскую артистка, и артистка такая, что ее знают не только у нас в городе, но и во всем Союзе... И вот приходит она ко мне и говорит...

Внезапно Зюзин насторожился и быстро оглянулся. Недалеко от Шурочки, еле видимый в темноте, сидел на траве Петька Салов со своей неизменной тальянкой на коленях. Когда он подошел и сел — никто не заметил. Зюзин смешался. Рассказывать при Петьке ему не хотелось,— не для него он берег столько времени эту так крепко легшую ему на сердце заветную историю. Однако в конце концов он пересилил себя и заговорил вновь, а потом рассудил, что присутствие Петьки даже к лучшему,— пусть-ка попробует посмеяться, здесь Шурочка, она поймет, рассудит и оценит их по-своему. И ему даже захотелось, чтобы Петька непременно что-нибудь ляпнул,— тогда Шурочка сама убедилась бы, какой он на самом деле, этот гладкий и здоровый как битюг гармонист.

— В общем, попросила она сшить ей туфли, и такие туфли, чтобы можно было в них сниматься в кино. Никогда у меня еще такого заказа не бывало!..— Постепенно Зюзин увлекся, и недавняя скованность его пропала.— Пришла она ко мне уже под вечер, говорит, что весь день снималась и так устала — рук не могу поднять. Большой привлекательности женщина! И верно, уста-алая такая... «Да вы, говорю, прилягте вот сюда, не побрезгуйте». — «Спасибо», — говорит и ложится. Да, ложится! А я... я, конечно, тут же, возле нее кручусь. «Может, говорю, чайку? Так я сейчас к соседке...» — «Нет, нет, говорит, вы лучше присядьте. Я сейчас отдохну да пойду». При-

сел я тогда на табуреточку, держусь на самом краешке, а она берет меня вот так за руку...— Зюзин, увлекшись, смело взял Шурочкину руку и подержал в своей.— Берет она меня и говорит: «Как, говорит, все-таки мало нам надо...» И я до сих пор не знаю, о чем это она тогда говорила, но с того дня, что бы потом о ней ни рассказывали, я ничему не верил. Как снежинка она показалась мне чистой... или еще лучше — как звезда. Я одно время так звездочкой ее и звал,— признался Зюзин.— А туфли я собирался ей сделать царские. Чтобы нога в них была как березка нарядная. Но... война. Как сапогом на все наступила... А заготовки у меня лежат. Лежа-ат! Так что, Шурочка, приезжайте после войны, я вам эти царские туфли и подарю.

Возбужденный собственным рассказом, Зюзин совсем забыл о присутствии насмешника Петьки. Однако — странное дело!— Петька промолчал: словно и не слышал. «И зачем он только пришел?— все же с досадой подумал Зюзин, переживая наступившее долгое молчание.— Как бы хорошо посидели! Мосев стал бы что-нибудь спрашивать, я б... Он ничего, оказывается, мужик, Мосев-то...»

Тихо, настолько тихо было вокруг, словно войны не было и в помине. И в этой чуткой тишине вдруг легким ласковым вздохом отозвалась тальянка. Не растягивая мехов, Петька еле слышно играл что-то, будто мурлыкал себе под нос. Петька играл долго и грустно. Солдаты словно догадывались, что сегодня ему нужно пересидеть всех, они поднимались и неслышно расходились. Последним встал и ушел Мосев.

Зюзин растерялся. Он сообразил, что сейчас здесь лишний и он, что лучше всего ему встать и тоже уйти, как ушли догадливые солдаты, как ушел более всех догадливый Мосев. Но какая же обида за свой рассказ поднялась в душе Зюзина! Ведь он так берег его, так на него рассчитывал!

Знакомый тусклый голос Худолеева несколько раз позвал Зюзина. Он поднялся и пошел, как ограбленный.

Никто не сказал ему ни слова.

Когда он вышел из худолеевской землянки, то увидел, что подходить ему больше не имеет смысла: Петька и Шурочка о чем-то разговаривали. Петька, время от времени трогая клавиши тальянки, что-то рассказывал. Шурочка прилично смеялась, не выказывая пока особенной заинтересованности. Так они говорили и посмеивались довольно долго. Зюзин извелся, наблюдая. Но вот Петька, о чем-то весело болтая, поднялся и подождал, пока встанет Шурочка. Не переставая рассказывать, Петька направился к реке, и Шурочка, будто сомнева-

ясь, медленно пошла за ним. Зюзин весь вытянулся и закос-
тенел. «Не ходи!» — хотелось закричать ему вслед беспечной
Шурочке, но тут он увидел, как девушка, от души рассмеяв-
шись, хлестнула за что-то Петьку по спине прутиком. Петька,
играясь, отбежал, подождал, — и они скрылись в березничке.

— Повел, — густо сказал сзади Мосев, и Зюзин, не обра-
чиваясь, увял, сник.

Вскоре из березничка на берегу реки донеслись звуки таль-
янки. Мосев попросил у Зюзина прикурить и в знак особого
к нему расположения сказал:

— Оформляет... Ловко он их, зараза. Грамотно, по книж-
ке работает. Нет, видно, правду рассказывал, как из-за него
одна травилась. Этот мо-ожет.

Зюзин не отозвался. Мосев зевнул раз, другой, потом раз-
зевался тягуче, вздохнул.

— Ну, пошли, что ли, на боковую, — позвал он. — Наше
с тобой дело такое: лучше переспать, чем недожрать.

И неизвестно почему, — скорее всего оттого, что узнал
Петькину остроту, а затем и представил себе всего Петьку,
уверенного, нахального, способного на все, — Зюзин задрожал,
задрожал и едва сдержался, чтобы не заплакать.

3

— Вот девки, вот заразы!.. — не то ругался, не то восхи-
щался Петькиной удалью Мосев, слушая его обстоятельный
рассказ о вчерашнем.

Зюзин, которого они, собираясь купаться, позвали с собой,
нарочно приотстал. Ему было стыдно слушать, как хвалятся
перед Мосевым Петька, стыдно за доверчивую Шурочку и за
самого себя: почему Петька не стесняется рассказывать при
нем? Охотнее всего он сейчас повернул бы обратно, разыскал
бы Шурочку и поговорил с ней, убедил ее, а если надо, и уте-
шил бы. Не надо, ах не надо было связываться ей с этим
Петькой, послушала бы она, что он плетет!.. Ему подумалось,
что Шурочка сидит сейчас одна-одинешенька, вся в слезах и
со стыдом переживает вчерашнее. «А может быть, ничего
еще и не случилось? Может, все это врет Петька?..» От вне-
запно пришедшего на ум сомнения Зюзину стало так легко,
что он совсем собрался вернуться, но в это время Мосев и
Петька оглянулись и удивились, как далеко он отстал.

Мосев купаться не стал. Он разулся, расстелил на песке
портянки и, стянув гимнастерку, почесывал гладкие бока,
похлопывал себя по груди, — нежился Зато Петька, разбежав-

инсь, бросился в воду и вынырнул на самой середине реки. Он долго плавал, хлопал руками по воде и громко гоготал. Перейдя на другой берег, Петька наломал тальянку и сплел венчок. С венком на голове, весь тугой, налитый здоровьем и силой, он, не стыдясь, бежал по берегу и задирал блаженствующего Мосева. Тот лениво отмахивался и гнал Петьку от портянок,— чтобы не замочил.

Пока Петька плавал, Зюзин торопливо разделся и, стыдясь своей немошной наготы, пеловко полез в воду. Дремучий взгляд Мосева равнодушно скользнул по его острому, туго обтянутому кожей горбу, по тонким, безжизненным белым рукам... Плавал Зюзин плохо,— наберет воздуха и, вытаращив глаза, сделает десять — пятнадцать судорожных взмахов. Глубины он боялся и держался возле берега. Когда Петька приставал к Мосеву, Зюзин стоял в воде, поливал свои бледные слабые плечи и смотрел, смотрел, какой Петька бесстыдный, ловкий и здоровый.

Шурочка увидела мужчин неожиданно. Она шла купаться и еще издали услыхала, как кто-то, неистово колотя по воде, кричит на реке ликующим голосом здорового животного. Осторожно пробравшись сквозь заросли к берегу, Шурочка глянула вниз и залилась краской: Петька, голый, неумно-задорный, с венком на голове похожий на сатира, гонялся по песку за Зюзиным. Горбун, нелепо взмахивая длинными руками, убегал от него, как диковинная неуклюжая птица. Петька догнал его, ловко свалил на песок и, придавив коленом, стал что-то кричать Мосеву, ловя отбивающегося Зюзина за руки и отчаянно хохоча. Шурочке не было слышно, что кричал Петька, но она, по-прежнему краснея, ругая себя и все же не находя сил отвернуться и уйти, продолжала смотреть и улыбаться, пока хохотал, забавляясь с Зюзиным, голый Петька...

Встретила она возвращавшихся с купания мужчин на таком отдалении от берега, что нельзя было заподозрить, подсматривала ли она за ними. Петька с мокрым венком на голове шел без гимнастерки, на его сытом теле еще сверкали капельки воды. Зюзин, невысокий, издали похожий на подростка с сильно поднятыми плечами, не застегнул просторного воротника и с удовольствием подставлял солнцу худые ключицы. Волосы из-под его пилотки свешивались мокрыми прямыми прядями. Было жарко, пересыхала и сильно пахла высокая густая трава. Шурочка, сбивая прутиком белые головки кашки, стояла в тени шелестевшей березки и глядела на сильное тело подходившего Петьки.

— Купаться?— спросил он, и глаза его неуловимо быстро

обежали ее всю, остановились на нежном клинышке шеп в ворота гимнастерки. Зардевшись, не зная, как он встретит ее после вчерашнего, Шурочка робко кивнула. Глаза ее лучились, и по одному этому ее взгляду ревниво следивший Зюзин понял все. «Зря я, зря...» — неизвестно за что стал ругать он себя. А тут еще Петька, неожиданно расхохотавшись, принялся рассказывать, как он вырыл в песке ямку и пытался уложить горбом в нее Зюзина... Словно жаром окатило Зюзина! Он мучительно поднял нестерпимо огромные, молящие глаза на Шурочку, но она совсем не замечала его, она смотрела на Петьку и смеялась над его хвастливым рассказом.

И только солидный Мосев остановил жадного до дешевых развлечений Петьку:

— Ладно, ладно тебе. Заладила сорока про Якова. Мало ли, что меж мужиками бывает...

Петька умолк, беспечно отвернулся и, крепко обняв Шурочку, уверенно повел ее впереди всех назад, к землянкам. Она схватила его руку, чтобы отвести, но так и не отвела и сначала как бы через силу, а потом охотно пошла с ним рядом. Зюзин шагал за ними, стараясь не смотреть, как Петька обнимает Шурочку, а она все еще держит его руку, но ненавистная гладкая спина, на которой билась зеленая мокрая веточка из надетого набекрень венка, все время была перед его глазами...

— Что-то застряли наши впереди, — попытался завести с ним серьезный разговор Мосев. — Поговаривают, как бы чего не приключилось.

И хотя Зюзин ничего не ответил, но участие Мосева согрело его, он продохнул глубже, как бы отрешаясь от чего-то, а в лагере постарался ничего не видеть и не слышать и, едва представилась возможность, забился от всех и пробыл в одиночестве до самого вечера.

...Сквозь дрему Зюзин слышал звуки тальянки — и ему казалось, что он, молодой, ловкий, быстроногий, играет с девушками на лугу. Парни уже все устали, повалились на траву, и только он никак не утомится, нет ему усталости. Девушкам это нравится, они кричат уставшим парням что-то обидное и снова пускаются с Зюзиным наперегонки. Но убежать от него невозможно, он быстро ловит их, и они, горячие, ясноглазые, трепещут в его сильных руках. Особенно одна из них очень приятна Зюзину. Она нарочно попадаетея ему в руки чаще других, и он все смелей заглядывает в ее глаза, все сильней и уверенней прижимает ее молодое задорное тело...

Зюзин открыл глаза и несколько минут лежал бездумно.

Постепенно очарование сна прошло, он ясно услышал голос Худолеева, говорившего, что закончилась их спокойная жизнь,— завтра вперед. Зюзин сразу представил себе разбитые дороги, а то и развороченное бездорожье, натужные, срывающиеся ноги лошадей, насадную маету ездовых и, странное дело, почувствовал облегчение. За заботами, за усталостью, думалось ему, быстрее забудется все.

Он поднялся и поморщился от боли,— спал он неудобно, на спине. «Но ничего, теперь уж не до сна будет».

Был вечер, удивительно тихий и теплый. Ездовые курили и скупыми словами обсуждали сообщение Худолеева. Зюзин подошел ближе, на него посмотрел только Худолеев, кутавшийся в накиннутую на плечи шинель. Зюзин обратил внимание, что Шурочка сидела одна, Петьки нигде не было видно. Удивляясь тому, как это у него произошло, Зюзин подошел и сел рядом с Шурочкой, о чем-то спросил ее. Она ответила ему очень охотно,— лучше даже, сердечнее, чем раньше, когда он устраивал ее жилье. В сумерках лицо Шурочки показалось ему таким родным и доступным, что в груди его сладко отозвалось: уж не она ли пригрезилась ему во сне?

Густой, прокуренный голос Мосева произнес:

— Значит, опять ломать лошадей...

Худолеев отозвался неуверенным слабым тенорком:

— Пока сказали так. Может, еще какие распоряжения будут...

Мосев неожиданно, как это часто бывало у него в разговоре, сказал:

— Дома, на задах, у меня банька стоит. И каменка же!.. Во сне почему-то стал часто видеть.

Где-то в стороне подала тонкий певучий голос тальянка. Все повернули головы. Трогая клавиши инструмента, медленно подходил Петька. Зюзин почувствовал, как подобралась, насторожилась Шурочка. «Ждала...» Петька подошел, развязно отставил ногу.

— Ну что, зазнобушка, пойдем, что ли. Поиграю тебе напоследок. Завтра, думаю, не до этого будет.

Зюзин весь похолодел,— настолько это показалось ему вызывающе бесстыдным. Смешалась и Шурочка.

— Поиграл бы здесь. Куда идти...

— Здравствуйте!— уязвленно усмехнулся Петька, знал, что сейчас ему никак нельзя посрамить своего молодчества.— Пошли, пошли. Чего еще!

И, не давая ей сказать, он повернулся и пошел. Зюзин сбоку наблюдал за Шурочкой. На лице ее были стыд и отчаяние,

она несколько раз подняла и опустила голову. Петька уходил, не оглядываясь. На его сильном плече чернел ремень тальянки, он шел и наигрывал... Внезапно Шурочка решилась, — вскочила и, путаясь ногами в траве, мелко-мелко заспешила вслед за Петькой. Смотреть, как она с опущенной головой догоняла его, было нехорошо. Вот она догнала, коснулась его руки и что-то сказала, заглядывая в лицо. Петька, не переставая наигрывать, продолжал идти все тем же уверенным, ровным шагом. И все увидели, что Шурочка смирилась — молча и покорно пошла рядом.

— Вот как их, сучек, надо! — желчно хохотнул кто-то из ездových.

Заворочался Худолеев, надежнее запахиваясь в шинель, вздохнул:

— Молодежь пошла... И что только из нее будет!

— Война, мужички, война, — с позевотой произнес мирный голос. — С нами-то еще незнамо что будет, а бабам рожать да рожать придется.

Минуты через две — после того уже, как Худолеев, поднявшись, отдал кое-какие распоряжения, а Зюзин ушел на пост — ему сегодня выпало в ночь, — минуты через две лохматый Мосев, заволакиваясь махорочным дымом, мрачно усмехнулся:

— Да, а чудно глянуть бы на нас на всех после войны!

4

— Стой! Кто идет? — по-уставному строжась, крикнул Зюзин срывающимся фальцетом. Винтовку он неумело вскинул на руку.

Шаги приближались.

Зюзин снова крикнул в ночную лесную темь, на этот раз испуганно, и начал судорожно дергать затвор.

— Ладно, ладно тебе... Свои, — отозвался усталый голос Петьки.

Забыв опустить винтовку, Зюзин молча смотрел, как появились две фигуры и, прошелестев по влажной траве, прошли мимо него. Шурочка, зябко поводя плечами, мелко прошагала с опущенной головой. Зюзин потерянно потоптался, отошел в сторону. Ему вдруг подумалось, что сейчас он мог что-то изменить и не сообразил, не догадался... Но что он мог изменить? Каким образом?.. Нет, теперь ему уже ничего не изменить.

Скоро он стал различать тусклое мерцание склоненного

к земле штыка и понял, что светает. Стали мельчать звезды, неясно обозначаться верхушки деревьев. Далеко-далеко ему почудился мягкий гул канонады, и это напомнило, что сегодня они снимаются с места. Соберутся, тронутся — и все. Что-то еще будет потом...

Гул прокатывался в отдалении еле слышно, и Зюзин скоро привык к нему.

Утро занималось свежее, ясное; обильно пала роса. Сапоги Зюзина были мокры, но он ходил и ходил по непрямой дымчатой траве, оставляя позади себя неровный разбуженный след. Несколько раз он прошел мимо землянки Шурочки, — там было тихо. Зюзин вспомнил, как он хлопотал, как сердечно относился к нему тогда Шурочка и как вообще все могло быть чисто, просто, незамаранно. Он постоял, поднял кверху бледное лицо с похудевшими висками. В затылок уперся жесткий, торчмя стоявший воротник шинели. На лице Зюзина жили только огромные беспокойные глаза... Потом он решился и неслышно ступил на земляную ступеньку; их было три. Неожиданно зацепился за порожек штык, и винтовка больно поддала Зюзину под локоть. Он испуганно замер, но в землянке по-прежнему было тихо. Тогда он вошел.

В темной землянке стояла предраассветная, кидаящая в сон духота. Приглядевшись, он увидел Шурочку. Она спала не раздеваясь. Одна нога ее свесилась на земляной пол, юбка над коленом поднялась, но Зюзин, только отметив это, медленно наклонился к ее лицу. Шурочка спала беспокойно. По лицу ее пробегали короткие судороги, порой оно становилось жалким, просящим, — будто и во сне она вела какой-то неприятный разговор... Зюзин взял винтовку в другую руку, тонкими чуткими пальцами прикоснулся к завитку волос на лбу Шурочки, провел по беспокойным бровям. Во сне она резко повернула голову, Зюзин отдернул руку. Шурочка медленно разлепила глаза, с минуту сонно смотрела на замершего человека в шинели и с винтовкой. Потом сон слетел с нее, — Шурочка испугалась.

— Кто это? — она вскинулась, отпрянула к стенке... — Господи... Ну, чего тебе? Вот еще глупости-то... Шел бы лучше. Да иди, иди, а то еще увидят.

На его худое длинное лицо, в мерцавшие строгие глаза она старалась не смотреть.

Ей было неловко, снова одолевал сон, и она еще раз сказала, чтобы он уходил.

— Часовой! — раздался вдруг снаружи тревожный голос Худолсева. — Часовой, черт!

Зюзин вздрогнул. Шурочка раздраженно напустилась на него, — сон у нее прошел окончательно.

— Ну что? Говорила же... Вот теперь!.. Ух... зла не хватает!

Говорила она шепотом, лицо ее было неприятно.

Зюзин мешковато побежал из землянки.

Серый, измятый, плохо спавший ночь Худолеев топтался на том месте, где полагалось быть часовому. Увидев Зюзина, покачал головой:

— Зюзин, голова садовая, ты понимаешь, что делаешь? А? Да ведь тебя...

Но в покорно стоявшем солдате была такая великая степень побитости, что это заметил даже Худолеев. Он махнул рукой:

— Ладно уж... Но — смотри. Смот-ри у меня!

И, заворачиваясь плотнее в шинель, Худолеев ушел.

Зюзин прислонился к дереву, закинул голову. Страшная усталость навалилась на него, ему хотелось лечь, закрыть глаза и забыться, забыть обо всем, что происходит на этой жестокой земле.

Гул, еле слышимый на рассвете, все нарастал, и казалось, поэтому сегодня светает быстрее, чем когда-либо. Раньше положенного проснулся лагерь, забегали солдаты. В голосах людей, в ржании лошадей, в стуке повозок и звяке оружия — во всем разнозвучном шуме рано начавшегося дня было что-то беспокойное, подмывающе тревожное... Мосев, пришедший сменить Зюзина, долго вертел сигарку, сипел простуженным горлом и взглядывал на все острыми, ясными глазами человека, готового к любой неожиданности.

— Эх, и начинается же, видно!

И только Зюзину было все равно. Не обращая внимания на шум, хлопоты, беготню, он дотащился до землянки, из последних сил стянул шинель, неловко сунулся на нары и тут же провалился в глубокий сон...

Проснулся он, как показалось ему, очень скоро. Голова была тяжела, резало глаза, но время было не раннее. В землянку пробивалось солнце, было сухо и жарко, — Зюзин лениво откинул шинель. Он лежал немного и, пока лежал, старался припомнить что-то, — скорее всего, это было медленное возвращение в привычное бытие... Снаружи раздавались голоса, то и дело слышались взрывы хохота, — вероятно, хохот-то и разбудил его.

Опухший, неряшливый со сна, Зюзин показался из землянки. Его увидели и встретили единым веселым возгласом:

— Вот он!

Зюзин сначала не понял, что происходит, почему такой смех. Он подумал было, что, как обычно, развлекает всех Петька Салов, однако на этот раз у Петьки было крайне сконфуженное лицо и он оборонялся от насмешек изо всех сил. Подслеповато щурившегося от солнца Зюзина он ожег неприимимым взглядом... Постепенно Зюзин начал понимать, по какому случаю такое веселье,— речь шла о Шурочке и о нем, о том, как его застукал в землянке у санитарки младший лейтенант Худолеев. И чем яснее доходил до чего смысл происходящего, тем заостренней становились черты его опадавшего на глазах лица. Он словно вытянулся в гнев, подрос и стал прямее, а когда вскинул голову и надменно, величественно взглянул на всех, тотчас сами собой примолкли веселые ездовые и неловкая, грозовая установилась тишина. Что-то должно было случиться, скандальное, непоправимое,— и случилось бы, но в это время, треща моторами, над лесом пронеслась тройка кургузых штурмовиков с крестами на фюзеляжах. Это было так неожиданно, что люди, кто где был, повалились на землю. Нестерпимо высоким голосом что-то закричал сбросивший шпнель Худолеев... Над лесом заходила новая волна самолетов.

Не замечая сумятицы бегущих ездовых и рвавшихся на привязи лошадей, среди поднятой взрывами земли, оседавшей вместе с сорванными листьями, Зюзин ворвался в землянку Шурочки. Не в силах унять вздымавшуюся грудь, он стал на пороге, уперся в косяки. Шурочка, напуганная взрывами, треском самолетов, криками и беготней, прислушивалась ко всему и ничего не могла понять. Лицо ее было мокро от слез. Она не сразу узнала Зюзина, загородившего вход в землянку, а когда узнала, когда пришла в себя и вспомнила недавнюю обиду и свои слезы,— ярость, жгучая ненависть снова заговорили в ней. Не утирая слез, она уставилась на ворвавшегося Зюзина, задыхаясь от избытка ярости, от желания бросить ему в глаза самое больное, самое жгучее.

— Я же не хотел...— пробормотал Зюзин.

— Уйди!— задохнулась она и замолотила, неистово забарабанила кулаками по доскам.— Уйди!

Зюзин, пятясь, вышел из землянки и поплелся между деревьями. Очередная волна штурмовиков сыпанула на лагерь серию мелких бомб. Поправившиеся люди со страхом смотрели, как бредет под бомбежкой одинокий горбун.

— Ложись, дурак!— крикнул кто-то ему из-под телеги. Из-за деревьев выглядывал лохматый Мосев, звал Зюзина и показывал рукой: ложись, мол, ложись!..

Во время короткой передышки, когда прошел первый страх и люди стали соображать, что к чему, все услышали сильные взрывы в стороне, — это бомбили переправу.

— Товарищ командир! — позвал, выскакивая из-за дерева, Мосев. Но Худолеев и сам увидел, что к лагерю, прыгая на кочках, но тем не менее не сбавляя хода, несутся несколько штабных машин. Худолеев побежал было навстречу, однако угрожающий вой пикирующих самолетов заставил его прижаться к дереву. Снова там и сям запрыгали черные венчики разрывов, разметая и обезображивая все, что люди успели сделать за несколько дней мирной жизни. Оборвав повод, пронеслась обезумевшая лошадь. Брезент, закинутый на дерево, сорвался с ветки и накрыл неглубокую воронку. Инстинктивно прикрываясь рукой, Худолеев видел, как вспышкой взрыва опрокинуло телегу, как вскочил из-под телеги перепуганный Петька Салов и, не видя, не слыша, ничего не соображая, побежал, побежал сломя голову, пригибаясь низко-низко, почти хватаясь руками за землю. «Куда-а?» — застонал Худолеев. Петька бежал прямо на штабные машины.

Теперь уже не только Худолеев, но и все солдаты смотрели, что делает страх с Петькой. Штабные машины остановились, из передней вылез плечистый человек в солдатской каске и очень короткой плащ-палатке. Человек гневно смотрел на бегущего солдата. Петька неминуемо должен был сбить с ног человека в плащ-палатке, но властный, крепкий окрик заставил его взглянуть вперед себя. Петька остановился, разогнулся, от глаз его отлила муть ужаса. Он различил майорское звание человека в солдатской каске.

Это был майор Стрешнев со своим штабом.

Худолеев и попрятавшиеся кое-где солдаты видели, как майор еще раз прикрикнул на Петьку. Петька дернулся, вытянулся и застыл, как положено. Майор что-то коротко спросил, Петька торопливо показал в сторону землянки младшего лейтенанта Худолеева...

5

В тесной землянке майору не хватало места. Не снимая плащ-палатки, в надвинутой на самые брови каске, он стремительно шагал от стенки к стенке: три шага туда, три — обратно. Когда он поворачивался, взлетающие полы плащ-палатки задевали на столике рамку с фотографией, и Худолеев, улучив момент, незаметно положил ее стеклом вниз.

В землянку то и дело вбегали деловитые, подтянутые воен-

ные и обращались к Стрешневу. Майор сердился, что долго нет связи со штабом дивизии. Судя по тому, как устраивались приехавшие со Стрешневым, младший лейтенант Худолеев сделал вывод, что трогаться отсюда они собираются не скоро... В первый момент Худолеев заробел, подумав, что Стрешнев может увидеть Шурочку, — она как раз сидела у аппарата. Но майор только на мгновение задержал на ней свой командирский взгляд, потом невежливо отодвинул ее плечом и присел к аппарату сам. Однако связаться не удалось и ему, он, выругавшись, бросил трубку и снова принялся ходить.

Шурочка тем временем исчезла из землянки.

Короткий обзор обстановки, которым майор счел нужным поделиться с Худолеевым, сводился к следующему. Сегодня на рассвете мощными ударами противник взломал нашу оборону и двумя огромными щупальцами устремился в прорыв. Стремительное продвижение противника поставило под угрозу окружения большую группировку наших войск. Авиация бомбит не переставая переправы через реку, и вся масса выходящей из-под удара техники растекается по берегу в поисках удобных мест. Задача сейчас — узнать, не появился ли противник за рекой, навести переправы и...

— Пробиваться? — с надеждой спросил Худолеев.

— Держаться! — отрезал Стрешнев, продолжая ходить и задевая полами Худолеева, который из всех сил старался сжаться, чтобы не мешать. — Если есть прорыв — держать его. Если нет — прорвать и все равно держаться. Держаться, сколько можно! Скоро подойдут минометчики и легкие артдивизионы.

Худолеев, тревожно думая о случившемся, ждал распоряжений. Стрешнев внезапно остановился, взглянул на него из-под каски властными глазами:

— А паникер этот... На нем бы пушки возить! Кто таков?

Усердно заморгав от усилия сообразить, Худолеев не сразу догадался, что речь идет о Петьке Салове.

— Плавать умеет? — продолжал задавать вопросы Стрешнев.

— Плавает... Купались они часто.

— «Купались»? — фыркнул Стрешнев, вновь принимаясь рассказывать. — Ко мне!

Скоро прибежал бледный Петька и расторопно вытянулся у порога. Держался он заискивающе молодцевато. Стрешнев, глядя ему в переносицу, отрывисто продиктовал боевое задание. Худолеев видел, что от испуга Петька тянулся еще старательней и, чем яснее доходил до его сознания смысл слов

майора, тем обреченней стекленели его преданно выкаченные глаза...

— Все! Идите,— бросил Стрешнев.

Петька, обморочно бледный, суетливо вскинул к виску руку и повернулся.

— Возьмите с собой кого-нибудь для прикрытия. Ясно? Все!

Выскочив из командирской землянки, Петька долго не мог перевести дух. По-прежнему бледный, с прыгающими губами, он зачем-то снова и снова одергивал свою коротенькую щегольскую гимнастерку,— натягивал ее из последних сил. Наконец справился с волнением и быстро скинул взглядом всех, кто был рядом.

— Зюзин!— позвал он как можно тверже.

Горбун с готовностью вскочил.

— Зюзин!— выходя из себя, крикнул Петька.

— Я слушаю...— прошептал растерянно ездовой. Но Петька уже справился с припадком отчаяния. С полной осмысленностью он выполнил все, что было необходимо перед тем, как уйти в разведку, и коротко кивнул Зюзину:

— Пошли!

Их попробовала остановить Шурочка, пепельно-серая, непричесанная, растерявшая всю свою привлекательность. Она что-то хотела сказать, но Петька, будто не замечая ее, прошел и не оглянулся. Зато Зюзин оглядывался несколько раз, спотыкался, сбивался с шага и, спохватившись, бегом догонял уходившего Петьку...

Они шли той же дорогой, по которой ходили купаться. Зюзин старался идти рядом и в ногу, но Петька шагал так широко, что ему нет-нет да и приходилось подбегать. Едва они вышли из лагеря, Петька принял ряд предосторожностей. Прежде всего, он послал вперед Зюзина, а сам, поставив автомат на боевой взвод, пошел сзади. Зюзин ни о чем не спрашивал, не противился. Тревога его прошла, и он шагал по знакомой дороге так же спокойно, как и прежде... Недалеко от реки Петька заставил его лечь, лег сам, и они поползли. Ползать Зюзин не умел, ему было трудно, и, пока они добрались до берега, он взмок.

На берегу, в прохладных зарослях Зюзин с облегчением вздохнул. Ну вот, ничего страшного, все тихо и спокойно. Залитая солнцем река была и в самом деле безмятежно спокойна. Мирно плескалась у самого берега большая узловатая коряга.

Но вот вверху, над головами, послышался рокот самолета

тов, и несколько троек штурмовиков прошли близко над лесом. Они направлялись к переправе. Неловко задрал голову, Зюзин долго смотрел в ту сторону, куда скрылись самолеты со зловещими крестами. Взглянув на него, Петька заметил на белой слабой шее небольшое родимое пятно, и почему-то именно сейчас у него мелькнула мысль, что ведь и у Зюзина, надо полагать, была, а может, и теперь еще есть где-то мать...

— Полетели,— прошептал Зюзин, глотнув горлом, и стал смотреть на противоположный берег...

— Ну... давай,— проговорил Петька, избегая смотреть на напарника.

— Чего?— не понял Зюзин.

— Плыви. Чего еще?

— «Плыви»?— удивился Зюзин. Он пытался и никак не мог заглянуть Петьке в глаза.— Петя, я же...

— Да плыви, тебе говорят!— взъярился Петька, более всего злой на себя за то, что позволил себе расчувствоваться в такую неподходящую минуту.— Плыви, ну!.. Что тебе приказано? Плыви, бл...га! На фронте знаешь, что за неподчинение!

Зюзин дрожащими пальцами потербил на горле воротник гимнастерки.

— Лучше лезь, сволочь, не раздумывай!— все более ожесточался Петька.— Еще раздумывать он будет!..

И Зюзин подчинился, как привык всю жизнь подчиняться силе и громкому голосу.

Прижимая к себе автомат, он сполз с обрыва и нерешительно остановился у самой воды, с ужасом глядя на реку. Отсюда река показалась ему шире, быстроводней,— во много раз страшней, чем прежде.

— Корягу возьми, балда,— подсказывал сверху из кустов Петька.— Автомат смотри не намочи... Я тебя, если что, отсюда прикрою. Давай, давай, не раздумывай.

Сняв сапоги, Зюзин подумал и ничего больше снимать не стал. Он пристроил автомат в могучих сучьях коряги и стал заходить в воду. Пока было мелко, он толкал корягу перед собой. Но вот ему стало по пояс,— всплыла, развернувшись венчиком вокруг него, просторная гимнастерка. Он сделал еще несколько шагов и остановился, собираясь с духом... Петька, устав ждать, приподнялся, собираясь заругаться, но Зюзин решительно оттолкнулся и поплыл. Одной рукой он держался за корягу, другой неловко загребал. Его сильно сносило. Петька, наблюдая за ним с берега, ругался шепотом:

— Да не так же!.. У, уродина чертова!

Зюзин прибил к берегу далеко вниз. Петьке из своего укрытия было видно, как он, мокрый, в прилипшей к телу одежде, полез по пологому, заросшему тальником откосу наверх. Выбравшись, Зюзин постоял, огляделся.

— Ну же, ну!.. — подгонял его Петька, и Зюзин, словно повинуясь на расстоянии, медленно двинулся от реки. Он уходил все дальше, и скоро Петьке стала видна одна лишь его голова. Петька подождал еще немного, потом с облегчением полез за кисетом. «Ничего, видно, нет, — подумал он. — Сейчас вернется и... к черту». Он свернул сигарку, не спеша спрятал кисет. Спички долго не загорались, он сломал несколько штук. Ругаясь, взял сразу щепоть спичек и чиркнул коротко и зло. Брызнуло пламя, — и тотчас за рекой прокатилась гулкая трескучая очередь. Петька выровнил огонь.

Первое, что увидел он, — это суматошно бегущего по кустам Зюзина. Бежал он, как подумал краем сознания Петька, дурашливо, неумело, — весь на виду. Не пригибаясь, Зюзин ломился сквозь кустарник и, помогая, взмахивал руками. За его спиной виднелись двое в чужой зловещей форме, какую Петька встречал до сих пор только на пленных. Но если и раньше эта форма внушала Петьке опасения, то теперь, увидев ее на молчаливо бегущих в погоню солдатах, он заостенел, сжался, как будто чужие солдаты могли разглядеть его через реку.

Время от времени Зюзин оборачивался и, не целясь, пускал очередь в преследователей. Солдаты бросались на землю, Зюзин оставался один и снова продолжал продираться сквозь кусты. Но тогда поднимались солдаты... Зюзин был уже у края откоса, когда один из солдат вскинул к плечу короткий автомат. Петька оцепенел, когда увидел, что Зюзин вдруг нелепо вскинул руки, споткнулся и мешком покатился к воде.

— Ай-яй-яй-яй-й!.. — машинально запричитал Петька, проворно выбираясь на локтях из прибрежных зарослей. Он не видел, как Зюзин, срубленный очередью из автомата, извивался на песке, скреб и скреб слабеющей рукой, будто пытаясь плыть, пытаясь дотянуться до спасительной коряги... Петька был уже далеко от берега, когда позади, там, где была река и где он оставил Зюзина, снова заговорили железные голоса автоматов. Тогда он еще плотнее припал к земле, еще проворнее заработал локтями и коленями, а когда уже невмоготу стало от жары и удушливой пыли, когда боль в локтях и коленях пересилила страх, он поднялся и, измятый, грязный, шальной, побежал.

...Зюзин умирал. Его подобрала наша разведка, двигавшаяся по берегу от разбитой внизу переправы. Раненый лежал у самой воды, крепко вцепившись в спасительную, как ему казалось, корягу.

Шурочка накрыла Зюзина плащ-палаткой, он взял ее за руку горячими тонкими пальцами, и ей пришлось сесть, остаться у его изголовья. Она вглядывалась в его обескровленное лицо и время от времени морщилась, будто рокот и скрежет валивших лес танков и бесконечных колонн артиллерии, крики команды и разрывы на реке, где над наведенной переправой кружилась карусель штурмовиков,— будто весь этот хаотический и в то же время литой гул боя, спешки и неразберихи мешал ей смотреть в пышущее жаром, беспмятное лицо умирающего.

Лежал он неловко, и Шурочка осторожно подсунула ему под голову чей-то забытый вещмешок. В широко раскинутом вороте мокрой, очень потемневшей гимнастерки видна была вздымающаяся и надолго опадавшая грудь. Западали и сохли виски, жар пепелил губы и синими тенями обкладывал глазницы, но горячая рука раненого была по-прежнему цепка. Иногда сознание возвращалось к Зюзину, тогда он пытался разлепить веки, но не мог и только спрашивал:

— Вы... здесь?

— Лежите, лежите,— шептала Шурочка и, сильно смежив ресницы, движением головы стряхивала слезы.

Мимо них, прямо через лагерь, валил и валил поток торопливо выходящих из окружения войск. Все спешили к переправе, и никто не обращал внимания на разбитые повозки, развороченные блиндажи, на растерзанную, перевернутую землю. И только в землянке Худолеева, знала Шурочка, мечется у наспех поставленных телефонов вконец сорвавший голос майор Стрешнев, пытаясь внести в происходящее хоть какой-то порядок и стройность.

Зюзин задышал глубоко и часто, мучительно перекатил голову из стороны в сторону.

— Шурочка...— выдохнул он еле слышно.— Ах... я все хотел... Кабы не вы... кабы не вы...— и задышался от слабости, жара и беспмятства.

— Не надо, Степан Степаныч,— попросила, отжимая слезы, Шурочка и положила руку на горячий сухой лоб раненого. Но Зюзин заметался, он торопился что-то сказать и не мог,— задышался. Шурочка нагнулась к нему ближе и сквозь гул,

сквозь слитный грохот, заставлявший дрожать воздух, разобрала отрывистые, бессвязные слова:

— Снежинка... Звездочка... я же все хотел... я же сказать... Ах-х-х...— Он вдруг так потянулся, что Шурочка испугалась и закусила зубами пальцы свободной руки. Но это был еще не конец. Родимое пятнышко на его тонкой, мучительно напрягшейся шее поднялось и опустилось, Зюзин обмяк и задышал мелко, часто, снова беспамятно.

— Далеко не водить!— услышала она чрезмерно хриплый, сидевший, казалось, в самой глубине груди человека голос и по властному тону догадалась, что голос этот майора Стрешнева. Шурочка промакнула рукавом гимнастерки глаза, оглянулась и увидела странную группу: впереди, без ремня и с сложенными за спину руками, трудно шел удивительно непохожий на прежнего Петька. Мосев с каким-то аккуратным молоденьким солдатом конвоировали его.

— Слышишь?.. Не разгуливать!— снова сиплым, как бы простуженным голосом выкрикнул Стрешнев и скрылся по своим делам.

Петька увидел Шурочку и замедлил шаг, потом остановился совсем. Он очень изменился за это время,— совсем еще недавно налитый силой и здоровьем балагур и весельчак. Он смотрел на Шурочку и никак не мог отвести глаз. Взглянула и она на него, коротко и как бы свысока, и этот мимоходом брошенный взгляд просыхающих глаз санитарки больше всего сказал обреченному Петьке. Он задрожал челюстью, хотел что-то сказать, крикнуть перехваченным горлом, но Шурочка уже отвернулась, а суровый, молчаливый Мосев тронул его винтовкой по плечу и нелюдимо кивнул: пошли...

1959 г.



ПОСЛЕДНИЙ ГРЕХ СОЛДАТА

На последней лестничной площадке Красильников остановился и поставил чемодан. Высокая крепкая дверь на две половины была сплошь заляпана узкими бумажными полосками: вырезанные названия газет вокруг почтовой щели, а также уведомления, кому из жильцов сколько раз звонить. Впрочем, виднелась и старинная закрашенная табличка, на которой еле разбирались медные выдавленные буквы «С. Э. Ребиндеръ».

Прочитывая сверху вниз все, что было наляпано на дверях, Красильников нашел измызганную бумажку с отчетливыми, недавно подрисованными буквами: «Р. Музыкант. Звонить пять раз, стучать ногой и громко кричать Роза». Красильников рассмеялся и покрутил головой: надпись была как раз в духе рассказов покойного Пашки о своем веселом солнечном городе, не похожем, как он уверял, ни на один город в мире.

Красильников позвонил, внимательно считая, но ни стучать, ни звать не стал. Слышно было, как за дверью резко и требовательно раздавались трели звонка, однако никто не спе-

шил открыть. Красильников отступил на шаг, осматриваясь. Напротив точно такая же дверь была так же заляпана бумажными полосками. Дом был старинный, с холодными гулкими колодцами подъездов, и, судя по пестроте дверей, набит комнатами и комнатухами. У себя в Черемхове Красильников отвык от того, что можно уютиться в такой скученности. «Море их, что ли, держит?» — подумал он, удивляясь, почему здешний народ не уезжает в новые просторные города, где всегда рады свежему работающему человеку. Сам он моря еще не видел и, пока ехал, предвкушал, как оно впервые откроется ему: огромное, синее, играющее под солнцем, — по крайней мере так всегда рассказывал о море покойный Пашка.

Достав из кармана конверт, Красильников сверился по адресу. Нет, все правильно. По этому адресу он месяца полтора назад отправил небольшой перевод, и Роза ответила ему благодарственным письмом. «Неужели обязательно кричать?»

Он позвонил еще раз, не очень настойчиво нажимая кнопку, затем нерешительно пнул. Внизу двери, как он теперь разглядел, белело большое выбитое ногами пятно.

Послышались шаркающие сердитые шаги за дверью, и Красильников приготовился. Выглянул какой-то неопрятный человек в несвежей нижней рубашке и с голой грудью, брюзгливо осведомился: к кому? Красильников сказал, начиная сомневаться, правильно ли он попал. Человек рассердился и ткнул пальцем в длинный список уведомлений:

— Вы что, в школу не ходили? — и пошел, зашаркал шлепанцами, подтягивая сбоку сползающие пижамные брюки.

Дверь он оставил открытой, и Красильников вступил в темный, разнообразно пахнущий коридор. Конца коридора не было видно.

Не переставая ворчать, неопрятный человек по дороге куда-то коротко постучал, и тотчас в темноту упал свет, на пороге возникшей двери Красильников увидел женщину в халате и тоже в шлепанцах на босу ногу. Сильно щурясь, женщина вглядывалась, кто это пришел, и Красильников, сделав шаг, негромко кашлянул. В это время где-то в глубине бесконечно темного коридора раздался сильный шум спущенной воды, потом стукнула дверь и щелкнул выключатель. Мимо Красильникова проковыляла ветхая согнутая старушонка, одетая кое-как. Казалось, все в этой квартире одевались неопрятно и наспех, лишь бы прикрыться.

Красильников подождал, покуда не скрылась старушонка. — Я Розу просил.. Розу Музыкант, — деликатно начал он,

подаваясь поближе к свету и чувствуя любопытные, насто-
роженные уши за множеством невидимых в темноте дверей.—
Я, видите ли... Я — Красильников.— И подождал.— Не пом-
ните?

— Красильников?— Большое, когда-то очень красивое ли-
цо женщины нахмурилось, она все еще пыталась получше
разглядеть неожиданного гостя.— Ну и что, что Красильников?
Хотя постойте... Красильников.... Черемхово, да? Боже мой,
так что же вы стоите?— закричала она так, что во всей квар-
тире за дверями обозначилось радостное движение. Глаза ее
загорелись, она схватила его за рукав.— Что же вы стоите
тут? Олег, Олег... да подымись, злыдень, посмотри, кто при-
ехал?

И с этой минуты началось. Нет, Пашка правильно расска-
зывал о своей Розе: какой она была, такой оставалась и те-
перь. В поднявшейся суматохе Красильников совсем перестал
сознать, что с ним происходит. Он чувствовал какое-то при-
ятное бесконечное кружение,— кружилась и плыла голова,
и хорошо было на сердце. Появлялись из коридора все новые
люди, застенчивые, но любопытные, с остренькими глазками,
его знакомили с ними, и оказывалось, что люди эти знают,
слыхали о нем и с приятностью сообщали ему об этом. Роза
тем временем изменилась неузнаваемо. Она пошла, хлопо-
тала в чем-то ярком, праздничном, переливающимся, и, наблю-
дая ее радостное старание, Красильников ощущал пеловкость,
что очень уж долгожданным, очень приятным объявился он
гостем. Непривычно было, сильно не по себе. Значит, сообра-
жал он, постепенно обвыкаясь, письма его и остальное стано-
вились известны всей квартире, все здесь читалось и обсужда-
лось вместе — и вот результат.

Олега, Пашкиного сына, ему хотелось разглядеть получше,
посадить рядом, обнять и заговорить,— с этим намерением он
и ехал. Однако парень сначала вылез заспанный, косматый,
с голой худой шеей, не Пашкиной богатырской стати, потом
помелькал где-то в сторонке, не очень настойчиво интересуясь
гостем, а когда подошло время садиться за стол, чтобы, нако-
нец-то утихомирившись, разглядеть друг друга как следует,
чокнуться, посмотреть глаза в глаза, оказалось, что его уже
и след простыл,— убежал, как пояснила мать, на репетицию.
Красильников очень этому огорчился, но виду не подал. Лад-
но, потом повидаемся, потом поговорим. А разговор он пла-
нировал долгий и важный: Пашка, когда уж обмирал и знал,
что не жилец на свете, бормотал, шептал загибающими губа-
ми одно лишь сынишкино ласковое имя. Слышал это только

он, Красильников, и берег для будущей встречи,— даже в письмах не писал.

За стол уселись тесно, семейно, но многих, с кем его недавно знакомили, Красильников здесь не нашел. Видимо, только эти были Розе самой надежной подмогой в ее нелегкой вдовьей жизни. Красильников узнал старушку, проплывшую тенью мимо него в коридоре,— она сменила заношенный сапог на что-то простенькое и немаркое и сидела за столом тихо, стесняясь дотянуться до тарелок и вазочек, близко придвинутых к главному гостю. Сердитый мужчина, открывший Красильникову дверь, был в хорошей пиджачной паре и галстук-бабочкой. У него, когда он бывал расположен к человеку, оказывался актерский раскатистый голос и мягкие округлые движения,— как потом выяснилось, работал он администратором здешней филармонии. Роза, едва появился принаряженный администратор, так и представила его Красильникову:

— Это же дядя Ленья. Я писала вам. Да и Павел, конечно, рассказывал.

Да, о дяде Лене Красильников и слышал, и знал по письмам: многолетний добровольный опекун Розы, терпеливо помогавший ей с самых давних лет. И вообще во всей этой перенаселенной квартире чувствовалось давным-давно сложившееся незлобивое братство одиночек, посылно облегчающих друг другу жизнь.

Пока дядя Ленья бережно, будто священнодействуя, проходил остуженной в холодильнике бутылкой по приготовленным рюмкам, Красильников соображал, как лучше спросить о том, что так и вертелось на языке. Сначала, в первой суматохе появления и узнаваний, он забыл о Семене, да и не до расспросов было, но вот миновало время знакомств, образовалась и застопорилась, а о Семене все не поминали, будто такого совсем не было на свете. Но ведь он здесь, и Роза как-то написала об этом,— Семен сразу же после госпиталя направился сюда. Красильников догадывался, что здесь какой-то дружный сговор, одна всеобщая неприязнь, и все же не утерпел: когда дядя Ленья, приятно осклабясь и не сводя с дорогого гостя влажных воловьих глаз, бережно вознес и приблизил к нетерпеливым губам переполненную рюмку, Красильников спросил:

— А Семен-то что? Молчат и молчат!

И сразу понял, что догадывался правильно,— вопрос прозвучал не к месту. Старушка, талчившая что-то к себе с далекого блюда, вдруг капнула на скатерть и чуть не уронила,

а дядя Леня расстроился до такой степени, что поставил рюмку обратно, хотя и чувствовал уже во рту морозный обжигающий вкус пролившейся через край влаги.

Впрочем, ничего не договоренного сегодня быть не могло, и Красильников, начиная хмелеть, потребовал немедленных объяснений. Он сознавал свое право спрашивать, потому что всегда чувствовал себя ответственным за семью погибшего друга, и это его право признали все, кто сидел за столом, и не стали таиться. Оказалось, что Семен первоначально заходил и помогал, — был человеком, но вот стал подрастать Олежка и всеми в квартире овладело беспокойство. Дядя Леня несколько раз предлагал парню место в хорошем, приличном оркестре, однако переборол незаметно установившийся авторитет Семена, и Олег оставался у него, ударником в дрянном ресторанном оркестрике, где откровенная погоня за халтурой, ночная утарная жизнь грозили, по словам дяди Лени, сделать из молодого человека отменного сукина сына. Тут только Красильников узнал впервые, что Семен никакой не инженер, о чем мечтал на фронте, он и не думал учиться, а просто-напросто трубач в гремучем ресторанном ансамблике, немолодой уже, изрядно облысевший, чуть хромающий от памятной фронтовой раны трубач.

— С ума сошел, старый черт! — изумлялся подвыпивший Красильников и готов был отыскать Семена немедленно, отчитать его как следует, пристыдить, — все по неписанным правам бывшего фронтового содружества. И все, кто сидели за столом, оказывается, как раз этого и ждали от него, — они сильно надеялись на его авторитет. Хмелея все больше, Красильников проникался уверенностью, что его приезд очень кстати, он правильно сделал, что приехал не в день начала путевки, а за три дня, будто знал, какая тут в нем необходимость. Вот за эти три дня он и наведет порядок.

— Ну Семка, ну Семка! — приговаривал он и не мог взять в толк, как это из дивизионного разведчика, которого он знал в жестокую, трудную пору, получился вдруг — смешно сказать! — трубач в ресторане. В черемховском ресторанчике тоже гремит что-то до поздней ночи, однако хорош бы он был, Красильников, играя там на трубе!

Дядя Леня умело менял бутылки на столе. Его породистое актерское лицо побагровело, а увлажнившиеся глаза почечного больного любовно взирали на бодрившегося Красильникова. Разговор о сдуревшем вконец Семене потянул воспоминания о Пашке, и Красильников испытывал желание говорить о нем долго, подробно, вспоминая такое, что никому из сидев-

ших и неведомо. Он всегда любил Пашку, а сейчас — особенно, и ему хотелось сказать об этом. Он чувствовал, что все, что он скажет о Пашке, здесь будет дорого и свято. Память о Пашке, как он уже догадался, здесь не пропала

Отодвигая от него грязную посуду и собирая ее стопкой, нарядная, но почему-то притихшая Роза проговорила:

— Господи, неужели еще раз случится эта проклятая война!

Красильников вскинулся и горячо запротестовал. Ему и в самом деле не представлялось, что вдруг снова побегут в атаку парнишки с худенькими шеями; побегут и станут тыкаться и застывать на белом поле серыми безымянными бугорками в своих исхлестанных пургой шинельках. Сейчас это казалось ему нелепым и страшным, но быгровый дядя Леня злое еще покивал своим щекастым набрякшим лицом:

— Много пушек. Слишком много пушек и всякого дерьма накопилось на земле. На стиральные машины их не переделаешь.

— Но пахали же после войны на танках!— возразила Роза.

— Так — после войны, а не до!— уточнил дядя Леня и обрюзг, нахохлился еще больше,— совсем утонул в щеках.

В комнате становилось жарко, невыносимо знойно, время будто остановилось,— до такой степени слепил устоявшийся солнечный свет. Сколько часов прошло, как он приехал, вылез на вокзале и отыскал эту квартиру! Красильников открывал глаза и видел одно и то же: дремлющего напротив дядю Леню. Старушки за столом не было, ушли и остальные, и усталая Роза незаметно прибирала на разграбленном, захламенном столе.

Дядя Леня вдруг сильно потянул носом и поднял хмельную затяжелевшую голову. Морщась, он оттянул на горле надоевший галстук-бабочку.

— Сельтерский бы...

— Я чаю согрею?— с готовностью предложила Роза.

Скривившись еще больше, дядя Леня вяло махнул рукой и уперся в стол,— поднялся.

— Идемте, молодой человек, ко мне,— сказал он Красильникову, поворачиваясь уходить.— Идемте, идемте!

Словно спрашивая совета, Красильников посмотрел на Розу, и она проводила их мягкой усталой улыбкой.

Через темный бесконечный коридор, задевая какие-то шкафы и вешалки, они попали в просторную, но сильно застав-

ленную комнату. Здесь было прохладно, много книг по стенам и в углу на полу. Красильников сразу же заинтересовался иконой в тяжелом дорогом окладе. Дядя Лёня с облегчением сорвал с шеи галстук и расстегнул ворот. Плюхнувшись на диван, он махнул галстуком на стену, где рядом с иконой висел увеличенный портрет молодого щеголеватого мужчины с косою дарственной надписью в нижнем углу.

— Узнаете?— отрывисто спросил он, обмахиваясь галстуком, а так как Красильников молчал, близко рассматривая портрет, дядя Лёня назвал знаменитую в стране фамилию артиста, руководителя эстрадного оркестра.

— О!— с почтением произнес Красильников, пытаясь прочесть стремительную дружескую надпись.

— Да,— желчно сказал дядя Лёня, неловко ворочаясь на диване,— все мы вроде бы вылупляемся из яичек, но одним суждено летать, а другим... даже и не придумаешь, как сказать! Прозябанье, мрак. Тоска!

Его мучила одышка, и он, колыхая под рубашкой великим чревом, возился на диване, устраивая свое грузное нездоровое тело. Лицо старика опало с висков, совсем как у больного отекли книзу щеки.

— Вот кончится все, и что от меня останется?— ворчал он.— Может, табличка только на дверях. Так и она не моя. Это еще фатер драгоценный устраивал себе комфорта.

Наконец он успокоился, затих,— нашел удобное положение. Но едва Красильников тронулся на цыпочках к двери, он медленно открыл протрезвевшие сосредоточенные глаза и, думая о чем-то своем, сделал пальцем короткий жест, прося задержаться.

— Вы, юноша...— негромко заговорил он,— вы, юноша, правильно сделали...— и вдруг скривился, умолк, с усилием потирая грудь сбоку, там, где, выпирая, начинался огромный живот. Зажмурившись и трудно дыша сквозь зубы, переждал.— Вы, дорогой мой, правильно сделали и хорошо, что не забыли Розу. Я не о деньгах совсем говорю, нет. Хотя, надо сказать, деньги тоже не последнее дело. Ведь за своего драгоценного Павла бедная девочка не получила ни копейки. Хотя бы мизерную пенсию! Мало ей было сградиций, так еще и это... А, скверно все устроено на земле!

Красильников, рассматривая носки собственных ботинок, медленно покивал головой. Ему показалось, что старик как-то неуважительно обмолвился о покойном Павле, но справедливости ради он тут же признал, что Розе действительно нелег-

ко было в одиночку поднимать на ноги сына, а дядя Лёня, добрый и бескорыстный помощник все эти годы, имел известное право нарушить вековую заповедь, завещавшую говорить о покойных только хорошее. Сам он, зная, как любил Павел свою неожиданно возникшую семью — и Розу, и родившегося без него сына, всегда оправдывал его: Пашке ведь и в голову не приходило, что тот разведывательный поиск станет для него последним, он был настроен жить и жить. Хотя, если опять же быть справедливым, на войне, конечно, следовало быть готовым ко всему. Но что от него требовать было, от Пашки, если он был едва ли старше своего нынешнего сына? А что хулиганистый и отчаянный был парень, приморской портовой выучки, — так это Красильников знал и раньше.

Ему не пришлось ни возражать, ни соглашаться: дядя Лёня, уронив на грудь большую неряшливую челюсть, легонько всхрапывал. На бледном его лице крупно выделялись коричневые луковичи беспокойно сомкнутых глаз.

— Уснул, — сообщил Красильников, вернувшись в комнату к Розе. Стол был уже убран и застелен, чистота и яркий свет в комнате показались Красильникову настолько неуместными, что он почувствовал себя здесь совсем посторонним.

— Нельзя ему пить, — с огорчением сказала Роза и покачала головой. — Отдохнуть хотите?

— Да ну! — живо возразил Красильников. — Я что — спать сюда приехал? Я еще моря не видел. Честное слово! Ни разу в жизни.

— Насмотритесь еще, — устало улыбнулась Роза. — Проводить вас?

Но Красильников снова отказался.

Собираясь на первую прогулку по городу, он подумал: а не переодеться ли? В чемодане у него лежал новенький костюм, сшитый перед отпуском в хорошем месте и стоивший немалые в общем-то деньги. Однако заводить канитель в прибранной комнате, выпроваживать хозяйку в коридор, а она уж переоделась в халатик и настроилась отдохнуть... ладно, обойдется и так.

Роза проводила его до двери, напутствуя, как лучше пройти к морю.

После сумрачного и прохладного каменного подъезда на улице показалось нестерпимо ярко. Синий полуденный зной плавился над белым городом. И Красильников, неуверенно трогаясь по шумной незнакомой улице, с какой-то неулови-

мой убежденностью представил себе, что неподалеку, за улицами и домами, за аккуратной зеленью бульвара, расстилается и блещет, переливаясь, безбрежное количество теплой си-ней воды. Постоянное присутствие моря угадывалось во всем облике солнечного города, в голосах и шутках его жителей, в смехе и походке загорелых пестро одетых женщин. Жизнь здесь казалась легкой и праздничной, и в Пашке, как теперь понимал Красильников, было очень много от его любимого города. Видимо, знал это и дядя Ленья и тоже понимал, по-своему как-то оправдывая беззаботность молодого Павла,— да, да, оправдывал! — иначе он должен бы такое наговорить, возненавидя несостоятельного и легкомысленного отца. А дядя Ленья не возненавидел.— нет, этого Красильников не почувствовал. Осуждать — да, осуждал, но ненависти, непримиримости не было.

Он остановился возле будки с газированной водой. Во рту было сухо, свет резал воспаленные, привычные к такому солнцу глаза. Красильников стал в конце очереди, но люди незаметно расступились, пропустив его вперед. Ледяная шипучая вода приятно защекотала в опаленном рту, и он жадно выпил два стакана. Отойдя несколько шагов, он оглянулся и увидел, что вся очередь, все эти легко одетые, обдуваемые ветерком люди смотрят ему вслед. «Пьяный я, что ли?» — подумал Красильников, оглядывая свои пыльные горячие ботинки и мятые, с пузырями на коленях брюки. Сняв тяжелый пиджак, он расстегнул заправки и с наслаждением закатал на голых бледных руках скользкие шелестящие рукава.

Все-таки он устал сегодня, да и выпито немало. Красильников отыскал тень погуще и плюхнулся на скамейку, вытянул измученные зноем ноги. Надоевший пиджак с увесистыми, набитыми карманами он из предосторожности положил на колени.

Ему расхотелось к морю,— успеет еще впереди целый месяц. Беспокоила его какая-то недоговоренность и постоянно напоминала о себе: чего-то он не сказал дяде Лене, в чем-то не возразил. Да и с Розой он не поговорил, как хотелось. А ведь собирался, готовился к встрече. Ну, с Олегом, с тем просто не пришлось. Но теперь Красильников догадывался, что и в исчезновении Олега было какое-то неприятие своего погибшего отца. Парень, конечно, понимал, каково приходится матери, и тоже судил,— по-своему, но судил. А еще могло и так быть: парню кто-то подбрасывал формулировочки для осуждения, и тут Красильников подумал о Семене, сумевшем целиком забрать Олега под свой авторитет, и пьяным ли про-

зрением, просто ли предчувствием понял, что все в этой истории не без участия Семена. Как раз этим, видимо, и объясняется неприязнь к трубачу всех квартирных жильцов. Однако, успев только подумать, Красильников тут же и упрекнул себя, потому что для него самого все фронтовое было свято, и Семен не смел, просто не имел права брать столь тяжкий грех на душу: так долго, так подло таить ту давнюю обиду и так, выходит, мстить. Конечно, тогда, сразу же после всего, что произошло в той чертовой воронке, обидно было, по-человечески обидно, однако уже минутой позднее, да, минутой, не больше, Семену следовало не обижаться, а благодарить Павла, ну, пусть не Павла, а судьбу, потому что не случись этой самой обиды, то не о Павле, а как раз о Семене вспоминали бы теперь чудом встретившиеся фронтовики...

У них тогда удачно все получилось, попервоначально удачно, они хорошо и скрытно проскользнули и подкрались, но едва Павел, большой и ловкий, как полуночный зверь в охоте, стал подминать и скручивать такого же здоровенного оглушенного немца, тот пискнул, булькнул каким-то обморочным предсмертным клекотом, и вся линия уснувшей на рассвете обороны остервенилась ураганным раздосадованным огнем.

Матерясь и задыхаясь, Павел с Семеном сволокли увязанного немца в воронку, — брякнулись, скатились кубарем. На Красильникове с самого начала лежала обязанность прикрывать отход огнем.

Мутное рассветное небо прожигалось яркими злыми очередами, вокруг, по белому, продутому поземкой полю, хлопали кудые взрывы пролетающих мин

Семен, карабкаясь по мерзлому глинистому срыву, подобрался к краю воронки и высунулся рядом с Красильниковым. Лицо его было мокрым, и пот катился не переставая из-под низкого среза каски, он отрывисто сдувал его с запекшихся губ, а сам затравленно вглядывался в беснующуюся линию немецких окопов. Он заставил Красильникова прекратить стрельбу, совсем не отвечать, и Красильников понял, что он боится направленного ответа врага, боится стать обнаруженным, хотя выбора все равно не было, потому что скоро станет совсем светло и немцы запакуют их в воронке, головы не дадут поднять, возьмут готовенькими.

Подполз, осыпая сапогами сухие комья, Павел — горячий, запаленный, в растерзанном на груди ватнике. Он тоже уставился из-под каски в немецкую сторону, щурясь от низ-

кой поземки, задувающей уже третий день. Но вот он приложился мокрой, грязной щекой к прикладу и стал коротко, срыву, огрызаться на стрельбу. В глазах Семена мелькнул ужас, однако теперь и Красильников разглядел впереди неясные фигурки перебегающих пластунов и тоже застрочил. Все-таки обнаружились,— пришлось обнаружиться. Огонь с той минуты стал плотнее, и случилось то, чего следовало ожидать: немцы запаковали их в воронке.

В первую минуту, когда уплотнился отсекающий вражеский огонь, разведчикам показалось, что выхода нет и не найдется. Семен вдруг заругался, закричал тонким заячьим голосом, опустил руки и на животе, вздымая стылую пыль, скатился вниз. Там он вскочил и, грязный, остервеневшийся, принялся пинать длинными ногами кулем валявшегося немца.

— Брось!— рявкнул на него сверху Павел, не переставая зорко шнырять глазами по полю и коротко, умело постреливать очередями.

С нашей стороны тоже был огонь, и огонь немалый, однако не туда, куда следовало, и Павел с досадой обернулся: что же они, не видят? И, все трое, они с надеждой стали смотреть в свою сторону, ожидая помощи.

Позади лежало ровное, почти бесконечное поле, и на нем очень часто бугрились заметные снегом фигурки polegших в бесплодных, отчаянных атаках. За весь вчерашний день атакующие не продвинулись ни на шаг, бессильными оказались даже штрафники, а между тем стремительный карандаш командующего, прочертивший на карте линию удара, обязывал еще к исходу минувшего дня достичь намеченной глубины прорыва. Вот из каких соображений был предпринят этот дерзкий разведывательный поиск, и добыча, валявшаяся в прошлогоднем бурьяне на дне воронки, имела, таким образом, едва ли не решающее значение.

— Куда, куда они бьют?— ругался Павел, с тревогой замечая, что становится все светлее.— Вот куда они обязаны лупить — сюда! прямо к нам!.. Сём!— распорядился он.— Ползи-ка. И торопись. Иначе нам тут крышка. Как кроликов возьмут.

И все стрелял, пока говорил, огрызаясь не переставая.

Но тут, словно озаившись на непримиримую строптивость дерзких разведчиков, противник вдруг так накрыл их огнем, что от воя осколков и комьев, от пыли, совсем закрывшей видимость, они сжались, убрали в плечи головы. Сил не было высунуться и глянуть,— не высовывалось, потому что по-

верху, очень низко над землей, над самыми, казалось, головами, постоянно и грозно дежурили теперь бьющие навывлет пули.

— Ну?— крикнул Павел, заметив, что Семен мешкает у самого края спасительной воронки. Снова взрывы, снова пыль, свист комьев и железа,— и все чаще, ожесточенней. Протирая глаза, не переставая следить за полем впереди, Красильников успел заметить, что Павел, быстро перебирая руками и ногами по сыпучему скату воронки, подполз на животе к уткнувшемуся в землю Семену. Он был очень подвижен и ловок в своей коротенькой, туго перепоясанной ремнем телогрейке. Тяжелая, заляпанная грязным снегом каска почти лежала на его широченных, не знающих усталости плечах.

Что там между ними произошло, Красильников не видел, не слышал и никогда не смог узнать впоследствии. Он услышал внезапно яростную матерщину Павла, оглянулся и нашел их не у края воронки, а на дне, и Павел так бил товарища, как бьют самого заклятого врага: люто, с ненавистью, в кровь.

— Гад!.. Сука!.. Гад!..

Немец, валявшийся с вывороченными плечами, со страхом отодвигался от неистовых, бешеных ног разведчика.

— Я т-тебе... тварь! Пошел!— и, выбросив руку, Павел указал наверх. Красильникову показалось, что он не пристрелил Семена только потому, что вдвоем немца было бы не до тащить.

Утирая разбитое лицо, испуганный Семен послушно и с неожиданным проворством быстро полез по скату воронки. На нем тоже была куцая, не закрывавшая ягодиц телогрейка, и только каска осталась лежать на земле, в цоломанном и потоптанном бурьяне. Страшно было представить, как высунется он беззащитной головой в кромешный ад, клубившийся над воронкой. Мины теперь только и гвоздили вокруг прибежища разведчиков.

И тут,— Красильников запомнил это хорошо, на всю жизнь, потому что как раз смотрел на прибитого, униженно послушного Семена,— в этот момент вдруг вспыхнуло близко, в самой воронке, черным земляным букетом отскочило от рыхлого ската и ударило прямо в живот стоявшему во весь рост Павлу. Короткий ударный взрыв пальной мины в мгновение сломал его пополам.

Семен не успел и головы высунуть.

Дальнейшее помнилось Красильникову сумбурно, но все

же настолько ярко, что он до сих пор отчетливо видел перед собой тогдашние глаза Семена, в которых быстро промелькнули сначала испуг, затем сострадание, а потом, как теперь подумывал Красильников, и злорадство, мимолетное такое удовлетворение, будто мина влетела к ним возмездием за Семенову обиду. И запомнился еще измученный страхом немец, его белые бессмысленные глаза, особенно когда согнуло и опрокинуло в бурьян Павла. Он тогда совсем расписался, этот несчастный немец, и все время омерзительно потел.

— Ай-яй-яй! — озабоченной скороговоркой запричитал Семен, скатившись в туче пыли вниз и склонясь над скорчившимся Павлом. Но не раненный смертельно товарищ интересовал его сейчас, — страшное, избитое лицо его незаметно приобретало какую-то мелкую осмысленность, и он все чаще цепко взглядывал на Красильникова, пытаясь угадать, насколько растерян человек и не ухватится ли за разумную спасительную мыслишку.

Красильников, напряженно моргая, прислушивался, что творилось наверху, над их головами. Усилившийся грохот, близкие разрывы, сплошная пыль и чернота, совсем закрывшие небо над воронкой, — все как будто говорило, что с наступлением полной видимости наши тоже обнаружили разведчиков и до предела усилили прицельный огонь прикрытия. Два встречных шквала, сшибаясь в одной точке, настолько сильно долбили и вздымали землю, что оставшиеся на ногах разведчики не чувствовали безопасности и в своем укрытии. При каждом огневом налете они невольно пригибались один к другому, обнимались и потом с опаской поглядывали наверх.

— Дурак!.. — прокричал согнувшийся, засыпанный землей Семен, и Красильников близко видел, как напрягались у него все жилы на шее. — Дурак! Из плена вон сколько бегут!

Но тут грохнуло и посыпалось так, что они не сговариваясь брякнулись плашмя, упали прямо на связанного, мерзко пахнувшего немца. И прижимались, вдавливались изо всех сил, страдая, что нет возможности укрыть беззащитную, чутко ожидающую удара спину.

Наступившая передышка и терпеливое сопенье придавленного немца помогли Красильникову оправиться от испуга, он с гадливостью приподнялся и, отряхиваясь, увидел настороженные, караулящие глаза напарника. Догадался Семен, что ли, что не найти ему и в Красильникове сообщника.

— Я говорю, не пропадать же нам из-за этого г...! — вскричал он, оправдываясь, и с прежним остервенением наотмашь

ударил немца по голове. А тот, с тугим кляпом в чудовищно распяленном рту, перекрученный проводом, только пучился, взирал испуганно, не переставая бояться за свою судьбу.

— Ползи!— негромко, сквозь зубы распорядился вдруг Красильников и медленно достал из-за пазухи трофейный «вальтер».

— Куда? Куда ползти-то?— испугался Семен.— Не видишь? Миха, брось дуришь. Слышишь?

Он кричал и отшатывался, но взрывы, свист и комья заставляли его приникать к Красильникову, и он, закрывая руками растрепанную голову без каски, неожиданно начал осмысленно поглядывать на пистолет в руке товарища. Красильникову показалось, что будет лучше, если он станет держать Семена под прицелом и подальше от себя.

— Бери немца!— приказал он, наставляя пистолет.— Быстро!

— Ну... хорошо!— зловеще покорился Семен, поднимаясь, и можно было лишь догадываться, сколько ненависти скопилось сейчас в его отчаянно трусившей душе.— Я возьму... Но потом...

— Волоки!— рявкнул Красильников, чувствуя, как зудит в его руке заряженный и пристрелянный «вальтер». Нет, не зря сегодня не выдержал и взорвался Павел,— против своего брата разведчика он не стал бы понапрасну пускать в ход кулаки.

Семен ухватил пленного за туго скрученные руки и, как барана, потащил вверх. Поняв, что немедленная расправа миновала, немец обрадованно стал помогать ему втаскивать себя по осыпающемуся скату.

У края, перед тем как подставиться под огонь, Семен еще раз замешкался и затравленно глянул вниз. В нем сильно жила надежда уцелеть, сохраниться любой ценой, дожить до будущего, до мирной, как мечталось, соблазнительной судьбы инженера.

— А его?— кивнул он на затихшего и забытого всеми Павла.

— Пошел!— заорал и оскалился Красильников, совсем не помня себя.

Пленный и Семен высунулись из воронки, перевалили и скрылись,— последний раз помаячили вверху их истертые солдатские подметки.

Красильников присел над раненым, не зная, на что решиться. Собственно, решение могло быть только одно, единствен-

ный выход для разведчика перед лицом врага, и Красильников потому и отослал вперед Семена. Умыть руки, не брать греха на душу, предоставив сделать это другому, он не мог, — Семен, каким он сегодня его узнал, непременно предал бы раненого, — пожалел. А обозленные неудачей немцы вдоволь налютовались бы, отвели бы пад пленным разведчиком душу.

Обхватив развороченный живот, Павел лежал лицом в сухих колючих будылях бурьяна. Красильников, склонившись совсем низко, уловил частое горячее дыхание, — впоследствии ему много раз казалось, что умирающий кого-то звал, повторял чье-то нежное, ласковое имя.

Ремень Павла с вырванной пряжкой валялся на противоположном скате, там, куда его забросило взрывом. Красильников запомнил, что как раз ремень-то с дымными черными краями разрыва и убедил его не трогать раненого, не добавлять ему напрасных мук.

Семен со связанным «языком» уползли недалеко. Выскочив на поле, совсем забыв о страхе, забыв, что пригibasя недавно и томился беззащитной спиной, Красильников увидел их очень близко и сразу же подумал, что озирающийся, изо всех сил жмущийся к земле Семен непременно слышал одинокий пистолетный выстрел в воронке. Однако ему было наплевать теперь, слышал тот, не слышал. Он вообще выскочил тогда под огонь без всякой боязни, что его найдет и клюнет летучая злая пуля. Нисколько не пригибаясь, он что-то орал и раз за разом пускал в ту сторону, где бесновались немцы, длинные бессмысленные очереди, — веером, от живота И злился, что те двое, которым следовало двигаться быстрее, ползут так медленно, боясь подняться на ноги, и бил их, пинал, ругался, — подгонял. Лишь когда стало потише и разум к нему вернулся и страх, он разглядел, что Семен не только тащит на себе пемца, но волокет еще и собственную ногу: словил-таки осколок, хоть и боялся с самого начала. Красильников скомадовал остановиться, разрезал на немце путы, и тот с большой старательностью протащил раненого разведчика весь остаток пути.

Неожиданное ранение Семена, причем серьезное, оставившее увечье на всю жизнь, примирило Красильникова, и он отправился в медсанбат проводить. Семен, наспех перевязанный, ожидал отправки в тыл. Он лежал тихий, обескровленный, с распухшим от побоев лицом.

— Ты... это самое... — проговорил он, медленно раскрывая и снова закрывая измученные глаза. — Сука я.

— Ладно, ладно,— неловко успокоил его Красильников, внезапно почувствовав себя виноватым перед ним. Он оглянулся: не слышит ли кто?

Семен отдышался и снова собрался с силами.

— Не поминай... Собачье это дело — погибать.

— Брось, чего там... Поправляйся

Он не испытывал к увечному ни зла, ни осуждения, потому что примерно с того дня стал сознавать, что к войне, к каждодневной гибели своей нужна долгая тупая привычка, и у него самого до конца войны так и не прошел грешок «кланяться» близко пролетевшей пуле,— всякий раз, когда тоненько тенькало над головой, какая-то сила моментально сгибалась шею. Унизительно, однако поделаться с собой он ничего не мог...

— Гвоздями не интересуетесь?— расслышал Красильников вкрадчивый, но настойчивый голос рядом, и ему потребовалось усилие, чтобы очнуться и обратить внимание на грузного старика, пристроившегося к нему на скамейку. Красильников даже головой встряхнул, чтобы окончательно вернуться к горячей, знойной действительности

День распалился во всю летнюю южную силу, и Красильников первым делом почувствовал, насколько раскалены стали ноги, оказавшиеся за это время на солнцепеке. Пиджак на коленях обжигал руки.

Старик, страдательно свистя большими бронхами, сидел на скамейке как бы сам по себе, но не сводил с приезжего, задремавшего в тени человека деловых осторожных глаз.

— Гвоздями, говорю, не интересуетесь?

Красильников рассмеялся и, убрав с колен накалившийся пиджак, с наслаждением встал.

— Нет, отец, гвоздями не интересуюсь. А вот пивом или, на худой конец, квасом...

У старика разочарованно опустились рыхлые плечи. Он брезгливо оттянул на сырой груди рубашку и с отвращением помахал себе в лицо ладошкой.

— Жарко.

Обратно Красильников вернулся скорым широким шагом. В каменном подъезде было прохладно, и он, избегая по ступенькам, чувствовал, как тянет и саднит от пота все усталое, истомленное зноем тело.

На этот раз ему открыли сразу, едва он позвонил. Встретила его Роза, отдохнувшая, причесанная, встретила как хозяйка, у которой в доме приезжий человек.

— Дядю Леню не встретили? Значит, опять до поздней ночи. Сказал, что вас пойдет искать.

— А я и не уходил пикуда,— сказал Красильников, избавляясь от неостывшего пиджака.— Жарко. До моря так и не дошел.

— Так день-то!— сказала Роза, пряча пиджак.— Подождите лучше до вечера. У нас ванна есть. Отдохните по-человечески.

Да, здесь он был человеком желанным и Красильников, не имевший близкой родни, никогда не ездивший по гостям, вновь почувствовал себя стеснительно от неподдельного радушия хозяйки. Когда он, с длинными мокрыми волосами, неся в одной руке ботинки, в другой полотенце, прокрался босиком по темному коридору, в комнате было пусто, но все заботливо приготовлено: занавешено окно и в покойном сумраке на свежей постели белел угол откинутой простыни...

Ходить по ресторанам Красильников не привык, не любитель был даже в лучшие свои годы, однако ресторанный обиход знал, потому что жене в последнее время приходилось подолгу бывать в отъезде.

Здесь ресторан оказался не чета черемховскому, и Красильников, стеснительно миновав роскошного, с надменной бородищей швейцара, остановился в широких, как ворота, дверях. Зал бы велик, слишком велик, но сквозь слоистый дым, поверх голорукой хсхочущей публики Красильников сумел разглядеть эстраду и там, на самом верху, на узенькой, как колышек табуреточке, узнал Олега Пашкиного сына, нарядного, вертляво-веселого, совсем не такого, каким запомнился ему парнишка утром.

Со своей табуреточки Олег зорко заметил стоявшего в дверях Красильникова,— и тотчас все, кто был на эстраде, обернулись и стали вглядываться, а какой-то человек, немолодой, но тоже одинаково со всеми нарядный, черно-белый, соскочил в зал и, прихрамывая, заторопился навстречу. Только по хромоте и признал его Красильников: до того изменился Семен.

Он не устоял, не дождался, пока проберется к нему между столиками Семен. Нетерпение овладело им еще там, в комнате Розы, когда хозяйка стала наряжать стдохнувшего гостя и бережно гладила через мокрую тряпочку извлеченный из чемодана костюм. И он нетерпеливо подгонял шофера такси, и выскочил нетерпеливо, и только здесь, на пороге, немного оробел.

Подвыпившие люди, шумевшие за столиками у дверей, умолкли и обернулись, когда вдруг двое немолодых мужчин сбежались на ковровой истоптанной дорожке, с размаху пригнули грудь в грудь и замерли, зарылись лицами, крест-накрест обхватив друг друга. С того момента исступленность встречи обеспечила друзьям постоянное и почти всеобщее уважительное внимание,— нечасты такие встречи в теперешнее время.

— Ну?..— проговорил наконец Семен, немного отстраняясь, чтобы взглянуть затуманенными глазами, но тут порыв снова соединил их, и Красильников почувствовал, как бьет его по спине труба, которую Семен, забывшись, потащил с собой через весь зал. Он сильно изменился за все эти годы, совсем неузнаваем стал, и Красильников лишь по каким-то малым приметам узнавал в нем прежнего Семена. Эта представительная полнота, вальяжность, поперечный галстучек под круглым подбородком... Инженер. настоящий инженер — специалист с достатком,— именно таким представлял себя в будущем Семен на фронте. Руки Красильникова соскакивали со спины Семена,— скользил по импортной рубашке гладкий подклад дорогого твердого пиджака.

— Пошли,— задушевым голосом сказал Семен, и они, не разнимая рук, не поправляя пиджаков, побрели, толкаясь, к стенке, где расторопный официант, завидя их, принялся быстро прибирать освободившийся столик.

— А ты хорош... Хорош...— взволнованно говорил Красильников, не переставая поражаться переменам в Семене и все же узнавая его.— Даже не думал...

Чтобы не мешать официанту, Семен отодвинулся от столика и, довольный, улыбающийся, показал, что разговор потом будет, настоящий разговор, а сейчас пусть сначала приготовят все. Он не знал, куда девать из рук трубу, и, казалось, немного стеснялся. Смушала и гостя Семенова труба, небольшая сверкающая штучка, которой бывший разведчик зарабатывал на жизнь. Красильников сейчас особенно вспомнил, как много говорили они на фронте о будущем,— они тогда устали от войны и тосковали по мирной жизни, как зерна по земле, и Семен во сне, бывало, видел свой обязательный инженерный диплом. Он и под огнем тогда боялся и полз все к тому же, о чем мечталось, а приполз, выходит, к этому вот... к трубе. «Но, видно, завлекательней и выгодней труба-то,— подумал быстро Красильников, все больше замечая, как стесняется своего инструмента старый фронтовской товарищ.— Иначе бы чего?.. Уж Семен своей выгоды не упустил бы».

Выручил Семена высокий щеголеватый парень с узким интеллигентным лицом, тоже черно-белый, как все из оркестра.

— Сеня, мы, однако, без тебя, — сказал он, непринужденно приблизившись.

— Да, ребятки, — согласился Семен, отдавая ему трубу и с облегчением придвигаясь к столику. — У меня сегодня ситуация — друг. Фронтовой друг.

Парень понимающе улыбнулся.

— Сегодня заказов будет — навалом. Командировочные.

— Валяйте! — отпустил его Семен.

Красильников, сцепив перед собой пальцы, с интересом рассматривал гудящий, утовувший в дыму зал, но когда появился ловкий официант с нагруженным подносом и принял быстро, изящно загромождать стол, он руки убрал и попробовал помочь, однако официант необходимо и мягко отстранил его, а Семен, засмеявшись, проговорил:

— Сиди. Не твое дело.

Во рту Семена, когда он улыбался или говорил, сверкали сбоку нарядные драгоценные зубы, и, кажется, сияние их придавало его лицу что-то новое, неузнаваемое. Однако Красильников еще не присмотрелся как следует, не решил для себя.

— Твое дело пить сегодня, — говорил Семен, дождавшись, пока управился официант, и принимаясь сам хозяйничать за столом. — Ну, так сколько это выходит?

— Не виделось-то? — догадался Красильников, принимая налитую рюмку. — Да лет девятнадцать, однако... или нет, все двадцать!

— Вот это да! — И Семен пальцем помаячил, чтобы гость держал рюмку, не ставил на стол. — А ты хороший сезон выбрал. Народу меньше, да и публика посolidней.

— Выбрал! — рассмеялся Красильников, примеряясь к рюмке. — Как дали.

— Выбирать еще не дорос? Не в чинах? Ну, да все равно.

Приподняв рюмку, он замолк, посуровел, близко глянул в самые зрачки. Чокнулись, помолчали. И кажется, одно и то же давнее событие возникло в памяти тогс и другого.

Удрученно заморгав глазами, Семен вздохнул и коротким заученным движением опрокинул рюмку в рот. Выпил и Красильников, но неторопливо, как человек, не часто позволяющий себе такое развлечение. Отставив рюмку, сморщился, затыкал вилкой в присыпанные ломтики лимона.

— Ч-черт!

Семен, тоже морщась, тут же налил по второй.

Близко рассматривая поздоровевшую руку Семена с бу-тылкой, Красильников увидел багровое уродливое пятно, как от ожога, и вспомнил, что на том месте была когда-то не совсем приличная татуировка. Он обрадовался, что есть с чего зацепиться за воспоминания.

— Свел?

Семен, закуривая, зачем-то подмигнул и небрежно махнул рукой:

— Ну ее! Дурость!

Расстегнул пиджак, устроил локти на столе и дымил, щу-рился, смотрел на Красильникова веселыми глазами. Ни у ко-го пока не хватало умения затеять большой обстоятельный разговор. Выпито еще мало, что ли?

Неожиданно загремел, покрывая гам, оркестр, и Краси-льников, очень довольный, что не надо мучиться от молчания, стал смотреть на далекую эстраду. Больше всех его заинтере-совал Олег, Олежка, Пашкин сын, на своей ненадежной табу-реточке. Казалось, бес какой-то сидел в парнишке, не ина-че,— до того гибко и ловко вихлялся он телом, плечами, голо-вой, не говоря уже о руках, успевая бить, греметь, глушить тарелки, еще в какие-то моменты подкидывать и ловить па-лочки и в то же время не следить за собою напряженно, а си-ять, завораживать подвыпивший зал молодой сверкающей улыбкой. Такого проворства Красильников в нем не подозре-вал. «В кого бы?»— подумал он. Павел, тот, правда, ловкий был, ничего не скажешь, но только здоровенный в плечи-цах,— разведчик природный, лучший разведчик в дивизии. На такую табуреточку его и не усадить бы... «Тоже, видать, искусство»,— с уважением думал Красильников, наблюдая, с каким упоением вихляется Олежка, а когда оркестр так же неожиданно, как и начал, оборвал свое громохание, у него было готово что сказать скучающему над рюмкой Се-мену.

— А парень-то... любит тебя,— и ласково кивнул в сторону эстрады.

Семен усмехнулся и неопределенно пожал плечами:

— Вместо отца, можно сказать...

Квелый он какой-то становился, будто и не рад был, что встретились. Или прошла уже первая-то радость?

— С Розой у вас что?— решился напрямик спросить Кра-сильников.

— А!..— сморщился Семен.— На дверях читал? Вот всю

войну ей и стучали. И орали. Да и после войны... Чего говорить!

— Трудно было бабе,— заступился Красильников, помня о большой, но дружной квартире, а главное, что память о Павле соблюдается там свято.

— А кому легко?— рассердился Семен.— Тебе легко? Мне? Кому, скажи, легко?

Он отворачивался и в гневе теребил давивший шею галстучек. Красильников пожалел, что начал этот неприятный разговор.

— Ну, а дядя Ленья?

И снова как о пропащем человеке махнул рукой Семен.

— Алкаш... Во!— постучал по рюмке.— Все отдаст. Хотя помогал ей, кажется... Да ну его!

Неожиданно, как и в прошлый раз, загремел вдалеке от столика оркестр, совсем загустел табачный чад, расстроенный Семен кинул в рот вторую рюмку и с омерзением затряс головой. Закусив и прогнав слезу, он вспомнил о госте и помаячил ему пальцем, чтоб не отставал, освобождал посуду.

Красильников, раздумывая, вращал на скатерти полную, с краями налитую рюмку.

— Розка о тебе... просто сказки рассказывает!— почти прокричал Семен, напрягая короткую шею. Он наклонился, чтобы лучше было слышно.— Ты по сколько посылал-то ей? Говорит, большой, наверное, пост занимает.

Красильников, не отвечая, вяло скривился. Кому какое дело, что у него за пост? Сколько мог, столько и посылал. Если жена в командировке да удастся сэкономить — побольше пошлешь. Не удастся — и совсем ничего не пошлешь. Всяко...

— Обижается она на тебя,— сказал он, неожиданно узнавая напряженную шею Семена. Многое изменилось в нынешнем трубаче с тех давних пор, но вот шея, жилистая шея, когда он придвигался и, заглядывая в глаза, напрягал голос, осталась прежней. И — глаза, пожалуй. Точно те же глаза...

— Кто?— живо изумился Семен и, нагнувшись к столику, перекрикивал оркестр.— Розка? Знаю. Дура. Ничего не понимает. Не хочет понимать!

Он кричал и багровел от натуги, голос его доносился, как сквозь разрывы.

— Из-за парня?— тоже пригнувшись, громко спросил Красильников.

— Да из-за всего! Куриная башка. Баба! Не понимает

главного. Охота ей, чтоб он с портфельчиком ходил. Стипендию зарабатывал.

— Так а что?— кричал и пригибался Красильников.— Пускай!

Семен рассердился и руки-плечи вздел.

— А жить? У нас вон буфетчик,— и пальцем за спину,— тоже институт кончал. А знаешь, сколько дал, чтобы устроиться? Не поверишь!..— Голос его сорвался, он отхлебнул из фужера.— И саксофонист у меня, сейчас подходил, университетский диплом. Можешь сам спросить!.. Сам, говорю, спросишь!

Красильников умолк, откинулся и долго в задумчивости покачивал головой.

— А помнишь?— дождался он тишины и поманил Семена.— Помнишь, Пашка все говорил: если, говорит, и подохнем, так хоть знать будем, за что.

— Э!..— Семен брезгливо махнул рукой и стал смотреть, чем там занимаются на эстраде. Но не вытерпел,— повернулся и придвинулся опять.— Времена сейчас, Миха, совсем другие... Другое, говорю, время сейчас!— повторил он громче и категорически помахал перед лицом гостя умудренным своим пальцем.— Сам, поди, видишь... Да и мы, если взять, тоже ведь другие. Чего зря трепаться!

Плыл, слоился, густел под люстрами неубывающий пьяный чад, и ничего не разобрать было в позднем гаме разгулявшегося зала. Замолкал и снова бушевал на своих гремучих тарелках и барабанчиках Олежка, и весь оркестр, посадивший его, казалось, специально на самое видное место, лишь подыгрывал ему. Подыгрывали не только юнцы, вроде Олежки или саксофониста с университетским дипломом, но также мрачная толсторукая дама за роялем и лысый сосредоточенный старик со скрипкой.

Но вот откуда-то снизу, из-за черного лакированного бока рояля, на эстраду поднялась и прошла вперед тоненькая женщина в длинном блистающем платье до самого пола, и оркестр, разом усмирившись, зарокотал, замурлыкал, сдержанно обозначая одни лишь четкие, полновесные аккорды. Женщина, привычно двинув к самым губам змеиную головку микрофона, запела, и Красильников поразился ее высокому детскому голосу, а когда присмотрелся, то понял, что так оно и есть,— она еще совсем девочка, затянутая в сверкающее порочное платье. Он стал разглядывать лицо певицы, юное, но тоже порочное уже, однако в этот момент чей-то настойчивый взгляд со стороны оказал наконец на него свое действие,

и Красильников с раздражением искал, кто это его разглядывает. Через несколько столиков, в глубине дымного, приглушенного под песню зала, он увидел ослабевшего старика с таким же, как у Семена и всех оркестрантов, галстучком под подбородком. Старик, раздвинув в улыбке толстые щеки, заметил взгляд Красильникова и радостно приподнял рюмку. Он был совсем пьян. Красильников встряхнул головой и сердито отвернулся, однако тут же снова глянул на старика с просиявшей улыбкой, потому что узнал в нем дядю Лёню. Старик понимающе покивал ему багровым хмельным лицом и, показав еще раз рюмку, опрокинул в рот.

— М-да... — задумчиво и как бы сам для себя проговорил Красильников, когда вместе с оркестром умолкла юная певица. — Что ж, выпьем, помянем покойника

Семен встрепнулся, взглянул с удивлением, но рюмки не тронул, — не успел присоединиться, а теперь смотрел, как заедает живо гость, натыкая что попало на вилку.

— Но ты... — бурчал с набитым ртом Красильников и быстро подбирая с тарелки, — но ты о Пашке... ничего?

— Что — ничего?

— Ну... только хорошее говоришь? Отец все-таки... Да и...

— А что мне? — с неожиданной желчью проговорил трубоч и отвел глаза в сторону. — Я человек незлопамятный. Хотя, по совести если говорить, он мне больше сын, чем ему. Мне! В нем все мое, что есть.

Перестав жевать, но не поднимаясь от тарелки, Красильников снизу вверх настойчиво и долго смотрел на сердитое, пошедшее вдруг какими-то пятнами лицо Семена.

— Все-таки ты бы его... не очень, — миролюбиво предложил он. — Мы-то уж кончаемся, а ему еще жить да жить.

— Во, во, именно! — воскликнул Семен — Именно! Так пусть лучше учится сразу. Понял? А то как начнут потом ставить синяки да шишки — больненько будет. Никакой диплом не поможет.

— Потом больнее может быть. — осторожно, но с прежней настойчивостью возразил Красильников.

— Например? — насторожился Семен.

«А забрать их всех с собой в Черемхово! — озарило вдруг Красильникова. — И жить будут, и работать, как люди. Что они тут?»

— Ну... мало ли... — дружелюбно сказал он. — Нам-то, фронтовикам, о многом не следовало бы забывать.

— А!.. — отмахнулся Семен, не переставая раздражаться. — Какого черта?.. Сейчас, Миха, в атаку никому поднимать-

ся не придется,— не то время. Сейчас, если что, ткнет нас за чаем, за кофеем... за такой вот бутыленцией и — газ один от нас останется, пыль. Тень на стенке. Читал, наверное?

Красильников, поковыривая в зубах, усмехнулся и покрутил головой: в таких вещах пускай Семен не морочит ему голову, тут он чувствовал себя уверенно и знал, что ответить.

— Складно! Только не легко ли умереть собираешься? Один-то раз в жизни и лопата стреляет.

— Это ты к чему?— не понял Семен.

— Да все к тому же. Ребятишки-то...— кивнул на эстраду,— пехота-матушка, а может, даже наш брат разведчик. Хотят они, не хотят, а разочек в жизни подняться им придется. Необходимость заставит — рано или поздно. Что, не согласен? Зря! А подниматься-то,— продолжал он с неопределенной усмешкой,— голову высовывать ой как трудно! Страшно неохота. Не забыл, думаю, еще?

И наблюдал, глаз не опускал, что делается с лицом сидевшего напротив.

«Ах, вот о чем?..» Семен шевельнул ноздрями, но сдержался и, выставив обтянутый хорошей рубашкой живот, привольно закачался на стуле,— решил иронией, издевочкой прибить.

— Подтекстом кроешь? В ногу с современностью?.. Не беспокойся, брат, я-то все помню. Пусть другой кто забывает, а я...— сделал ударение,— я все помню. И — не забуду! Вот,— постучал ногтем по передним зубам,— вечная память.

Видно было, что не по силам ирония ему, прорывалось давнее, накопленное и он собрался выговориться до конца, но в это время кто-то дружески хлопнул его по плечу, и он, не вынимая из карманов рук, не переставая раскачиваться на стуле, обернулся: один за другим подходили ребята из оркестра — саксофонист, Олег, певичка в длинном, очень тесном, сверкающем платье.

— В чем дело?— нахмурился Семен.

— Перекур,— сказал элегантный, уверенный саксофонист. Не замечая неудовольствия Семена, он придвинул свободный стул, отыскал на столе чистую рюмку и налил себе коньяку.

— Олечка, кирнешь?— спросил он, рыжидая с бутылкой над еще одной чистой рюмкой.

Олег, тоже очень уверенный, небрежно покачиваясь на стуле, удивленно пожал плечами:

— Что за вопрос!

— А ты, детка?— спросил саксофонист у певички, стеснительно присевшей не к столу, а чуть поодаль, за плечами надутого Семена.

Девушка с опаской посмотрела на Семена, и тот, раздражаясь все больше, дернул щекой.

— Не надо,— поспешно отказалась девушка.— Мне же петь.

— С приездом!— провозгласил тогда развязный саксофонист, учтиво глянул на Красильникова и чокнулся о палитую Олегу рюмку.

Девушка почувствовала, что ее разглядывают, заметила взгляд Красильникова и смутилась, потупилась, хотела, как школьница, спрятать в коленях руки, но помешало туго натянутое на ногах платье. Смущение долго не оставляло ее, зарозовели даже беззащитные детские ключицы которых не скрывало грубое, яркое платье. Все в ней, как разглядывал Красильников,— ненужная косметика, ранняя усталость под глазами, само это вульгарное платье, шитое на какую-нибудь толстоплечую тетку,— все говорило о том, что в судьбу девушки вмешалась чья-то черствая, соблюдающая лишь собственную выгоду воля.

— Может, конфет?— заботливо предложил Красильников.— Шоколаду? Цветов у вас тут нет?

— Сиди!— мрачно предсказал Семен, по-волчьи показав блеснувшие сбоку зубы. Девушка метнула на Красильникова признательный взгляд и ступевалась окончательно. Олег, саксофонист, еще кто-то, сидевшие вокруг стола вольно, нога на ногу, с рюмочками у самых губ, посмотрели на Красильникова с усмешливой снисходительностью, и Красильников, хоть и одурел уже от выпитого, от света, гама и табаку, от человеческого мелькания, все же воспринял красноречивый взгляд оркестрантов как нужно: что-то здесь не для его ума.

— А вы,— подвинулся он тогда к отдыхающему саксофонисту, который правился ему больше остальных,— вы что, в самом деле кончали университет?

Опять что-то примитивное было в этом прямом вопросе приезжего провинциала, но молодой человек великолепным жестом отнес от губ недопитую зацелованную рюмочку.

— Сеня сказал, да?.. Было дело.

— Нет, ты ему скажи, скажи!— вмешался угрюмый, разочарованный Семен.— А то он тут меня все подтекстом донимал. Прямо пйжон какой-то.

— Вот как!— приятно удивился саксофонист, и на его уз-

ком интеллигентном лице обозначилась заинтересованность.— Это очень современно... А что вас интересует конкретно? В моей судьбе, я имею в виду.

Красильникову хотелось поговорить вообще, придвинуться еще ближе, доверчивей, и он уже взялся за стул, чтобы придвинуться, как за соседним столиком, где давно гудела компания каких-то багровых толстяков в добротных кителях. вдруг раздалось грязное, тяжкое ругательство. Слышно было всем, но смешался один Красильников. Он метнул взгляд на девушку и увидел, что она увлеченно водит пальцем по ярким узорам платья на коленях,— словно не слышала. Умный саксофонист сморщил в усмешке тонкие румяные губы.

— Вот вам, кстати, предмет моих дипломных исследований,— он кивнул рюмочкой на соседний стол.— Как на заказ... Вы не замечали, как легко, как изобретательно ругается человек в России? Что вы! Это же великолепная иллюстрация ко всей нашей многотомной истории. В мате, в российской нашей изощренной ругани, если хотите, можно найти и угадать все. Не надо заглядывать ни в Ключевского, ни в Соловьева, ни тем более в Карамзина. В современные учебники, между прочим, тоже... Историческая ругань! Русский человек застенчив по натуре, это верно, по оттого он и ругается так увесисто, так цветисто, что словотворчество его не может, не имеет права пропасть бесследно. Оно должно сохраниться, как памятник, и оно, надо сказать, сохраняется, оно живет и будет жить. Своеобразный памятник любой эпохе! Смотрите сами, что получается. Как какое событие — русский человек тут же увековечивает его, и не в чем-нибудь, а именно в мате. Разве не приходилось вам слышать уже кое-какие космические детали? Вот то-то! Это не показательно? А войну возьмем? Там, я представляю, такое было напряжение, такие страх и ужас, что человеку мало казалось вечных, апробированных... ну, ингредиентов, что ли. И он, кроме родителей, кроме боженьки далекого, привносит в ругань то, что ближе, что вот перед глазами: врага, недруга, смерть, увечье,— все! И ведь с каким искусством!.. Нет, этим надо заниматься специально. И вот я, некоторым образом, решил удивить нашу славную науку. Вот соседский возглас от всей души. Могу не глядя сказать, что эти нагрузившиеся граждане — бывшие фронтовики. Так сказать, фольклор тех грозных, незабываемых лет. Я посвятил или, вернее, намеревался посвятить этому свою дипломную работу, этакое капитальное исследование: «Влияние Великой Отечественной войны на великий русский язык». Разве не интересно? И руководителя я пашел не доцента ка-

кого-нибудь, не профессора зашмаленного, а боевого, заслуженного дядю, подполковника в отставке, бывшего командира штрафного батальона. Вот это был знаток! Художник, творческий человек! Что эти жалкие фронтовики за соседним столиком?

Не понять было, шутил, всерьез ли все рассказывал парень, но Красильников видел, что оркестранты хоть и посмеиваются, а слушают заинтересованно. Саксофонист ему нравился все больше.

— А что, очень даже возможное дело!— поддержал он его.— Правда, Семен? Вспомни-ка, как на фронте крыли. Ах, и крыли же! Птицы замертво валились! Пули пугались! А?..— Он переждал, пока отсмеются, и глядел на всех весьма воодушевленно.— Это сейчас смешно, а вот когда до смерти, как пелось, четыре шага, так человек, во что хочешь начинает верить. И что пуля его облетит, если испугать ее как следует,— тоже верит. Не вру! Не вру! Семен, да ты сам скажи им, не молчи. Им же все интересно!

Он готов был удариться в воспоминания, сгрудить ребятшек вокруг стола поближе, чтоб сидели и не дышали, узнавая, как доставалось когда-то старшим, и уж случай приготовился подходящий, тот незабываемый случай, когда смерть не в четырех шагах, а рядом, совсем вплотную караулила разведчиков, но они все же выбрались и уцелели, и не только уцелели, унесли лихие головы, а еще и «языка» с собой приволокли. Великий, почти необъяснимый теперь случай! Объясни его попробуй вот тут за столиком! Не поверят. А ведь было, на самом деле было,— не придумано под хмелем... Притихшие оркестранты, почувствовав настроение, приготовились и начали сдвигаться, как вдруг Семен поднялся и заторопил, заподгонял всех, кто сидел за столом:

— Пошли. Пошли-ка, ребятки.

Похоже, у него внезапно возникло какое-то свое решение и ему не терпелось поразить собравшихся. Уходя от столика, он многозначительно сдвинул Красильникову плечо:

— Посиди, послушай. Сейчас услышишь.

— Сеня,— напомнил, направляясь к эстраде, саксофонист,— четыре заказа из зала. Деньги получены.

— Ничего. У меня идея.

Стол опустел, вокруг в беспорядке остались покинутые стулья. Красильников ждал, недоумевая, чем собирается удивить его Семен.

Парни из оркестра один за другим вспрыгивали на эстраду, расходились по местам, брали инструменты. Семен, силь-

но прихрамывая, ковылял позади певицы и, придерживая ее за локоть, что-то втолковывал. Девушка, приноравливаясь к его перебивчивому шагу, внимательно слушала и кивала головой.

Появилась на эстраде рыхлая мрачная дама, села за рояль. Старик скрипач, наспех поужинав, пробирался на свое место и несколько раз утер ладонью губы.

Семен, застегнутый, строгий, оглядел все ли на месте, и, разминаясь, поиграл пальцами на клавишах трубы.

Можно было начинать

Оркестр, замерев на местах, смотрел на девушку, ожидавшую у самого края эстрады. Опустив руки, она стояла и ждала, пока утихомирится зал. И шум повемного пошел на убыль.

Она дождалась такой тишины, что стал слышен дребезг грязной посуды, сваленной где-то далеко на кухне.

— В память старых друзей,— внятно, негромко произнесла она, и голос ее достиг самых дальних, самых дымных углов безмолвного, притаившегося зала,— в память наших отцов, братьев, сыновей... в память наших любимых, не вернувшихся с войны... в память всех погибших... оркестр исполняет популярную фронтовую песню... «Землянка».

«Ч-ерт! — умиленно восхитился Красильников и заволновался, заерзал на стуле.— Это он здорово придумал!»

Свет в зале и на эстраде погас, исчез в темноте оркестр, осталась одна девушка, высвеченная колым лучом сверху.

«Повко! — крихтел Красильников, устраиваясь поудобнее.— Это он правильно...»

Луч света словно отдалил девушку, она стояла одинокая, тоскующая, голорукая, и фронтовой мужской печалью по домашнему огоньку зазвучал ее негромкий задушевный голосишко. «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага...»

Растроганно встряхивая головой, Красильников все чаще утирал пальцем в самом уголке глаза. «Вот чертушка! — повторял он.— Молодец!» Он не сразу заметил, что голоса девушки постепенно не стало слышно, хоть она и продолжала петь, поднимая и опуская свои тоскующие руки, однако песня рокотала, слитные мужские вздохи прокатывались по огромному, угарно-дымному залу. Осторожно поворотившись, Красильников увидел, что компания багровых мужчин за соседним столиком, да и не только за соседним, а и за тем, за тем — повсюду, все, кого застала песня, подперли щеки, уставили лунатические, размякшие от воспоминаний глаза и гудят, гу-

дят, шевелят губами. Да он и сам, кажется, повторял по памяти давнишние незабытые слова.

Пожалуй, на самом деле собралось сегодня здесь немало фронтовиков, если так спелись неожиданно не знающие друг друга люди и допели, довели неторопливо до конца, испытав короткое, но вечно сладкое душе воспоминание.

Песня замерла, утихла, но зал еще сидел и безмолвствовал, и свет не зажигался с минуты, если не более. А когда вдруг отрезвляюще завспыхивали лампы и виден стал оркестр, рояль, трубач, соседи за столиками, все в дыму, багровый плачущий мужчина в плотном кителе буйно вскочил на ноги и заорал, лоснясь лицом и вздымая изо всех сил налитый фужер:

— Би-ис!.. Ура-а!..

Это прозвучало, как команда. Ревя и сокрушая стулья, мужчины пошли на приступ, повалили по проходам, и скоро затопило всю площадку перед эстрадой. Над головами, над сгрудившимися спинами, над затылками замелькали рюмки, фужеры, стаканы, кулаки с зажатыми деньгами. Красильников видел, что Семен, раскланиваясь ловко и привычно, чокается со всеми, кто тянулся, и в то же время быстро, как бы мимоходом, незаметно собирает свободной рукой все, что протягивалось в кулаках. Собирает и прячет, рассовывает по карманам, и в этой незаметности и ловкости собирания видна была немалая натрелость, мастерство. Девушка тоже кланялась и улыбалась, но не чокалась, а лишь помогала трубачу собирать обеими руками.

— Ну? Видал?— спросил запыхавшийся Семен, с размаху плюхаясь на стул и рыская глазами по разграбленному столу. Из кармана у него, как уголок платочка торчала смятая рублевка. Он что-то глотнул, что-то подцепил на вилку и зачавкал, низко пригибаясь к тарелке и возбужденно блестя глазами.

— Деньги-то зачем?— проговорил страдальчески Красильников.

Семен перестал жевать и, оберегаясь, чтобы не капнуть на грудь, застыл с поднесенной ко рту вилкой. Помолчал, бросил вилку,— расстроился чрезвычайно.

— Никак что-то мы с тобой...— и скомкал, отшвырнул салфетку.

Подошла, приблизилась девушка, тоже возбужденная, с улыбкой, с уверенностью, что гостю все понравилось. Семен, едва взглянув на нее, сунул ей выдернутый из кармана рубль.

— Тебя еще не хватало! На, сходи лучше за водой.

Ничего не понимая, она с беспокойством посмотрела на одного, на другого.

— Не надо мне денег,— сказала она.— У меня есть.

— Сколько?— отрывисто спросил Семен, все еще избегая смотреть на Красильникова.

— Вот,— девушка доверчиво показала ему мятые рубли и трешки. Он быстро, деловито забрал все, что у ней было, оставив прежний рубль.

— Воды.

В недоумении она отошла, не посмела послушаться, но, пока уходила, несколько раз оглянулась. В покорности ее было что-то жалкое,— Красильников ствернулся и стал сердито барабанить пальцами по столу.

Скоро он заметил, что кто-то вновь делает ему издали знаки, пригляделся и снова узнал дядю Леню. На этот раз Красильников откликнулся сердечнее — он оживился, поднял и показал рюмку, приглашая выпить.

— С кем это?— хмуро спросил Семен и оглянулся.— А, этот.

— Может, пригласим?— предложил Красильников.

Не отвечая, Семен забрал у подошедшей девушки бутылку с водой, налил, жадно выпил, затем порылся в кармане и достал трешку.

— На,— протянул девушке,— и скажи, чтобы за тот вон столик... да не туда смотришь!..— за тот столик подали сто граммов коньяку или двести водки. Нет, пускай лучше водки.

Кажется, все выпитое за весь сегодняшний день давало знать,— Красильников, морщась, потер горло. Болела голова и сухо, больно было глазам.

Семен сказал:

— Мы после всего собраться хотели. Посидеть, поговорить.

— Где собраться?

— У меня хотя бы... Хаты, слава богу, у всех есть. Посидим. Если хочешь, девочку организуем. Стелка сейчас позволит. Если хочешь, конечно.

— Да ну вас, с девочками вашими!

— Смотри, твое дело. Может скучно показаться.

— Да нет, я совсем не хочу.

— Ах вон как!— уязвленно прогянул Семен.— Разногласия, так сказать, на идейной почве!

Красильников наблюдал, как он сердится, и разочарованно покачивал головой.

— Слушай, Сеня... Семен... Как гебя по батюшке-то?

— На официальную ногу переходишь?

— Так ведь неловко И лысина вон, и зубы золотые... Выраста все-таки. Пацанам-то в отцы годишься.

— Мо-ра-ли-тэ!— Семен скривил губы.— Ну, ну, понятно. Значит, память, сколько бы лет ни прошло...

— Помолчи насчет памяти,— предупредил Красильников.— Твои подходят.

Семен трудно поворотил голову, с раздражением оглядывая всех, кто подходил и без стеснения располагался за столом. Красильникову показалось, что он сейчас прогонит их, чтобы не мешали,— и отодвинулся: вообще-то пора было прощаться. Он с улыбкой взглянул на Пашкиного сына, совсем взрослого, самостоятельного парня, развалившегося на стуле с сигареткой и рюмочкой.

— Что ж, Олег... Олежка... Олег Павлович. Я пойду.

Неожиданно обрадовалась и захлопала в ладоши девушка:

— Ой, а ты разве Павлович? Я — тоже!

Не разжимая зубов, Семен процепил в ее сторону:

— Зат-кнись!

Он сидел мрачнее тучи, ни на кого не смотрел и все вращал, вращал по загаженной скатерти пустой фужер, в котором валялся размокший окурок.

Молчаливость его, отчуждение не укрылись от Олега. Молодой человек подозрительно глянул на Красильникова, затем наклонился и спросил вполголоса:

— Сеня, что случилось?

— А!..— поморщился Семен, показывая рукой, чтобы не приставал с расспросами.

Олег выпрямился на стуле, гневно сдвинул брови. Вот когда узнал Красильников, насколько велик для парня авторитет хромого трубача.

— Скажите,— обратился к нему Олег и развязно закачал ногой,— вы в самом деле кричали, когда в атаку шли: «За Родину, за Сталина!»?

Красильников, совсем собравшийся встать и откланяться, упер кулаки в колени и пристально, пытливо уставился в бойкие, чересчур бойкие, пожалуй, даже нагловатые глаза парнишки.

— А ты хоть представляешь себе, что это значит: пойти в атаку?— спросил он, неприятно удивляясь, что вопрос такой задал не кто-нибудь из оркестра, не саксофонист даже, а сын его товарища, лучшего дивизионного разведчика.

Но ничего не изменилось в ясных, вызывающе взиравших глазах нахального барабанщика, и Красильников, еще не начиная как следует сердиться, подумал, что им с Пашкой в таком возрасте уже хорошо было известно, каково это ломать страх и подниматься из-за бруствера под пули. Да и вообще не представлял он, чтобы Пашка или сам он, Красильников, тот же Семен до фронта, все ребята их большого довоенного поколения, почти целиком не вернувшегося домой,— чтобы они вдруг стали вот так с ехидцей, нахраписто задираТЬ змеиными вопросиками какого-нибудь ветерана гражданской или иной какой войны. И в голову бы не пришло!.. И еще подумалось Красильникову, пока он молчал и смотрел, смотрел в светлые задиристые глаза парнишки: услышал бы Пашка покойный своего теперешнего отпрыска! А ведь нисколько не старше был,— если только не моложе. Убитые не стареют и навечно остаются в том возрасте, в котором погибли, и для Красильникова сейчас покойный Павел и его подросший сын были одного года, одного примерно возраста, будто сверстники,— но какая же разница представлялась между ними!..

Тем временем молчать было довольно и следовало что-то отвечать. Но сильно расстроил его Пашкин сын,— лучше бы он не засиживался тут, не дожидаясь неизвестно для чего ни часа позднего, ни подлого, скандального вопроса. Что сказать ему, ответить, что породят в этих юных безмятежных лбах принаряженных парней его слова о сграшном, леденящем миге загремевшей, начавшейся уже атаки?

— Там, дружок, когда подниматься надо, что хочешь закричишь,— с укоризной терпеливого человека выговорил Красильников парню, решив не затевать неужного скандала.— Это, брат, похлепце, чем звуковой барьер преодолеть. Точно говорю... Между прочим, отца твоего поднимать не приходилось — первым вставал. Такой уж человек был... А у тебя, наверное, даже фотографии его не сохранились? А?.. Но хоть что-нибудь сохранилось? Или нет?

Обо всем этом Красильников намеревался поговорить с парнем с глазу на глаз, без свидетелей, но, кажется, как раз свидетели-то и стали теперь необходимы,— вот эти люди, с которыми жил, рос, барабанил по вечерам Пашкин многого не понимающий сынишка.

И тут Красильников с удовольствием увидел замешательство. Настоящая ли память о погибшем отце, которая все же сберегалась им, голос ли фронтовика, задевший парня за душу, или прямой взгляд настойчивого гостя, но Олег почув-

ствовал себя неуютно. Однако он не поддался и, упрямо настраиваясь на прежний лад, как-то неумовимо ловко поиграл в воздухе тонкими разболтанными кистями барабанщика.

— Как не сохранилось?— возразил он с пущим вызовом, выдерживая заинтересованный прицельный взгляд Красильникова.— А надпись? Не читали на дверях? Папашкино произведение. С тех давних пор. Мамахи не слышать не хочет, чтоб содрать. Реликвия! Фреска Рублева! Со временем придется в бронзе увековечить.

— Да-а...— протянул Красильников.— Хорошенькое, я гляжу, дело... Ах, драть, драть тебя надо было, поросенок! В свое время, конечно. А ведь не драли, наверное? А?

— Не!— тотчас же весело, теперь уже с явным намерением не давать спуска, откликнулся Олег, а Красильникову стало неловко под его слишком ясным, слишком бессовестным взглядом.— Некому было. Я же незаконнорожденный. Мамашка, как говорят простые советские люди, меня в подоло принесла. А незабвенной памяти папашка...

— Щенок!— не выдержал Красильников и хлопнул по столу, обрывая разглагольствования обнаглевшего мальчишки. Какие говорливые, какие речистые пошли они нынче!..

— Тихо, тихо,— вмешался Семен, поднимая голову.— Без скандала.

— Да как он смеет!— расходился Красильников, несколько не сомневаясь, что все они здесь, пожалуй, против него заодно: и эта девчушка с порочными перепуганными глазенками, и циничный умный саксофонист, и с Пашкиным характером Олег, закусивший теперь удила, а в первую очередь, в самую первую — этот, напротив: Семен.

— Наверное, смеет,— тотчас вступился за своего Семен, все больше забирая право возражать и одня на один вести неприятный разговор.— Пожалуй, даже точно можно сказать: смеет. Его право.

— Не смеет! Не имеет права! Никакого права! Слышишь?

Красильникову хотелось поддержки, союзника, единомышленника, но видел он одни пустые взгляды равнодушных молодых людей, которых если что и волновало сейчас, так лишь назревающий скандал. Один Семен не смотрел ему в глаза, не поднимал головы, но усмехался краешком губ и только и делал, что вращал с ироническим видом фужер с раскисшим окурком. И эта тонкая ухмылка, это сознание собственного авторитета у не обломанных еще жизнью юнцов все больше выводили Красильникова из себя. Понимал, не понимал

он, хромой беззубый подонок, что будет с этими ребятишками, попади они вдруг в смертельный переплет в какой-нибудь накрытой огнем воронке!

— Твоя работа?— спросил неожиданно Красильников, отбрасывая всяческую деликатность.— Чего молчишь?

— Зачем — моя?— нисколько не обиделся Семен и даже голову склонил набок, будто целиком поглощенный вращением фужера.— Так уж и моя. Скажешь тоже...

— Гад!— не удержался Красильников.— Ты что делаешь? Ты понимаешь, что творишь? Это же твоя работа. Я по роже твоей поганой вижу... Чего ты рыло воротишь? Сюда смотри!

— Тихо. Тихо, я сказал...— Семен резко отодвинул фужер и поднял побледневшее лицо.— Скандала не нужно. Не в твоих интересах.

— А я говорю: гад! Гад!.. Если бы Пашка был сейчас живой...

— Паш-ка?!— взвился вдруг Семен и, уронив фужер, напруг плечи, вцепился обеими руками в край стола.— Может быть, ты хочешь, чтобы я сказал, почему он не живой? А? Хочешь?.. Хочешь?..

В прорвавшейся ненависти, нисколько теперь не сдерживаясь, он кричал, лез в самые глаза и будто порывался опрокинуть стол на противника. Красильников, глядя, как дергает и ломает судорога его бешеное лицо, каменел и выпрямлялся с презрением, с брезгливостью, со злостью. Да, это был тот самый человек, которого приходилось когда-то держать на мушке, под прицелом. Нисколько не изменился.

— Сука,— произнес он, поднимаясь из-за стола и не замечая никого вокруг.— Тварь поганая. Мало тебе рожу били. А ну пойдем! Пойдем выйдем... Вставай!

— Ха! Герой! — мстительно расхохотался Семен, показывая все до одной золотые коронки.— Сиди и не рыпайся. Видали таких. Тут тебе не Чухлома твоя, не Черемхово...

Бац!.. Откуда только что взялось? Никогда в жизни Красильников не подозревал, что в состоянии так сильно, так плотно ляпнуть человеку в самое лицо. Какое-то давным-давно забытое помрачение, когда, подпавшись из-за бруствера под пули, человек живет одной лишь подмывающей на крик яростью и старается поскорее пробежать, ворваться, прыгнуть и — бить, колоть, крушить, — уничтожать, чтоб никогда больше не подниматься, не бежать, не ждать смертельно, что клюнет тебя в сердце наизлет литая хищная пуля.

— Убью! — ревел униженный Семен, опрскинувшийся вместе со стулом. Он барахтался на полу, никак не в состоянии подняться, пока к нему не подскочили и не помогли. И странно, — Красильников даже пожалел, что подбежали и вмешались люди, развели, схватили их за руки. Он не кричал, не рвался, но был готов к любому наскоку и сгоял люто, прямо, сверкая и грозя глазами.

Слишком много набежало и сгрудилось возле стола, чтобы произошла и разгорелась обоюдная честная драка. Красильникова еще держали, но он уже пришел в себя и теперь слушал, как бьется где-то в глубине взбаламученного зала до смерти разобиженный трубач, рвется из сочувствующих рук и неистово грозит:

— Он гад! Он гад! Он человека убил... Да, да! Куда вы меня тащите? Пустите, я ему все скажу!

Когда Красильникова повели, он вдруг расслышал: «До свидания!..» — оглянулся и узнал саксофониста, все время так и просидевшего у стола нога на ногу, с рюмочкой в руках. Красильников не ответил, но оглядывался несколько раз, и всякий раз саксофонист подмигивал ему и сочувственно кивал узким упымым лицом.

...Из милиции Красильникова отпустили не скоро — за полночь. Усталый дежурный с тяжелыми семейными морщинами на лице распорядился привести задержанного и долго ничего не говорил, раскладывая по ящикам стола накопившиеся за день бумаги. Убрал, очистил стол, положил перед собою руки. Плотная, не по погоде форма сидела на нем с привычной армейской обыденностью.

— За что это ты?

Красильников ответил пристыженно, но без тени раскаяния:

— Да так... Чего теперь?

— Воевали, что ли, вместе? — снова неслужебным голосом поинтересовался дежурный.

— А!.. — сказал Красильников, отворачиваясь. — Делайте скорей, что надо!

— Ладно, ступай, — вздохнул дежурный, с великим облегчением расстегивая тугие пуговицы на горле. — Идите, идите... — подтвердил он, с удовольствием потирая натруженную шею. — А вообще-то надолго к нам?

От неожиданности Красильников растерялся и не верил: правда, нет?

— Так вот... — проговорил он, нерешительно поднимаясь. — Можно сказать, ничего еще не видел, а... — и руками развел.

Дежурный усмехнулся и снял надоевшую фуражку, обнажив голый крепкий лоб. Ему хотелось спать. Носовым платком он принялся тщательно вытирать фуражку изнутри.

Остывший к рассвету город был пуст, тих и прохладен. Красильников оглядел, сильно ли попорчен пиджак, когда его схватили и удерживали, почистил рукава и медленно побрел под одинокими меркнущими фонарями.

Солнце он встретил на берегу, и ранние неторопливые купальщики с недоумением разглядывали квелего принаряженного мужчину, сидевшего на клочке газеты у самой кромки гладкой, неразбуженной воды.

1967 г.



РЕКА

1

Сорвавшись с лесов, Павел Трофимов больно ударился грудью о землю. Захватило дух, потемнело в глазах — так еще мальчишкой, играя на кулачки, вдруг получал предательский удар «под самый вздох».

Лежать было неловко — глазами других плотников Павел видел себя: как сорвался, как летел — неуклюже, раскорякой. Эка, скажут... Хотел было вскочить бодро и непринужденно, прикрыв неловкость шуткой, но подломились ноги, и, чтобы устоять, пришлось невольно схватиться за шершавый конец горбыля. «Еще как о горбыли не треснулся».

Плотники, свесив головы, испуганно смотрели на него сверху круглыми, все замечающими глазами.

Отдышавшись, Павел полез наверх, крепко хватаясь за мокрые холодные доски. Только сейчас он обратил внимание на свои руки — худые какие-то стали они, мосластые. И слабость, поразительная слабость! Он кашлянул — в груди, у самой косточки, явственно обозначился большой саднящий комок. «А ведь зашиб грудь», — подумал Павел, осторожно ставя ногу.

Его ждали — подхватили, поставили на леса. Павел увидел беспокойные строгие глаза Арефьича, бригадира, и попробовал улыбнуться, но улыбка получилась жалкой. Арефьич промолчал. Удержался от прибаутки и Митька Першин, косоглазый, разбитной парень, пришедший в бригаду гораздо позже Павла, но успевший завоевать общую любовь своим неистощимо веселым нравом.

— Ну ты, брат, что-то совсем... — только и промолвил он, отправляясь на свое место.

Рабочий день продолжался. Бригада паразивала опалубку плотины. Стоять на скользких грязных досках лесов было холодно и противно. То и дело начинал моросить мелкий, по-осеннему нудный дождь, серое тяжелое небо бесприсветно лежало на самых сопках.

Река в этом году вскрылась рано, но ледоход продолжался долго. Прошло уже педели полторы, а все еще несло грязный воздреватый лед — шугу. Арефьич качал головой — так и к апрелю не очистится. Но про себя понимал, что только сейчас трогаются мелкие горные речонки и вода, конечно, будет прибывать и дальше. Бригадир сокрушался — как бы не сорвало работы. А прекратится опалубка, станут и бетонщики. Весь план тогда полетит кувырком. Темная полая вода плескалась у самых лесов, недалеко от того места, где упал Павел Трофимов.

Павел работал на самом верху — устанавливал сколоченные щиты. Привычно вгоняя обухом гвозди, он нет-нет да и ощущал скопившийся в груди большой комок. Морщился и еще ожесточеннее взмахивал топором — «Пройдет. Вот день-два, и пройдет».

Но боль не проходила, и Павел пошел в больницу. В тесной беленькой комнатке длинного барака, где помещалась поликлиника, врач долго выслушивал его, выстукивал, быстро прикасаясь к телу холодными кончиками пальцев. Павел послушно поворачивался, с горечью думая о себе среди этих нездоровой белизны стен и простыней. Он заметил свой худой дряблый живот, ребра, проступавшие под кожей, почувствовал немощь острых, вялых плеч. Пожалуй, действительно заболел — на турнике бы сейчас не подтянуться.

Врач слишком долго вынимал из ушей резиновые поводя стетоскопа. Глядя на носки сапог Павла, неопределенно пожевал губами.

— И давно это у вас?

— Что? — не понял Павел, посмотрев в его холодные, обрекающие глаза.

— Да вот...— и врач легонько побарабанил себя пальцами по груди.

Павел, оробев, стал объяснять, как он лез по лесам и — то ли нога поскользнулась, то ли рука сорвалась — полетел...

— Недели, говорите, две? — снова задумался врач. — Да нет, похоже, что это у вас давненько.

Пока он молчал, Павел стоял голый по пояс и не знал, можно ли взять вывернутую, комом валявшуюся на белом топчане рубаху. В настенном небольшом зеркале он видел свои горячие цыганские глаза, устало сложенные губы и темную мужичью шею.

Врач разрешающе махнул рукой — одевайся — и, озабоченно присев к белому, заставленному пузырьками столу, стал писать.

— Видите, Трофимов, у вас это не просто ушиб, — мягко заговорил он, поднимаясь и протягивая Павлу рецепт. — Дело, по всем признакам, гораздо солиднее. И... и опаснее, — чего от вас скрывать? — Он сунул руки в карманы халата и покачался с пятки на носок; халат обтянул его полные следящего за своим здоровьем человека плечи.

Неловко заправив рубаху, Павел равнодушно слушал, как врач советует ему уехать куда-нибудь, лучше всего в деревню — в степь, на луга, на вольный воздух. А здесь река доконает его.

— Река? — отважился недоверчиво улыбнуться Павел. Ему захотелось рассказать, что воды он совсем не боится — мало ли ему приходилось работать на воде? На этом самом Иртыше он уже четвертый год — до Бухтармы успел еще прихватить года полтора на Аблакетке. А на Дальнем Востоке, где строили мост через Амур? Уж если здесь мокро и гiblyо, то там совсем никакого спасенья не было — от сырых, пронизывающих ветров мерзла даже скотина. А он ничего — привык. И никогда бы не уехал — за шесть лет службы и этих кочевок по стройкам прижился как-то, освоился, — но очень уж заманчивые вести шли с Иртыша. Читал Павел, что и в родной алтайской глухомани время замаячило строительными лесами, кранами и плотинами. Не выдержал, бросил все — приехал... Так что к воде он привык — на реке, можно сказать, родился, на реке и... Но врач не дал ему и рта открыть.

— А что вы думаете? — воскликнул он обиженно. — Да вы только посмотрите! — И, отдернув белую занавеску, рукавом халата протер потное, слезящееся стекло. — Видите, льет-то как...

На улице, за окном, наступали ранние непогожие сумерки и лило, лило без конца и края. Павел с беспокойством подумал, что опять бригада стоит под навесом и хмурый Арефьич материт все на свете.

— Нет, мне из бригады нельзя,— запротестовал он.— У нас нынче работы...

Он и в самом деле отчаялся: как это так — сразу взять и уехать? А бригада? А специальность? Да ведь, прежде чем стать тем, кто он есть, сколько ему пришлось помыкаться? Почитай, весь Дальний Восток прошел. Еще спасибо, армия многому научила: Павел пошел в стройчасть и там от дедовской лопаты постепенно пересел за руль грейдера. После демобилизации это помогло устроиться на хорошую, квалифицированную работу. Правда, приходилось быть и мотористом, и крановщиком — где как. Уже здесь, на Иртыше, взял в руки топор — стал плотником-опалубщиком. У Арефьича было интересно — не только работаешь, но и учишься. И вдруг — уехать. Нет, уехать он не сможет.

— Да поймите, Трофимов, работать здесь для вас яд. Сырость, река эта — чистейший яд! Тут и в доброе-то время...

Павел слышал от казахов, что место здесь действительно было низинное, гиблое, но соглашаться с толстенным белым доктором не хотел и по дороге к себе в барак мысленно спорил с ним. Выдумал тоже — яд. Ни для кого не яд, а для него яд...

Но через несколько дней, работая на лесах, он не удержал щит, и тот полетел вниз, обламывая торчащие концы горбылей. Хорошо еще, что никого внизу не оказалось. Наделал бы тогда дел! Строгий Арефьич отвел Павла в сторону и внушительно сказал — надо, надо, брат, лечиться. Павел, тоскливо глядя наверх, где звонко и споро работала бригада, теперь и сам понял — да, надо лечиться.

Вечером он написал сестре в деревню и лег, сиротливо отвернувшись к стене. В бараке еще долго шумели — всех потешал неунывающий Митька. Павел, укрывшись с головой, задумчиво моргал горячими глазами.

Сестра встретила его на пристани. Еще с борта Павел заметил ее — Анна в платке и заплатанной кацавейке стояла около подводы, постегивала кнутом по сапогу. Павел улыбался, но знака не подавал — пусть сама узнает. Но Анна шарила глазами по медленно пристающему пароходу и не обращала на него внимания. «Ай, сестра, ай, разиця! — радовался Павел, прямо-таки обжигая смеющимися глазами

подошедшую к самой воде Анну.— Да ну же, ну...» Но Анна уже несколько раз равнодушно скользнула по нему взглядом и не узнала его; а Павлу теперь не стоило труда разглядеть ее всю. «Постарела, здорово подалась сестра. А ведь почти ровесники...»

Когда пароход пристал, оказалось, что сходить здесь нужно только одному Павлу. Кажется, и у борта, кроме него, никого не было. «Что же это Анна, или забыла?..»

Павел ступил на землю и осторожно, словно пробуя ее ногами, направился к подводе. Анна все еще стояла у причала, высматривала. Он подошел к подводе, по-хозяйски оглядел ее — вроде ничего живут, только тележошкa подкачала. Павел тронул рукой дробину — труха, сгнила вся. Он положил мешок в телегу и пошел к Анне. «Вот обрадуется», — думал он, приближаясь к ней.

Одета сестра была плохо — из последнего. Со спины ни дать ни взять старуха.

— Ну, здравствуй... сестра, — голос Павла осекся от волнения.

Анна испуганно обернулась и, глядя на него, медленно, медленно поднесла ладони к похолодевшим щекам.

— Да неужель... или Павлуха? Братушка, да чего ж это с тобой! — Припав на мгновение к его груди, она вновь подняла неузнавающие ошеломленные глаза.

Тут только Павел понял все и сник, устало опустив плечи.

К подводе он шел из последних сил, будто всю эту длинную скучную дорогу по воде он один, своей силой тянул бечевой пароход. Анна суетилась вокруг, неловко поддерживая его за спину. Кнут она обронила и не посмела вернуться — пришлось бы оставить брата.

Павел неуклюже влез в телегу и лег на старой, собранной сестрой по дороге на жнивье соломе. Анна поправила у него под головой мешок и суетливо полезла на облучок, все почему-то в спешке, торопясь, словно боялась не довезти его живым. «Ну, все теперь, — подумал Павел, закрывая глаза. — Теперь все». До сих пор ему казалось, что со стройки он уехал ненадолго; вот придет в деревню, погостит, посмотрит, раздаст гостинцы и вернется. А вот сейчас понял — все. Доконала его река. Ведь всю зиму в воде — ноги сырые, сырость от реки. Даже в бараке и то не продохнешь — сушат портянки, валенки, телогрейки. Видно, прав был доктор. В памяти проплыли одутловатое с залысынами лицо доктора, суровый, с острой бородкой, Арефьяч и еще кто-то, безликий, туманный...

Проснулся Павел под вечер. Поднял голову. Телега моталась на разъезженной, разбитой дороге. Ехали все еще вдоль реки, — значит, до деревни далеко. Надо еще проехать Суворинскую заимку, потом Каменный крест, а уж потом будет поворот; оттуда останется часа полтора, ну от силы два. Тянулись родные, с детства искоженные места. Подступала наезженная, веками гложувшая кержацкая сторона, подступала дебрями, медвежьим буреломом, белевшими — теперь уже недалеко — вечными снеговыми изломами: белками. Много тут хоронилось селений — заимок, деревень. После восьми лет скитаний по стройкам Павел отвык от всего этого — пожил и в городах, и в бараках, его торопили, и он подгонял; и пооббился, подтянулся — не тот уже, не деревенский был Павел, хотя и оставался, пожалуй, самым тихим в бригаде: там редко слышали его голос... А вот теперь хвойным воздухом детства обступала его дедовская застойная тишина. Да, мало что изменилось здесь с той поры. Не дохлестнула еще, видать, в эти уголки будоражащая волна новых событий. Чем же теперь заняться здесь?

Но невеселые размышления Павла прервала сестра:

— Проснулся, значит. А я уж еду, как с молоком. Намалялся небось за дорожку-то?

Он с удовольствием разглядывал сестру. Нет, не такая уж старуха. Развязала платок, расстегнула кацавейку — под ней Павел заметил серого ситчика кофтенку. «Одна живет...» Павел приподнялся на локтях, подбил повыше мешок. Сон освежил его, и ему казалось теперь, что дорога действительно была нудной, изнуряющей. Тащились вверх по реке двое суток. Старенький пароходишко еле шлепал плицами. Шел дождь, и Павел отлеживался в каюте, среди похрустывавших кульков, свертков, узлов, — провожали его всей бригадой и гостинцев накупили кто сколько мог. Ночью вызвездило, и Павел стоял у борта. Тянул холодный ветерок, сыростью, глубинной стужей несло снизу, от воды. Изредка где-то далеко на берегу появлялся огонек бакенщика и долго стоял на месте. Пароход двигался еле-еле, с трудом борясь с рекой; она упорно тащила его назад, к далеким низинным скалам, где поднимались плотина и шлюз гидростанции. Но пароходишко шел наперекор и увозил Павла все дальше и дальше.

— Да уж известно — дорога, она и дорога, — подтвердила Анна, когда Павел кончил рассказывать. — Ну ничего, теперь отдохнешь. У нас сейчас самая благодать начинается.

Анна сбросила с головы платок на плечи, пригладила растрепавшиеся волосы.

Павел вздохнул, глубоко и облегченно. Да, здесь совсем не то, что там. Разгулялась погода, очистилось небо. Только за рекой, над сопками громоздились кучевые облака. Узкая щель горизонта рдела закатным пламенным цветом. Дождям теперь конец. Павел вспомнил, как ждал этой погоды Арефьич. Теперь опалубка пойдет! Интересно, кого возьмут в бригаду вместо него?

Анна, видно большая охотница посудачить, болтала без умолку. Павлу волей-неволей пришлось слушать все. Анна рассказывала, что в деревне теперь, слава богу, жизнь пошла вроде на поправку. После того как скосили недоимки да повысили закупочные цены, колхоз заметно стал поднимать голову. А то было захирел совсем; не помогло и укрупнение. От неурожаев да тощего трудодня народ стал расползаться кто куда — в город, на рудники, «на эту вашу станцию много подалось, устраивались люди»... А в последние годы сбили в деревне артель — валять пимы, шить полушубки. Какой-никакой, а — заработок. Колхозу бы и совсем теперь каюк, но одно за другим пошли правительственные постановления, и колхозники вздохнули полегче. Теперь уже неизвестно, кто кого возьмет — артель или колхоз. Особенно после того, как отменили обязательные поставки с хозяйств.

Павел слушал и думал, что, оказывается, и сюда доплескивают последние события, и здесь трещит и корчится надоевшая старина. Всю страну, все уголки продувало свежим ветром. А вот ему приходится немошно трястись на телеге. Анна рассказывала, что она было совсем хотела перейти в артель, но не пустили, а теперь уж и не стоит. Правда, до желанного изобилия еще далековато, но ведь и в артели-то не с медом кусок едят. А колхоз нынче к осени думает поднять трудодень, так что ей будет что получить. Пока же приходится перебиваться — огородишко, хозяйство. Ну, кто попроворней, тот успевает приторговывать — по воскресеньям в райцентре базар. Вот соседка, вдовая Пелагея, так та с базара и живет. Живет одна, с девчонкой, но устроилась лучше не надо... Ехать встречать-то пришлось ей поклониться, чтоб дала подводу. Не отказала...

— Это какая же вдовая? — спросил Павел. — Уж не лупоглазая ли, с косичками?

— Ну да, Макара Селина, соседа нашего, — забыл, что ли! — дочка. С косичками, с косичками, лупоглазая... Так это ты ее еще девчонкой знал, а теперь она — я те дам!..

— Смотри ты, а ведь я ее сейчас и не узнаю! — заворо-

чался Павел, оживившись от воспоминаний.— Вдовая, говоришь?

Анна проворно утерла губы.

— Тут был у нее один, куда там!.. Забрала его к себе, избу хотела на него писать. А он возьми да и удери. Дураки, ей-богу, дураки эти мужики!

Павел внезапно закашлялся и кашлял надсадно и долго. Анна умолкла и со страхом смотрела на его корчи, на сизое, с белесыми отливами лицо.

— Лечиться тебе, братушка, надо,— тихо сказала она, когда Павел утомленно затих.

Павел поморщился:

— Надоело уж все.

Она поняла его по-своему и подхватила вожжи.

— Теперь уж быстро, недалеко. Вот тут сейчас завернем, а уж там, поди, не забыл еще...

— Поворот? — встрепнулся Павел, приподнимаясь.

— Вот он, вот. Но-о, куда ты, холера! — прикрикнула она на лошадь.

— Постой, постой, Аня, останови,— попросил он.— Помоги-ка мне.

Анна, остановив лошадь, с почтительным недоумением к причудам брата поддерживала его за спину.

Павел не отрывал от реки глаз. Отсюда, с высоты пригорка, она была видна от берега до берега. Солнце уже зашло, но по поверхности реки еще гулял багровый отсвет облаков. Как бы застывшая в своем могучем устремлении вперед, она казалась откованной из стали.

Ночь уже подкрадывалась с заречной стороны, и тальниковые заросли, темнея, стирали отчетливые очертания берегов. Теперь только стремнина реки блестела тонким разищим клинком. Вот что-то мелькнуло на ее гладкой поверхности, скрылось и опять показалось, уже значительно ниже,— бревно. Где-то оно завтра окажется? Может, утром его увидят Арефьич с ребятами?

Кашлянула и пошевелилась неловко сидевшая позади Анна; Павел пришел в себя.

— Ладно, поехали,— раздраженно сказал он, резким движением плеч освобождаясь от рук Анны. Сестра села на свое место, разобрала вожжи; он лег, закрыл локтем глаза.

Но когда подвода тронулась, Павел не утерпел и поднял голову — реки уже не было видно, телега шибко катилась с пригорка в холодную низинку. Анна торопила лошадь.

«Ну, вот и все».

Открыв глаза, Павел увидел утро — солнечное и веселое. С наслаждением потянулся — давно не спал так славно. В бараке известно, что за постели... Он хотел бойко встать, но с удивлением обнаружил, что не может — в теле была какая-то мягкая, томительная слабость. Не огорчаясь, снова лег: хоть отлежаться за все время.

Сестра держала свою избу в опрятности и чистоте. Над кроватью цветной ситцевый коврик, в углу, где столик, чуть ли не одна на другой наклеены фотографии, открытки, вырезки из журналов. Все это было по-родному знакомо, но давным-давно забыто. Сколько же это времени прошло?..

Вторая кровать в горнице не разобрана, и Павел догадался, что Анна оставила его одного, уведя детей спать в кухню. Сейчас за плотно прикрытой дверью слышались осторожные шаги; тянуло оттуда праздничной, давно не пробованной едой.

Павел задремал, но уснуть не успел. В кухне раздался детский визг, зашикали два приглушенных голоса, отчетливо слышались шлепки. Голос Анны погнал детей на улицу.

В кухне разговаривали, тихо, вполголоса. Павел силился понять — с кем это она?

— А худющий-то, худющий! Одни глаза, одни глаза остались. Уж такой заезженный, уж такой измотанный! Я аж обмерла. Из армии карточку присылал — куда глаже был. Видать, работуха не свой брат. У нас-то все собираются в город — не захочешь... Уж пусть впроголодь когда, да не так... Ведь краше в гроб кладут!

Собеседница сочувственно покала языком.

— Насовсем приехал или как? Не спрашивала?

— А куда ему, милая Пелагеюшка, теперь деваться? Ни отца, ни матери...

«Ах вон это кто!» — догадался Павел. Ему вдруг страшно захотелось увидеть ее, посмотреть, что же случилось из тонконогой соседской Польки, дочери сурового и прижимистого старика Макара. Самого Макара уже не было в живых — это Павел знал еще из вчерашних рассказов сестры, — а вот Пелагея молодец, не растерялась, одна вела хозяйство. И смотри ты, чуть свет появилась, первой проведать пришла. Видно, помнит еще, не забыла.

— С работы-то отпустили его? — свистящим шепотом допытывалась Пелагея.

— А на что он им теперь сдался? Уж такой худющий, уж такой...

— Насовсем?

— Насовсем, милая, без возврата.

— Посмотреть бы, хоть глазком одним.

— Спит.

— Я тихо-онько...

Павел услышал возле двери робкие, крадущиеся шаги. Из озорства он закрыл глаза, притворился, что спит. Дверь скрипнула, и Павел почувствовал, что на него смотрят. Он терпел, не разжимал глаз. Смотрели долго, и он уж задрожал ресницами, чтоб открыть глаза и рассмеяться: «Ну, здравствуй, соседка!» — но дверь легонько стукнула и донесся голос из кухни:

— Нос-то как у цыгана.

— Вот, — жаловалась Авпа, — как его теперь выхаживать?

— Молока надо. Парного... С медом.

— Шутка сказать! Тут корова, как на грех, бросила доиться...

— У меня есть. Я буду, если что...

Павел, не прислушиваясь к шуму канью женщин, лежал с закрытыми глазами — все хотел представить себе Пелагею: какая она сейчас? Перед уходом в армию, гуляя последний вечер в деревне, он напился пьяным и на вечерках все время танцевал с Полькой. В перерывах между танцами он держал ее за несмелые огрубевшие пальцы и без остановки молотил какую-то чепуху. Все, конечно, смотрели на него, все видели и замечали, но не подавали вида. Так уж повелось — пусть последний вечер погуляет. Поздно ночью, провожая Польку, он осмелился и, неумело схватив ее, поцеловал где-то возле уха. Полька испуганно рванулась и убежала — только лязгнула калитка. Он еще долго топтался возле ворот, все ждал — может, выйдет? Не вышла... Вот и все. Может, было и еще что, но теперь уж не помнит. В памяти почему-то особенно отчетливо всплыл только этот неловкий поцелуй, всплыл и до боли напомнил ему о неомраченном юношеском времени, когда все казалось легким и пустяковым, без забот, неудач и болезней.

На улице, за окнами, звенел чей-то пронзительный старческий голосишко:

— А без техники мы что — не артель. Машины есть, а стоят. Значит, надо звать спеца... — что? — специалиста. Да. Иначе все — что? — разбегутся. В колхоз уйдут. Верно...

«Как телега», — усмехнулся Павел, припоминая, у кого

в деревне был такой голос. Не помпил. Вот ведь время что делает — уж, кажется, все в этой деревне было исхожено, иссмотрено, а забыл. А ведь знакомый чой-то голос... Ишь раскрипелся!

Незаметно Павел уснул и проснулся поздно, освеженный и окрепший. Окошко в горнице было закрыто от солнца полотенцем, и в комнате царил приятный полусумрак. Сестра чутко стерегла сон больного.

Павел попробовал подняться и поднялся, сел, спустил с кровати худые незнакомые ноги. Слегка кружилась голова. Анна словно поджидала, когда он поднимется; она заглянула в дверь и, увидев его сидящим, вошла.

— А-а, Аня... — улыбнулся он, держась руками за койку.

Анна, стараясь не глядеть на его голенастые ноги и выпирающие из-под ворота рубахи ключицы, улыбочиво кивала:

— На родной-то сторонушке небось слаще... И спишь, и сон видишь... Я уж сегодня и петуха отнесла к соседям, чтоб не кричал.

— Хорошо поспал, Аня, спасибо, — медленно произнес он, чувствуя, что поднялся все-таки зря, надо было лежать; но сейчас ложиться уже не следовало — напугается, захлопочет сестра. Он кое-как оделся и вошел в кухню. Здесь было жарко от натопленной печи и неудержимо солнечно — Павел даже глаза прикрыл.

Анна бросилась к распахнутому окошку.

— И что ж это я? А ну прохватит!

— Да нет, нет, — остановил он. — Чего уж я... Кто это приходил утром?

— Слышал? — живо обернулась Анна. — А уж мы старались...

— Так кто?

— Кто, кто... Пелагея, не знаешь, что ли.

Сказано это было таким тоном, что у Павла порозовели скулы — неужели о чем-нибудь вспоминали?

— Уж так она просилась поглядеть, так просилась. Нет, говорю, и не пустила. Ладная такая бабочка, хозяйственная.

— Ну, ну, — Павел опустил глаза.

Сестра собирала на стол.

— Давай-ка садись, — командовала она. — Я тебя кормить буду.

И когда Павел увидел гору золотистых оладушков, дрожащей рукой выбрал один — горячий, прожаренный, хрустящий, нетерпеливо обмакнул его в чашку с медом и отправил

в рот,— от блаженства и благодарности невольно прикрыл заблестевшие глаза: «Да, хорошо дома!»

Едва стемнело, к Анне прибежала рыженькая востроглазая девчонка, принесла кринку парного молока.

— Мамка сказала, чтобы отдать... Вот.

Поставив кринку на стол, она воровато стрельнула глазами в горницу, оттуда на нее с интересом смотрел приподнявшийся худой, заросший черными волосами мужик.

— Чья это? — спросил Павел, хотя уже давно догадался.

— Ее.

— Большая,— задумчиво произнес он, припоминая в девчонке что-то знакомое.

— В школу пойдет. Пелагею так и не видал?

— Нет. Где я ее увижу?

— Ладная стала баба. Одна, а живет — куда тебе с добром. Хороший бы человек нашелся — и горя бы не знал. Уж она о тебе приставала — все выпрашивала. Видно, приглянулся...

Павел понимал намеки сестры, и они злили его. С беспощадной жестокостью к себе, к своей слабости, он сказал, медленно укладываясь на спину:

— Какой теперь из меня жених!

И нехорошо усмехнулся.

Медленно набирала силу весна. Дни стояли погожие, сухие. Многие отсадились в огородах.

Павел окреп настолько, что помогал сестре делать грядки — граблями разбивал комья сохнувшей земли. В соседнем огороде он несколько раз видел Пелагею. В первый день он издали коротко поклонился ей и отвернулся. Почувствовал на щеках лихорадочный, тугой румянец. Ни он, ни Пелагея не делали попыток увидеться, и Анна понимала их и не пыталась ускорить ход событий. Да Пелагее было и недосуг — еле поспевала везде. Торопилась и Анна — с огородом она, за колхозными работами, припозднилась.

Подошла родительская суббота, и, как Анне ни хотелось сходить на кладбище, терять день она не решалась. Она попросила Павла, и тот от нечего делать согласился. С детства еще помнились ему тихие, благодатные дни родительских суббот, когда все село тянулось на кладбище посидеть над родными могилками. Анна напекла ему оладьев, сварила несколько яиц. Завязала все в узелок — раздать на кладбище богомолкам за помин души.

Народу на кладбище оказалось мало, куда меньше, чем в те годы, и Павел удивился — то ли веры в людях стало меньше, то ли за делами некогда. Он с трудом нашел могилы отца и матери: стояли они когда-то на отшибе, в молодом зеленом березняке, а теперь столько понаселилось вокруг! Но могилы выглядели аккуратно — Анна за делами не забывала и о стариках. Павел с горечью подумал, что вот, старое умирает, а молодое растет, и все почему-то видел перед собой востроглазую девочку Пелагею.

Сколько сидел Павел — он не знал. Поднималось и припекало солнце, откуда-то издалека, из-за реденьких, еще не оперившихся березок, доносился тихий, упокойный благовест. Над маленьким старым кладбищем, над могилами и головами живых, над крестами и березками раскинулось голубое, бездонной синевы вечное небо. Все дышало здесь земным нетронутым покоем. Павел подождал, не подойдет ли кто, кому, как наказывала сестра, можно отдать узелок и попросить помянуть рабов божиих Данилу и Меланью, но богомолки, как на грех, обходили этот далекий, глухой угол кладбища. Или их действительно меньше стало?

Сумрачный, тихий, разморенный думами, Павел не спеша шел между могилами. Он знал о своей опасной болезни, но — странно — не боялся ее. Он не мог представить себе, что однажды, вдруг, не будет ни света и неба, ни вот этой каменистой, ощутимой сквозь прохудившиеся подметки, дороги. Но что-то надо было делать, не сидеть же век на шее сестры. Нужно было чем-то жить. Но как?

Деревня была маленькая — тридцать дворов. Да и то еще разрослась за военное время; раньше на этом месте была лишь заимка деда Пелагея — угрюмого, прожившего что-то около ста лет пасечника Луки. Откуда и как он сюда попал — никто толком не знал. Много в те поры тянулось в эти края беглого люда. За молочными реками, за кисельными берегами брел народ из безземельных российских губерний. Алтайская глухомань казалась обетованной, ласковой землей. Для сохранности от поборов и тягот забивались в самые что ни на есть углы и тут, матеряя, обрастая добром, пускали корни, селились навечно. Шли годы, а над заимками, таежными деревнями только густел хозяйский ситцевый дух, нелюдимый, кержацкий. Это потом они, бородатые, угрюмые хозяева, будут пороть вилами новых незваных пришельцев, спасая от конфискации уже изрядно подопрелые закрома; это они раздуют пламя кулацкого мятежа, попытаются остановить тягу изголодавшихся крестьян к колхо-

зам. И много еще останется от сгинувших годов на будущее, и потребуются великие труды, чтобы поветришь, истребить затхлый дедовский дух из этих мест. Понадобятся известковый запах строек, дымные горизонты заводов и фабрик, машинный лязг колхозов и МТС,— и только тогда дрогнет старина, отступая, стушевываясь и погибая. И все же многим еще будет разниться эта далекая окраина большой страны, несмотря на то что жизнь идет и новое наступает неодолимо — наступает гравийным трактом Восточного кольца, протянувшимся до самой китайской границы, гудками паромов, напоминающими теснинным речным верховьям о завтрашнем времени. И поразится, попав сюда, свежий человек — да, велика страна и много на земле еще работы.

...Задумался Павел — куда же податься было здесь? В артель? Не с его здоровьем. В колхоз?.. Павел озабоченно сокрушался — лучше, конечно, в МТС. Работа бы там ему нашлась, но как-то больно опять было срываться и ехать на новое место,— Павлу, достаточно намотавшемуся по свету, до того согревающим показался уют старой, помнившей еще материнские руки избы.

А жить надо было.

Кладбище кончилось, и Павел с узелком в руках медленно побрел по дороге. Над дорогой, над кустарниками стригли воздух ласточки!

— Павел Данилыч! — внезапно услышал он чей-то знакомый голос и очнулся. Оглянувшись, даже оторопел — Пелагея! Смущена была и она,— стоя друг против друга, они смотрели и конфузливо смеялись глазами. Пелагея нарядилась празднично, богато. Изменилась она неузнаваемо — цвела пышной бабьей красотой. Но что-то в ней оставалось и от той девчонки, испуганно убежавшей в калитку. Только что?

— Что ж вы, Павел Данилыч, узелок обратно несете? — с неуловимой ноткой заигрывания спросила она. Павел развел руками, кашлянул.

— Да вот... Никого же нет.

— Надо было оставить на могилке,— деловито посовеговала Пелагея.— Назад уносить грех.

Павел остановился.

— Так что же делать?

Она рассмеялась и предложила вернуться. Они пошли назад. Часто приотставая, Павел разглядывал ее сзади и все дивился — до чего изменилась! Он вспомнил, как мальчишкой, притаившись со сверстниками в кустах на берегу, под-

глядывал за купающимися девчонками, и подумал, что теперь Пелагея должна быть очень хороша. Она удивленно оборачивалась — почему он отстаёт? — и Павел торопливо опускал глаза.

— А худой какой вы, Павел Данилыч! — косила она на него выпуклые зеленоватые глаза; Павел вспомнил, что осталось в ней от прежней Польки, — глаза, такие же, как тогда, перед армией. Вспомнив это, он как-то сразу освоился, стал проще, развязней.

— Да уж до вас мне, Пелагея Макаровна, далеко!

Она хлопнула себя по бедрам и зашлась мелким грудным смехом.

— Вот уж в самом деле, — проговорила она, утирая глаза зажатым в кулаке платочком. — А что делать — не знаю. Вроде на работе хлопшусь как проклятая, а — толстею.

Теперь рассмеялся он, легко и дружески, и, касаясь плечами, они пошли по залитой солнцем дороге.

У самого кладбища они встретили согнутое в дугу ветхое существо и отдали ему узелок. Черная старушонка держала в своей сморщенной лапке беленький узелок и смотрела вслед беспечным, греховно смеющимся людям, осуждающе поджав желтые высохшие губы.

3

Майские праздники в деревне прошли серо, незаметно. Шумно гуляли только рабочие артели — после праздничного обеда они как были во всем чистом, принаряженные, погрузились в подводы, взгромоздили на телегу моторную лодку и отправились неводить. По пьяному делу ничего не поймали, но шуму наделали много — чуть не утонул, свалившись в воду, заводила всех рыбалок пимокат Василий, отчаянный забулдыга парень. Откачивали его всем миром и еле спасли. Трезвые, промокшие, явились в деревню на рассвете и сразу разбрелись по домам. Больше нигде не собирались и этим повергли многих в великое изумление — обычно гулянье длилось три-четыре дня, с песнями и гармошкой по улицам, с пьяным гомоном по ночам. Старикам это дало пищу для воспоминаний — раньше, по их мнению, пили больше, праздновали разгульнее. А теперь что — мельчает народ.

В майские дни Павел помогал сестре садить картошку; в деревню, чтобы не бить зря ноги, не возвращались и ночевали в поле. Анна торопилась: вот-вот должна подойти прополка, — значит, опять на колхозном поле будешь день

и ночь. Трудодни она теперь считала, словно складывала в копилку.

Пелагею он видел уже после того, как отсадились, видел несколько раз, но все встречи получались какие-то мимолетные — здравствуй, прощай.

Однажды, это было незадолго до сенокоса, гуляя по молодому осинничку вдоль крохотной, воробью по колено, речушки, Павел неожиданно наткнулся на Пелагею. Скрытая от людских глаз густой молодой порослью, она стояла по колено в воде среди широкой, устроенной мальчишками для купанья, запруды и, бесстрашно скинув кофту, мыла волосы. Павел, опешив, отпрянул назад. Но повернуться и уйти не хватало сил, слишком велико было лукавое искушение. Он осторожно отвел в сторону ветку и, затаив дыхание, стал смотреть. Пелагея была совсем рядом — рукой подать. Чтобы не замочить юбку, она забрала ее высоко между колен, и обнаженные сзади ноги молочно белели крепким бабьим здоровьем. Круто выгнув голую красивую спину, она проворно нагибалась, черпала пригоршнями воду и поливала на голову. Вода бежала по плечам, стекала по круглым, быстро снующим локтям. Павел, натянувшись как струна, глядел не отрываясь.

С запада, над погорелыми, зазеленевшими вырубками, быстро заходила сизая грозовая туча. Пелагея торопилась, беспокойно поглядывая на приближающуюся грозу. «Не успеет, — почему-то подумал Павел, судорожно глотнув сухим горлом. — Не успеет». Перегибаясь назад, Пелагея быстро выжала волосы и, отбросив их за плечи, пошла из воды, деловито вытирая почти девически крепкую грудь.

Оставаться теперь было стыдно, и Павел отпустил ветку.

Налетел ветер, и осинничек затрепетал, закланялся, показывая серебристую изнанку листьев. Впереди, около деревни, взвилось и понесло столб пыли, тусклой хмарью в минуту занесло небо. Где-то высоко, в крошечной свистопляске вдруг грохнуло и раскатилось — над полем, речкой и деревней.

Павел уже давно приметил старую, в три ствола, развесистую иву и припустил к ней. Под это дерево, рассчитывая он, и Пелагея кинется укрываться от дождя. Павел добежал до ивы и остался без сил. Привалившись к стволу спиной, он тяжело дышал раскрытым ртом, рукой удерживая бешено колотящееся сердце.

Кругом все стихло так же разом, как и взвихрилось. В грозовой тишине рваными космами наискось неба прибли-

жался дождь. Крупные, как пули, капли — тук, тук — шелкнуди у самых ног Павла и заставили его подобраться. Прильнув спиной к дереву, на носках, он поглядел, не покажется ли Пелагея.

Он увидел ее, когда дождь лил всю — ровно и щедро. С корзинами белья на коромысле она медленно шла по залитой дороге, разъезжаясь в грязи босыми ногами. «Ну вот и спряталась», — пожалел он и, подождав, пока она подойдет поближе, отчаянно замахал ей рукой. Она увидела и просто покивала — иду, иду. Свернула с дороги на траву и пошла проворнее, все оглядываясь в ту сторону, откуда пришел дождь.

— Да скорее ты! — не вытерпел он, выскакивая под дождь и помогая ей спустить с плеч тяжелые корзины. Она поставила их на траву и, улыбаясь мокрому упругим лицом, восхищенно пропела:

— Ну и дождь! Для картошки — самое что ни на есть! Успели свою-то посадить?

Волосы ее были мокры и небрежно забраны на затылке. Она стала рядом с Павлом, прижавшись к нему горячим мощным бедром. Рукавом кофточки она утирала мокрые щеки и то локтем, то грудью незначай задевала его.

— А я в аккурат стирку затеяла. Вот наказание! — Пелагея распустила волосы и, закручивая их жгутом, выпуклыми озорными глазами смотрела на него снизу вверх. — Все бережешься. — Она вынула изо рта шпильки и, морщась, стала закалывать густые тяжелые волосы. — Хоть бы погрел, кавалер.

И нельзя было понять — шутит она или говорит серьезно. Павел сконфуженно фыркнул и — будь что будет! — неловко обнял ее за мокрые плечи.

— Горячая-то, как печка, — бормотнул он, почувствовав ее податливое движение.

— Уж будто, — она просто повернулась и, зажав груди между локтей, прижалась к нему животом и ногами.

— Совсем как печка. Знаешь, есть такие. У нас в бараке была...

— Уж будто, — близко шевелила она теплыми крепкими губами, — так я поверила...

Павел осторожно поцеловал ее в мокрый холодный глаз. Она быстро и горячо прикоснулась губами к его шее.

Дождь утихал.

Мимо Павла и Пелагеи, обнявшихся у дерева, проехала, разбрызгивая грязь, колхозная полуторка, полная промок-

ших людей. Они кричали что-то озорное, вскочив, махали руками. Пелагея испуганно отпрянула и злыми глазами проводила машину.

— Чего ты? — потянулся к ней Павел. Она отвела его руки и поправила кофту.

— Теперь пойдут языками чесать! — процедила она, дрожа бровями.

— Да ну... — Павел взял ее за плечи, но она властно сбросила его руки. Вышла из-под дерева, взяла коромысло, поддела корзины.

Павел оторопело молчал.

— Приходи сегодня, как свечереет, — бросила она, не взглянув на него.

— А куда? — простодушно спросил он.

Она рассмеялась, не разжимая губ, неожиданный румянец ожег ее щеки.

— Домой, куда же еще? — грубовато сказала она и, подняв тяжелые корзины, пошла прочь, твердо ставя белые, заляпанные до колен ноги.

Едва дождавшись сумерек, Павел стал одеваться. Анна удивилась:

— Ты куда это?

— Что? — Он сделал вид, что возится с ботинком.

— На ночь-то, говорю, куда?

— Да так, пройтись, — пробормотал он, стараясь говорить как можно равнодушнее.

То ли поверила, то ли поняла Анна, но с расспросами больше не приставала. Павел, вздрагивая словно от озноба, вышел на темный сырой двор, под очистившееся звездное небо.

Ставни окон у Пелагеи были закрыты, и это несколько обескуражило Павла — он намеревался постучать в окно. Встав на завалинку, он заглянул в щель. Пелагея в одной рубашке, с голыми руками, сидела на постели и расчесывала волосы. Павел осторожно раз-другой стукнул в ставень. Пелагея обернулась, и Павел увидел ее хмурые, строгие глаза. «Неладно все-таки я, — упрекнул он себя. — Еще прогонит. — Он потоптался, повздыхал. — Но ведь звала...»

Калитка ворот была не заперта, и это приободрило Павла. Открыта и дверь в сенцы. Услышав его возню в сенях, Пелагея, не одеваясь, выглянула из избы. Узнав, равнодушно сказала:

— Только закинься.

И ушла.

Павел на ощупь нашел крючок, запер дверь.

В кухне было темно, в углу около печки, на разостланном полушубке, спала, разметавшись, девчонка. Павел, осторожно ступая на носки, прошел в комнату, где горел свет. Пелагея, откинув одеяло, приготовилась ложиться. Павел широко открытыми горячими глазами напряженно смотрел на ее глянцево-толстые колени под короткой рубашкой. Она сердито накинулась одеялом, отвернулась к стене.

— Ну, не пялся. Туши лампу да ложись...

4

Недавнее ненастье не прошло для Павла бесследно. Видимо, как ни берегся, а простуду все-таки подхватил — на второй день неожиданно подскочила температура, ввалились виски и выступил скупой липкий пот. Занедужил он вечером, у Пелагеи. Она всполошилась, забегала. Достала из подполья малинового варенья, принялась сапогом раздувать самовар.

Павел лежал, морщась от иссушающего, волнами набегавшего жара.

Пелагея напоила его чаем, укрыла и ночью то и дело прислушивалась — спит, нет? Утром она никуда непустила его, оставила у себя. Скоро пришла Анна. Павел неловко застеснялся перед сестрой, но она, похоже, отнеслась к их сближению как к чему-то само собой разумеющемуся. Пока Пелагея носилась по избе, готовя угощение, Анна, скромно поджав под стул ноги, вела с Павлом пустой, обязательный разговор. Сначала он боялся, что Анна начнет выговаривать ему, оставшись с ним наедине, но Пелагея уходила и приходила, а сестра продолжала степенно рассказывать о вчерашней встрече с председателем артели Фаиной Степановной, энергичной, недеревенской женщиной, с короткой прической и вечной папиросой в зубах; она справилась о Павле, но о причине не сказала, видать нашла какое-то заделье. Анна высказала догадку, что артель хочет предложить ему работу — им до зарезу нужен был человек, знакомый с моторами. Но торопиться, по ее мнению, не следовало. Хорошо бы сходить в МТС, трактористом устроиться или еще кем... Там бы жил и горя не знал, тракторист всегда с хлебом. Вон у них в колхозе звеньевая Степка — уж, кажется, всего девка добила, а все тянется, ждет: на тракториста хочет учиться. Василий, пимокат, все пороги обил — сватается,

но Шешка ни-ни... А почему? В МТС охота. Это пока колхоз бедовал, так артельные жили и в ус не дули. А теперь Шешка при осеннем расчете сама Ваську сможет прокормить. И пусть артель хоть сто моторов ставит — известно, какие их заработки... Так что лучше в МТС.

— Какой теперь из меня толк! — Павел, морщась, натянул до подбородка одеяло. — А тут еще вот покос подходит.

Да, Павел заболел не вовремя. Подходила самая горячая пора — покос. Пелагее только и не хватало что его болезни!

— Ничего, — утешала она. — Справлюсь. Да к покосу-то еще что бог даст.

К покосу Павел немного оправился, но слабость была великая. Однако, жалея Пелагею, он упросил взять его с собой: все хоть чем-нибудь поможет. Она посмеялась, но взяла.

Поехали вдвоем — девочку Пелагею отвезла на другой же день к какой-то далекой родне на заимку. Пропать у нее было родни в этих краях — все крепкие, осадистые бородачи, угрюмо соблюдавшие за высокими тынами ухватистый дух кержацкого хозяйствования.

Косили за речкой, в ложке. Собственно, косила одна Пелагея, а Павел лежал в тени около телеги и смотрел в белесое от жары небо. В безветренной глухоте буйно пахло не топтанным разнотравьем, дегтем от колес и сбруей. Подходил стреноженный мерин, сочно хрумкая стершимися зубами, звякал недоуздом. Павел изнывал от безделья. Но ему, видно, теперь только и оставалось, что лежать. Он попробовал было взять в руки литовку, сделал привычный замах, но литовку понесло черт те куда, и он сконфуженно вытер ее острый, как змеиное жало, конец, запачканный в земле.

— Лежи, лежи, — счастливо улыбалась ему запотевшая Пелагея. — Копи силы. Управлюсь и без тебя.

Выставив вперед ногу, она широко, по-мужски, отводила вправо плечо и плавными сильными движениями стелила полукружьями траву. Просыпаясь, Павел видел небольшие копейки, к вечеру вырос стожок.

Сметывали, когда уже темнело. Павел, почувствовав себя лучше, помогал — принимал на возу и утаптывал сено. Пелагея сама запрягла и вывела подводу на дорогу.

Ехали шагом, под меркнувшим безветренным небом. Павел попросил вожжи — править. Пелагея охотно уступила и перебралась на его место. Павел деловито встряхивал вожжами. Так, словно муж и жена, они проехали на виду у всей деревни. Когда подъехали к дому, Павел не дал Пелагее

спрыгнуть с воза, а слез сам и, отперев ворота, по-хозяйски ввел подводу во двор. Пелагея, счастливо оглядываясь с воза, двела улыбкой. Она недоверчиво подождала, когда Павел, вызвавшись сам сметать воз, начал перекладывать сено с телеги на поветь, — боялась, что ничего у него не получится. Но Павел, хмелея от неожиданного прилива сил и от этого еще больше входя в рабочий азарт, припомнил забытую мужицкую сноровку и, ловко перехватывая вилы, аккуратными пластами выкладывал ровненький стожок. Пелагея подхватила и захопотала — принялась таскать воды, топить баньку.

Парила она Павла сама. Разморенный, усталый, счастливый, он томился на полке.

— Не пей, не пей! — строго прикрикнула Пелагея, когда он зачерпнул холодной воды, и Павел послушно покорился, опустил ковш и вышел в прохладный предбанник. Скоро вымылась и Пелагея, укутала его и повела в избу, поить чаем.

Распаренные, красные, чаевничали долго. Пелагея навалила ему в кружку меду, варенья, сахару, и Павел, млея от удовольствия, со свистом выхлебывал горячую душистую влагу.

— Пей, пей, напивайся, — заботливо приговаривала Пелагея, лаская его влажным взглядом больших коровьих глаз. И сама, жмурясь, тянула с блюдечка.

За чаем, разомлев, не спеша толковали о завтрашних заботах: надо баньку поправить — совсем уже заваливается, крышу на избе с угла перестелить — как бы осенью не потекло, и погреб, — сокровенная мечта Пелагеи — вырыть погреб: этакий нынче урожай — куда все девать? Забот было много — только успевай справляться. Пелагея высказывала опасение — как бы не увеличили минимум трудодней. Тогда хочешь не хочешь, а придется оторваться на колхоз. Но бог даст — не увеличат, а старый минимум у нее выполнен еще зимой. Павел входил во вкус хозяйствования, озабоченно скреб затылок — где бы тесу достать?..

— Ты пей, пей, — напоминала ему Пелагея и подвигала поближе вазочки, тарелки, блюдца.

А когда Павел, уставший от непривычной работы и до смерти хотевший спать, добрался наконец до постели и улегся на хрусткие, пахнувшие свежим снежком простыни, тепло благодарного умиления охватило его, смежило глаза — хорошо, куда как хорошо дома! И не сравнить ни с чем!

Возле остановившейся на середине улицы подводы с горбатой, вверх дном, лодкой первыми собрались мальчишки — белоголовая босая мелкота. Путались под ногами, получали шлепки, но лезли. Останавливались любопытные бабы, вразвалку, словно нехотя, подходили изнывающие от воскресного безделья мужики.

Подошел и Павел.

Пелагея сегодня с самого утра уехала в город — на воскресный базар. Повезла молодые огурцы, сметану, творог. Яиц, кажется, около сотни накопила... Павел остался дома, копать погреб. Копал он его с неделю, копал в охотку, не напрягаясь, и рассчитывал скоро кончить. Врылся по грудь. Услышав шум на улице, воткнул лопату и вылез.

Шумели главным образом доброхоты советчики. Павел, постояв минуту, понаблюдав за суетней, понял, что, как обычно по воскресеньям, артельные рабочие поехали на рыбалку, но по дороге кому-то стукнуло в голову проверить мотор на лодке; завели, а он — тих, тих — и ни в какую. Остановились, забегали — солнце уже высоко, а еще ехать да ехать.

Худощавый рыжий парень в кепке и вылинявшей рубашке ожесточенно копался в моторе, коротко огрызался на советчиков. Особенно досаждал ему ветхий дед в валенках, в картузе со сломанным козырьком. Бесцеремонно тыча парня костылем в спину, он пронзительно кричал:

— А я тебе говорю — винт. Винт смотри! В моторе что главное? Винт!

Парень досадливо дергал плечами, как овода отгонял.

Павел приглядывался к парню и не узнавал — видно, из тех, кто в его время еще без штанов бегал. Подросли... Странно, что из своих сверстников Павел не находил никого. Все посели где-то, в родную деревню теперь и калачом не заманишь. А вот дед, кажется, знакомый. Говорок тот же. Посогнуло только его за эти годы, но по характеру остался прежний — каждой дыре гвоздь. Ходит, топчет землю — видно, так и остался бобылем.

От кучки сидевших в сторонке на неводах парней и девчат отошла смуглая, подбористая девка и на цыпочках попробовала заглянуть через головы зевак.

— Вась, ну скоро?

Павел догадался, что это и есть тот самый знаменитый

на деревне пимокат Василий, бузотер и гуляка, организатор рыбалок. «Как же это он тогда тонул-то?»

— А я говорю — винт! — шумел пронзительный дед.

— Вась, а Вась...

Василий повернул к девке злое, страдальческое лицо:

— Стешка, хоть бы ты не приставала!

— Так сколько сидеть можно?

— Ну иди, иди.

Наблюдая за возней Василия, Павел видел, что в моторе он смыслит никак не больше надоедливое пронзительное деда. А тот, обиженный коротким злым ругательством Василия, стоял в сторонке и пророчествовал:

— Пускай тогда сам. Пусть... Раз такие умные.

Павел, давно поняв беспечность стараний парня, незаметно подвигался все ближе и ближе к нему. Отчаявшись найти поломку, Василий поднялся и, сдвинув кепку на затылок, упер измазанные тонкие, но сильные жилистые руки в бока.

— Холера! — и он беспомощно утер лоб.

— Зажигание смотрел? — тихо спросил со стороны Павел. Парень недовольно покосился на него, отвернулся и сплюнул.

— Смотрел!

— Дай-ка, — Павел решительно оттер его плечом, присел к мотору.

Василий неохотно посторонился, глядя с недоверием на непрошеного помощника. Любопытные надвинулись тесно и близко. Дело, как и предполагал Павел, было пустяковое. Всем показалась даже подозрительной поспешность, когда он заставил Василия помочь ему поставить и держать мотор.

— Ну-ка, бойся! — скомандовал он и дернул шнур.

Мотор чихнул раза два и заглох.

— Ишь ты! — азартно улыбнулся Павел, чувствуя щупающие недоверчивые взгляды зрителей. Он дернул еще раз, сильнее, и мотор оглушительно застрелял на всю улицу.

Василий, сдвинув шапку на лоб, смущенно скоблил затылок.

Павел поискал, чем бы вытереть руки. Стешка, поймав его взгляд, сунула ему какую-то ветошку.

— Сразу видно — дело мастера боится! — улыбнулась она и упрекнула Василия: — А ты — сколько из-за тебя потеряли? Теперь бы уже там были.

Тот слабо защищался:

— Ну ты, не это самое... Давайте вот лучше кладите все да поехали.

Грузились под пронзительный голос деда:

— А я тебе что говорил? Винт. Ить винт? Был винт или нет? — и тыкал в сторону Василия костылем. — Умник. Так в артели и пропадешь. Что? А еще в МТС собрался.

Любопытные расходились.

— Эй, друг! — окликнул Павла разбиравший вожжи Василий. — А то, может, с нами?

— Да? А у вас что — место есть?

— Да местов полно, — ждал согласия Василий. — Река большая.

— Поехали! — решил Павел. Погреб ему теперь казался опостылевшим, а на реке куда как хорошо!

Несколько рук протянулось к нему с телеги, подхватили, помогли влезть.

— А ты, видать, имел с машинами дело? — спросил Василий, когда лодка была спущена и Павел ловко навесил мотор.

— Было. Все приходилось.

Стешка боялась ступить в лодку, и Павел подал ей руку. Она взялась крепко и жестко. Павел торопил: «Скорее, скорее!» — и ему подчинялись. Даже Василий как-то сник при нем.

Для всех в лодке не хватило места, и часть осталась на берегу.

— Следующим рейсом, — кивнул им Павел, сильно отталкивая лодку от галечника. Он взялся за руль: — Ну, командуй, куда теперь?

Василий, несколько задетый бесцеремонной легкостью гостя, с которой тот взял верх в компании, указал на острова, чуть выше по реке.

— Сейчас мы ее! — Павел круто направил лодку поперек сильной стремнины реки — потягаться с ней слабеньким моторчиком. Он расстегнул ворот и с наслаждением подставил ветру и солнцу худую белую грудь.

Василий, словно ища обиды для себя, подкидывал едкие вопросы: откуда да чем занимался раньше... Не замечая подвохов, Павел ответил, что работал на стройке.

— Ого! — изумился Василий. — А у нас отсюда туда бегут, только держи успевай. Выходит — тяткин хлеб слаще.

— Отставка вышла... В отставку пошел.

— Уж не с начальством ли?

— Какое начальство! Река, чертушка, дала отставку,— вспомнил Павел слова доктора.

Василию показалось, что Павел говорит загадками, по-городскому,— видно, считает его за деревенского, темного, корылого.

— А может, от работы стреканул? Оно и работа когда отставку дает.

— Может быть, может быть,— равнодушно согласился Павел. Он видел, что Василий нарывается на скандал, и не хотел этого. Чего с ним связываться — непонятный какой-то парень. Нет, в бригаде куда проще и ясней люди. Да и многое там как-то определеннее, тверже. Василий смотрел на него светлыми скандальными глазами, а Павел, отводя взгляд, и вообще ругая себя за эту никчемную поездку, думал, что в такое сухое, без дождей лето кто-кто, а опалубщики определенно выиграют. Сейчас, поди-ка, где уж работают!..

В деревню рыбаки приехали ночью.

Рыбалка прошла удачно, и все вернулись довольные. Василий и Павел были в разных группах и перепалки больше не затевали. Стешка, уловив минуту, шепнула Павлу:

— Ты не смотри на него, он вечно такой.

Павел только пожал плечами — его это нисколько не задевало. Он слышал, что Василий спит и во сне видит, как бы вырваться из артели.

Но куда было деваться парню? В МТС — нужна специальность, а у него не только специальности, но и образования что-то класса два или три. В колхоз пойти — у той же Стешки под началом будешь. А девка упрямо держала путь на курсы, за руль трактора. И добьется... Василию же оставалось париться в шерстобитне со стариками. Он и на Павла заедался только из зависти — тот, видишь ли, легко имел все, о чем даже думать боялся Василий, а вот бросил и приехал. Захочет, вернется вновь... Нет, не дотянуться до него Василию.

Павел понимал все это и, не обращая на Василия внимания, с удовольствием лез в воду, собирал рыбу, таскал хвост для костра. «А поди-ка врал докторишка насчет реки...»

Подсохший, охлестанный ветром и солнцем, Павел бодро шагал к избушке Пелагеи. В окнах было темно. Только теперь он вспомнил, что за весь день ни разу не подумал о Пелагее.

В избе, чтобы не разбудить Пелагею, Павел осторожно постелил себе на сундуке и лег, стараясь не шуметь. Спать не хотелось, и он лежал с открытыми глазами. Впечатлений за день было много, и хотелось думать только о них.

Вдруг резко закрипела койка, на которой лежала Пелагея, и он удивленно приподнялся: «Не спит?» Пелагея зажгла лампу, и Павел увидел ее измученное ожиданием лицо.

— Где ты был, головушка твоя садовая? — чуть не плача, накинулась она. — Ить целый день! Ты думаешь что или нет?

— А что такое? Случилось что?

— Ты хоть ел, нет?

— Да ел, конечно, ел!

— Ел. Чем вас там кормили?

— Уху варили. — Павел все терялся в догадках — уж не страшась ли чего?

— Уху, господи! — всплеснула руками Пелагея. — Да разве тебе уху надо? Тебе молоко с медом надо, у тебя же грудя слабые!

— Да брось ты, — начал сердиться Павел. — Начнешь тоже выдумывать.

— Я же и виновата еще! Постой, не спи, я тебе согрею. Но Павел удержал ее, отговорил — не хочет он ничего, не надо.

— Ложись тогда на постель, куда ты лег!

Тут уж пришлось покориться. Легли, потушили свет.

— Ишь что задумал, какая тебе рыбалка? — шептала Пелагея, жалея его большим горячим телом. — Тебе ж грудя беречь надо.

— Да ничего не сделается, — хмуро отодвигался Павел. — Все равно куда-то уезжать придется.

— Как уезжать? — насторожилась Пелагея. — Куда уезжать? Павлик, чего надумал-то?

Она затормошила его, готовая вот-вот заголосить дурным бабьим голосом. Павел испугался:

— Да ты постой, чего ты...

— А я как же? — Пелагея давилась слезами.

— Так и тебе! Все равно ведь деревню затоплять будут.

— Почему это затоплять? По какому это праву?

— Да в газетах написано, вот чудная! Василий сегодня рассказывал.

— А ты верь, верь! В этих газетах незнамо что напишут... Нашел себе товарища! Не дам я затоплять!

Павел невольно рассмеялся:

— Ну как же... Ведь станцию строят. Вот закончат плотину, и — все.

— Как все? Как это так — сразу и все? А погреб мы тогда зачем ладим? А хозяйство ставим?

Павел замолчал — а действительно: зачем это все? Пелагея продолжала тормошить его, и он, чтобы отвязаться, дернул плечом.

— Да так, по глупости, видно.

Он не ожидал, что Пелагея так вскинется.

— Ум-на-ай! Ишь ты — «глупость»... А ты считал, сколько я крови в это вколотила? Сколько недоела, недоспала?

Встревоженный Павел сел в постели, с трудом уложил трясущуюся от негодования Пелагею:

— Да ляг ты, ляг... Ты ведь как... Ты думаешь, что так и топить сразу начнут? Да глупая. Все по плану — снимут и перенесут. Только на другое место.

Пелагея утихла.

— «Глупая»... Все вы умные — ломать да разбивать. Никуда я не поеду. Тут родилась, тут и... Пусть топят! — и она, уткнувшись в подушку, заплакала бессильно и зло. Павел только дух перевел — «Ну и коленкор!»

Обиженная Пелагея еще долго ворочалась, сморкалась, но лежала на краю постели, не подвигалась. Павел, задремывая, все видел сверкающую стремнину реки. Неслась она к городам, к людям, к работе. Уснув, он видел сон — козлобородый Арефьич тряс щеками, грозил Павлу: «В отставку ушел, сукин кот. Врешь, от дела уйти никак невозможно». А косоглазый, озорной Митька, подслушав, уже распевал какое-то самым сочиненное присловье. Плотники слушали и смеялись...

6

— Давно хотела поговорить с вами, Трофимов.— Фаина Степановна, коротковолосая, щурясь от папиросы, остановила Павла около конторы артели и принялась выговаривать ему, почему это он избегает «общественного труда».

— Общественного?

— Да,— Фаина Степановна папиросой категорически поставила в воздухе точку. Он моторист, незаменимый в деревне человек, а тем не менее в артели в отношении механизации...

— Вот глянь,— ввязался в беседу провзительный дед, видимо чуявший беседующих людей за версту,— стоило

только Фаине Степановне остановить Павла, как он оказался тут как тут. — Глянь, — протягивал он свои сухие скрюченные руки, — во. А все почему? Руками. Шерсть, овчину — все руками. А покатай-ка ее день-деньской, шерсть-то. И Васька, шельмец, то же будет. А почему? Нету механизмы... — что? — механизации нету. Да.

Фаина Степановна жаловалась, что в последнее время рабочие артели стали роптать — их заработки все больше отставали от трудодня. Не мудрено, что начнут опять перебегать в колхоз. Что же тогда — закрывать артель? Жалко — хозяйство налажено, план выполняется. Придется поднять заработки. Она хочет предложить Павлу помочь артели в ремонте мотора. Выгода от этого была бы большая. Жаль только, что нельзя подождать, пока не переселят деревню на новое место. Там бы она развернулась! Но ничего не поделаешь — придется хоть на время, но налаживать механизацию. Кстати, не пошел бы он в артель механиком? Постоянно?

Павел пренебрежительно усмехнулся:

— Ну, какая тут у вас механизация?

Она обиделась, понимающе посмотрела на него, затянулась папирсой.

— Смотрите, Трофимов. Единоличника из вас все равно, по-моему, не получится.

Павел обескураженно смотрел ей вслед: «При чем здесь единоличник...»

— Сейчас главное что? — начал распаляться пронзительный дед, но Павел, не обращая на него внимания, пошел своей дорогой, нет-нет да и задумываясь над непонятными словами председателя артели. «Единоличник...»

Думал он об этом и дома, копая погреб. После памятной размолвки с Пелагеей он с ожесточением ушел в хозяйские заботы. Яма под погреб подалась за это время изрядно. Павел будто закалился — не замечал ни опухших глаз Пелагеи, ни ее угодливого разносолья; равнодушно завтракал и уходил копать. То ли усталость начинала сказываться, то ли действовала сырая могильная прохлада ямы — все чаще стала вспоминаться ему рабочая бригада. Морщилась солнечная, надречная синева, свежий упругий ветер пузырил рубахи плотников — высоко вверх, под самые облака, возносились белая опалубка плотины. И искуситель Арефьич грозил сухим стариковским пальцем: «Врешь, сукин кот...» Павел вздыхал, со злой скукой смотрел вверх и не видел даже неба, — чтобы сохраннее было добро, погреб копали под по-

ветью; наверху был навес трухлявых жердей, настланных еще въедливым в хозяйство дедом Макаром, а на них — стожок сметанного уже самим Павлом сена.

«Копает, стараешься, а все равно бросать», — с горечью думал Павел. О том, что деревня попадает в зону затопления, говорили теперь совершенно открыто. На прошлой неделе приезжал представитель строительства гидростанции и рассказывал об условиях переселения. В клубе набилось битком. Павел узнал об этом позже всех, и, когда прибежал, представитель уже кончил говорить и отвечал на вопросы. Условия получались очень хорошими — государство давало ссуду, помогало материалами, перевозило старый скarb.

— А место! — кричал пронзительный дед. — Место где нарезать будут?

Представитель отвечал, что насчет места под будущую деревню еще не решено точно, пусть делегация съездит как-нибудь и сама обследует — где лучше.

Делегацию стали выбирать тут же; выбирали в основном колхозники — они переезду обрадовались и теперь хотели найти место поближе к центральной усадьбе. Артельные расходились хмуро — Фаина Степановна готовилась перебросить артель в райцентр; жалко было расставаться с соседями — ведь не один год бок о бок прожили!

Павел, пока представителя допекали вопросами, все силился протиснуться к нему поближе, узнать — как там бригада Арефьича? Теперь, поди-ка, где уж работают!.. Но спросить удалось только в последнюю минуту, когда представитель уже заносил в машину ногу. Бригады Арефьича он не помнил.

— Ну да этот, с бородой, — показывал Павел.

— Опалубщики, говорите? Да их там знаете сколько! Сейчас уже высоко поднялись.

— Высоко?

— Ну, куда там! С осени начнем перекрытие.

— Да-а... — нерешительно топтался Павел. До смерти хотелось поговорить — пока шел, все думал узнать об Арефьиче: перевез ли старик семью, да о том, кого же теперь взяли в бригаду вместо него, — но представитель, кивнув ему, захлопнул дверцу машины.

Павел медленно брел один по улице. Выходит, добавили опалубщиков на стройку. С весны еще поговаривали об этом. Теперь дело пойдет быстро. Смотри ты — скоро затопление!.. И в то же время горестно было — о нем-то совсем забыли.

Хотя где тут помнить — дел-то сколько! Сам виноват — ушел. Павел сильно, всей грудью вздохнул и не почувствовал боли — а ведь врал чертов докторишка. Ни для кого река не яд, а для него, видишь ли, яд... Хотелось поговорить с кем-нибудь, посоветоваться — но с кем? Анна уехала с делегацией колхозников смотреть новое место, с Пелагеей, как он подумал, лучше было этого разговора и не затевать — слез не оберешься. Приходилось самому...

Вечерами, пока не потухнет за околицей закат, Павел стоял у ворот и скучно жевал былинку. Проходило стадо, умолкал ребячий гам, подавала голос гармонь — начиналось молодое, еще не разменянное на годы веселье.

Мимо него гурьбой проходили парни и девки. Рвал тишину улицы надсадный хохот, а едва умолкал — вновь слышался смачный говорок остряка. Шли в клуб — из райцентра на один всего вечер приезжал лектор. После лекции — танцы... Павел закрывал ставни, в избе хмурая, измученная ссорой и молчаливой неизвестностью Пелагея зажигала лампу, ждала за столом. У Анны, сестры, в окнах нелюдима темнота. После того как ее выбрали в делегацию, баба совсем сбилась с ног — к осени колхоз решил перевести на новое место фермы, и Анна за хлопотами даже не почевала дома. Павла она увидела как-то мельком и успела лишь сказать, что место для деревни они выбрали высокое, в бору, рядом речка. И тут же не удержала бабьей слабости — всплакнула: жалко было бросать родительские могилы. Родилась тут, выросла... Утерев скупые слезинки, она озабоченно спросила брата:

— Твоя-то как со всем расстанется? В Иртыш бросится, не пойдет.

Павел только вздохнул, промолчал. Этими словами сестра язвила и его. Пелагея упорно не хотела замечать надвигающихся перемен, словно решила стоять до конца — пусть в реку головой, грудью, как плотиной, встать за свое.

А деревня хлопотливо переживала новизну. Переселения ждали как обновы. Верилось, что теперь не хватало только новоселья!

— А, привет механизации! — окликнула его как-то Степка, одетая нарядно, по-праздничному. Павел остановился — хорошая она была девка, запомнилась еще с рыбалки.

— Здравствуй, — улыбнулся он. — Куда это?

— В клуб, куда здесь еще деваться. А что? — с легкой вызывающей усмешкой спросила она.

— Да так. Веселишься, значит?

— А что мне. Чего это ты от своей старухи никуда не показываешься?

— Да на печке лучше.

— Гляди, пропадешь на своей печке. Не увидишь, как и затопят.

— Ничего, выплывем.

— Ну, ну... С добром и ото дна не оторвешься.

— Какое у меня добро? — невольно посерьезнел Павел.

— Какое! Люди переезжать собираются, а они застраиваются...

Это было верно — Павел только на днях перестилал с угла крышу. Свежая тесовая заплатка белела вызывающе, — дескать, пусть все собираются, а я — вот, нате!..

— Ты чего это одна? — отвел Павел неприятный разговор.

— Какой там одна! — с легкой горечью пожаловалась Стешка. — Вон, тащится.

— Не везет тебе, — рассмеялся Павел и стал здороваться с подходившим Василием. После рыбалки они еще не виделись; Василий чувствовал себя несколько неловко.

— Что, жаловалась уже? — быстро спросил он, держа руку Павла в своей сухой, цепкой ладони. Подмигнул. — Ничего, вот женюсь, я ей все припомню.

Стешка независимо фыркнула:

— Жени-их нашелся!

— Вот подожди, подожди...

— Да ну тебя, в самом деле! — неизвестно почему рассердилась Стешка.

Василий был сконфужен, он попытался свернуть все дело к шутке. Он чуть приобнял ее и, подмигнув Павлу, пропел:

Ох, милка моя,
До чего сердишься
И до меня животом
Не повернешься?

— Дурак! — окончательно вышла из себя Стешка и, вырвавшись, убежала. Для приличия Василий постоял еще с полминуты, спросил о чем-то незначительном.

— Ну ладно, иди, иди, — сказал Павел. — А то не найдешь.

— Никуда не денется, — Василий постучал носком ботинка, пощурился на небо. — Ну, пойду. А то вон и твоя подкрадывается.

Обернувшись, Павел увидел Пелагею, нерешительно подхихившую к забору. Василий пошел.

— Ты не едешь завтра в город? — окликнул его Павел.

— А что?

— Да хоть газет бы, что ли, привез. Совсем заплесневели.

— Ладно, привезу, — торопился уйти Василий.

— Не забудь смотри!

Павел чувствовал молчаливое присутствие Пелагеи за спиной и не оборачивался. Она постояла, постояла и не выдержала.

— Павлик, а Павлик... — Мокрые, отсыревшие щеки ее дрожали просительно. — Павлик, ведь не ел же еще сегодня!

— Да как не ел!.. — Он в сердцах махнул рукой и пошел в избу. Позади послышалось тоскливое причитанье:

— И каки-таки эти газёты только сдались! Сгорели бы они к язве поганой.

В комнате, не зажигая света, он одетый плюхнулся в постель. Пелагеи не было.

— Да-а, дела, — вслух произнес он. Что-то действительно не ладилось у них в последнее время. «Чудная — газеты кланет...» Или он сам в чем виноват? Но в чем? Ну, поехал на рыбалку. Ну... Да, собственно, и все. Он полежал, подумал — и жалко стало горюху Пелагею. Ведь тоже — и бабе хочется ласкового словечка. А он последнее время сыч-сычом. С этим погребом еще связался! «Эхма», — закричал Павел, чувствуя, что хоть и жалко ему Пелагею, но что-то оборвалось у него в эти дни, а что — не знал. Или это Арефьич, козлиная борода, мерещится вечно?.. Да нет, при чем здесь Арефьич!

От путаницы мыслей Павел ожесточенно плюнул и пошел во двор. Пелагея сидела на крыльце, несчастно опустив плечи. У Павла дрогнуло в груди.

— Поля, — присел он рядом с ней; она подалась, уткнулась ему в плечо, — ну, хватит. Хватит, хватит, — гладил он ее вздрагивающие плечи. — Ну, давай уедем отсюда! Бросим все к чертовой матери и уедем. Все эти погреба, сарайчики... эти кадушки. Ведь пропадем мы тут около них!

— Чего ты мелешь, чего ты мелешь, Павлик? — повернула она пустое мокроглазое лицо. — Ить шутка сказать... На что менять-то? Тут тебе, слава богу, ни забот, ни хлопот.

— Да черт с ней, с этой заботой! — Павел отпустил ее плечи, и Пелагея выпрямилась, принялась сморкаться, хлю-

пять носом.— Заботы! Тут без этих забот пропасть можно. Хоть о чем-то думать надо или нет?

— Давай, давай,— слезливо кивала Пелагея.— Я тут жили последние тянула, а ты — бросай все, отдавай кому попало.

— Да пусть берут все — с корнем, с землей!

— Ты-то что будешь делать! — с надрывом выкрикнула она.— Куда денешься? Опять в эту погибель? Газеты эти все, чтоб им сгореть! У тебя же груды слабые, Павлик! Чего тебя туда тянет?

— А, к черту все! — Он вскочил и побежал в огород. Пелагея только согнулась горестнее, неутешней.

Павел походил, поостыл, вернулся. Пелагея сидела все в той же позе.

— Ну, ладно, ладно,— хмуро и чутьчку просительно сказал он.— Никуда я не поеду. Чего выть?

Она дернулась к нему, преданно схватила его руку и, целуя ее, припадала к ней мокрой щекой, лбом, прижимала к груди.

— Павлик,— вот ей-богу! — душу выложу за тебя. Сгорю вся, чтоб только... — она забилась в сухих рыданиях,— чтоб только... ты... чтоб ты...

— Ну ладно, Поля, ладно,— растроганно гладил он ее по горячей безропотной спине.— Не нужно, слышишь, не нужно.

Пелагея руками, кофточкой утирала лицо.

— Павлик, ты думаешь что — и мне счастья неохота? Или я не заслужила его? Ведь всю жизнь вот этими руками... Разве мало...

— Да заслужила, заслужила,— утешал Павел, хмуро думая о том, что нет, не в его силах оторвать Пелагею от векового, в плоти и крови заложенного благополучия — чудилось оно ей за высокими изгородами, в подвалах и погребах, в окованных сундуках. Сердцем срослась с этим...

— Так куда же от добра убегать? Счастье, его что — на дороге ловят, что ли?

— А кто его знает,— вздохнул Павел,— где оно? Может, и там. А может... Хотя нет, здесь его не слышишь.

Она притихла, но руку его все не выпускала, прижимала к груди.

— Только... останься, Павлик. Подумай сам,— у нее опять задергалось лицо.— Сам посуди — ну что я тут...

Он поморщился и осторожно потянул руку.

— Ладно, ладно, договорились же. Останемся. Тут будем

околевать!— последнее вырвалось неожиданно, против воли, и Павел почувствовал, как вздрогнула и обмякла Пелагея,— поняла. Он упрекнул себя — надо было бы уж как-то держаться. Хотя как тут...

Они сидели рядом и думали о разном. Павел огорченно судил человека за его непоседливость, за его мятущийся, все ищущий чего-то дух. Уж, кажется, смерть заглянула в глаза — выжил; болтался бы неприкаянно, и еще неизвестно, чем бы дело кончилось — нашел спокойный, сытый угол, нашел человека, которому мигни только... Но нет, тянуло опять куда-то, манило убегающее счастье нескончаемых дорог. Чем дальше, тем больше виделось ему звонкое многолюдье стройки, очищенное от скорлупы опалубки шершавое тело плотины, бурлящая в бетонных упорах стремнина реки. И над всем этим, над речным алтайским неоглядем, в подоблачной самой синеве парил он сам и всем телом, подмыпками чувствовал бодрящий ущельный ветер речных верховьев. И знал ведь, что это не насовсем, опять потянет куда-нибудь... Так неужели же, черт возьми, никогда не бывает счастлив человек!..

7

Во дворе артели валялся старый, заросший грязью автомобильный мотор. Купил его еще, кажется, в третьем году завхоз Александр Моисейч для каких-то ему одному известных надобностей — не то строить что-то собирался, не то просто так, случаем, по дешевке приобрел. Александра Моисейча в артели давно уже и след простыл, а мотор все валялся в углу двора, зарастал грязью и ржавчиной. Павел, последнее время зачистивший сюда, взялся за этот мотор и мудрил с ним непонятное — развинчивал, чистил, собирал. Взялся он за это скорее не из уважения к давнишней просьбе Фаины Степановны, а от скуки: после тогдашнего разговора с Пелагеей он все чаще стал отлучаться со двора — лишь бы куда-нибудь... На второй день к нему приплелся пронзительный дед со сломанным козырьком. Помощи от него большой не было, но все вертелся рядом, что подержать, подать — пожалуйста. Любил дед поговорить, а особенно о машинах. Павел, хмурый, сосредоточенный, прогнавший от себя даже прибежавших было Василия со Стешкой, деда, как ни странно, терпел и даже изредка подавал голос.

— Машина, она что? — разглагольствовал дед, сидя на обрубке бревна и глядя, как измазанными по локоть руками Павел роется в медных кишках мотора. — Она — тянет. Да. Значит, за то ее и уважают. А чем она тянет? Кара... — что? — карасином. Верно. Ты смотри, Павлуха, если тебе что надо: подать, сбежать — говори. Я это могу.

— Нет, нет, сиди, — отзывался Павел, не обращая на деда внимания.

— Ага, тогда ладно. А что главное сейчас в технике?..

Наконец мотор был отремонтирован, вычищен, заправлен. Еще накануне Павел попросил Фаину Степановну достать из склада старый, местами уже изъеденный мышами шкив. Начала работать шерстобитная машина. Пронзительный дед ходил по деревне гоголем.

— Ты думаешь, что сейчас главное в машине? — приставал он к встречному и поперечному. — Карасин... Карасин — это само собой. А шкив? Верно. Вот возьми нас с Павлухой...

Фаина Степановна пригласила Павла в конторку и там, сама приняв от бухгалтера, протянула ему триста рублей — премию не премию, а что-то вроде благодарности от артели. Павел смутился, стал отнекиваться.

— Что вы, Фаина Степановна! Нет, нет, я это так...

— Бери, бери, — просто сказала она и положила деньги на стол. — Бери, твоя любит деньги. Пригодятся.

Павел покраснел, опустил глаза, но деньги взял. Когда он уходил, Фаина Степановна пожаловалась:

— Забывает, совсем забывает нас колхоз. Боюсь, не поедут со мной люди. Переехать-то мы переедем, а людей придется новых набирать.

И попросила:

— Ты почаще теперь заглядывай. От тебя нам только польза.

Это подумалось Павлу впервые, и если бы не деньги, кто знает, может, никогда бы и не пришло в голову — ведь сколько он живет у Пелагеи, а только в первый раз несет в дом. Ну что там за помощь от него была? Сено, погреб, ну разве когда забор починит. А мужчина все-таки должен быть главой семьи, кормильцем.

Павел с подчеркнутой небрежностью бросил деньги на стол и, делая вид, что не замечает восхищенного изумления Пелагеи, пошел мыть руки. От железной копоти и ржавчи-

ны теперь надо было отмываться неделю. Пелагея не знала, чем и угодить,— поливала на руки, достала новое полотенце и все глядела, ласкала его счастливыми бабьими глазами. Ночью, притихшая под его тяжелой, пахнувшей железной окалиной рукой, она шептала, перебирая на его рубашке пуговицы,— советовалась:

— Думаю козу, Павлик, купить. Сейчас можно совсем по дешевке взять.

— Да зачем она тебе? — лепиво возражал Павел.

— Молоко, Павлик, у коз густое. Специально пьют, когда грудя слабые.

— Еще чего, от нее пакости не оберешься.

— А я привяжу. Я буду ходить за ней, ты не бойся!

— Ну ее к черту. Нашла тоже...

— А может, ты себе что хочешь? Ты говори, говори!

Потом она поделилась давнишним желанием — купить насос. Для поливки огорода.

— Такие, знаешь, есть большие насосы. На керосине даже может работать. Завел и иди себе, он сам полет. Ты и не видишь,— упрекнула она,— у меня уж руки от ведер отваливаются. Ну-ка потаскай на этакий огородец!

Против насоса Павел не возражал. Он даже оживился, представив себя ранним, еще до восхода солнца, утром в огороде; веселая вода с треском вырывается из медного накопника, рвет из рук шланг, а он вдруг вздымает холодную струю вверх, на мгновение построив в воздухе гарусное колыбельное радуги. Нет, насос купить можно.

— Только есть ли они в магазине?

— Я найду,— успокоила Пелагея.— Есть там у меня... знакомый один. Деньги только надо.

— А сколько? — Павел огорчился: нет, этих, что у него, не хватит. Жалко, насосишко бы действительно не помешал. Чем ведрами, так лучше... как говорит дед — механизация. С этого дня на Павла то ли блажь нашла, то ли в самом деле загорелся — насос не выходил из головы. Особенно вечерами, поливая с Пелагеей огород, он ломал голову — надо, надо добыть где-то денег. С насосом бы дело пошло!

В конце концов он решил — пойду! Оделся и направился в артель, к Фаине Степановне. Но чтобы не подумали, что пришел наниматься специально, Павел походил по двору, минут двадцать посудачил с пронзительным дедом, который теперь целыми днями отирался около отремонтированного мотора. В конторку к Фаине Степановне зашел как бы мимоходом, от нечего делать.

— О! — обрадовалась она. — А я уж думала сама к тебе идти.

— Всегда рады, Фаина Степановна. Что это за срочность такая?

Она стала рассказывать — решили они установить машины в швальню, уж больно жалуются старики, что трудно шивать овчины. Машины купить есть где, механика нет. Не поможет ли Павел?

Желаемое само валилось в руки. Но Павел чутьчку покуражился:

— Не знаю даже, что и сказать. Хозяйство же... На все время нужно. Туда, сюда — и день прошел...

Но постепенно стал сдавать и под конец шуточкой, с неловким смехом, осведомился:

— Стоит ли хоть братья-то за это? Время...

— Да нам это пустяки! — оживилась, не поняв его, Фаина Степановна. — На машины деньги давно есть. А потом — окупятся.

Павел порозовел от неловкости, но от своего уже решил не отступать.

— Да, Фаина Степановна, — похохатывал он, — я о себе говорю. Мне-то там — хоть на пол-литра перепадет?

И сразу почувствовал: Фаина Степановна осеклась, прицелилась на него прищуренными глазами, но не долго, — сморгнула.

— Вот видишь, — и долго стряхивала с папиросы пепел, — а ведь тогда отказывался. Понравилось. Но не бойся — заплатим, не обидим. Я слышала — твоя-то и переезжать не хочет. Что же решили делать?

Павел покраснел мучительно, до слез. Не помнил, как и вышел. «Нет, к черту все! Не хватало еще... Позорище, стыд какой... Узнали бы ребята! Тьфу!»

8

Дома его ждала счастливая присмирившая Пелагея. Едва дождалась.

— Ну, иди. Смотри, — сдержанно теплилась она радостью.

— Ох, отстань только от меня, — отмахнулся Павел. — Не до этого...

У нее испуганно остановились глаза.

— Да, Павлик, да что с тобой?

— И не спрашивай, и не лезь, — отворачивался он. — Тут сквозь землю бы провалиться!

Она убито опустила на стул, закрыла лицо.

— А я-то думала... Старалась. Для себя, думаешь, все? Для тебя же, все как лучше хочешь.

— Слушай, ради бога, перестань! И так тошно.

— Ну вот...

— Хорошо, чего у тебя там?

Пелагея притихла, всхлипывая, рассказала, что давно уж собиралась прикупить вторую корову. Вот, купила... Вела, радовалась... Думала, что и он...

— Одна-то корова на мне была, другую на тебя записала бы... И налогу бы никакого не было. Так ты...

Павел только руками развел:

— Вот...— и не договорил, задохнулся, выскочил из комнаты. «Теперь только козы не хватает!»

В темном сарае стояла покупка — высокая, крупной кости корова, жевала сено. На скрип двери она повернула голову и равнодушно выкатила на Павла сверкнувший антрацитовый глаз — совсем не признала в нем хозяина. «Тут и не распутаешься... Коровы эти, курочки, козы. Насос еще...— со злостью вспомнил он недавние свои восторженные надежды.— Уж хоть бы затопляло, что ли, скорей!»

В комнате, подав ужинать, Пелагея подошла сзади, припала к его сердито сгорбленной спине.

— Все-то ты недоволен, Павлик, все дуешься... А ведь тут твоих денег ни копейки, свои выкладывала.

Павел бессильно опустил ложку.

— Да разве я об этом!

— Все я вижу, все знаю,— прошептала она, глотая слезы.— Отдам я тебе эти деньги. Вот наторгую и отдам.— И ушла в горницу, на постель — плакать на всю ночь.

Осунувшийся, небритый Павел ворочался во дворе артели — монтировал моторы. Нужно было заканчивать их установку — и к черту. Не рад был, что и связался. После ссоры с Пелагеей он ходил туча тучей. Приплюхался было пронзительный дед — поддержать, подать что,— но Павел так рывкнул на него, что тот молча, балансируя костылем, удалился чуть ли не на цыпочках. Фаина Степановна все эти дни наблюдала за ним издали, с крылечка, словно догадываясь, что с ним происходит; не подходила. Только вечером, когда Павел наконец закончил опостылевшую установку моторов, она вышла, остановила его и молча подала деньги.

Накинув на плечи старенький пиджачишко, Павел так же молча взял деньги и, не считая, сунул в карман.

Фаина Степановна долго смотрела ему вслед, потом неизвестно к чему произнесла:

— Ну, вот и еще один.

И по-женски пожалела Пелагею.

Павел, смутно решаясь на что-то окончательное, быстро шагал домой. Стешку он заметил еще издали и хотел разминуться с ней по другой стороне улицы. Было не до разговоров, не до зубоскальства. Но бойкая девка не постеснялась перейти дорогу.

— Уж не на свиданье ли опаздываешь?

Павлу ничего не оставалось, как остановиться.

— Чего тебе?

Стешка удивленно заиграла бровями:

— Ничего себе — хорош кавалер! Ты что, всех так встречаешь? У-у, какой злой! Павлик, ты чего? Тебе бы радоваться надо — с покупкой. Совсем куркулем становишься!

И умолкла, прикрылась рукой, испугавшись остервенело дернувшегося Павла.

— Я б тебе сказал!.. — выдохнул он, уничтожая ее бешеными глазами. — Взяли привычку!..

Пелагея стояла во дворе с ситом корок и голосисто звала гусей: «Тега, тег, тег...» Крупные, заматерелые за лето гуси вразвалку тянулись во двор. Старый гусак с костяной шишкой на клюве стал в самой калитке и о чем-то гортанно предостерегал проходившую мимо него стаю. Павел с ходу пнул гусака в бок, и тот отлетел, обиженно загоготал. Стая брызнула врассыпную.

Пелагея, бросив сито, кинулась к Павлу:

— Чего это он тебя? Уж не укусил ли? Да я его тогда...

Павел проскочил мимо.

— Никто меня не кусал. Отстань.

Скинув пиджак на ступени крыльца, он направился в огород, к колодцу — умыться.

— Господи, уж и гуси ему мешают! — горестно воскликнула Пелагея, собираясь заплакать.

Начерпав кадушку, Павел с наслаждением окунул голову. «Фу-у, дела... Вот и лето проходит, а искупаться так и не пришлось».

Над деревней показался самолет. С оглушительным треском он поплыл над самыми тополями, сделал над деревней два круга. Задрвав мокрую голову, Павел смотрел на его

зеленое брюхо, легкие крылья этажеркой и почти различил лицо летчика. Холодная вода текла Павлу за ворот, по груди.

На улице восторженно визжали ребяташки:

Эроплан, эроплан,
Посади меня в карман...

Самолет улетел к горам, потом вернулся снова, уже на порядочной высоте. Павел видел, как летчик прощально помахал рукой. Еще минута, две, и самолет стерся на блеклой синеве вечерющего неба — ушел, полетел в сторону широких дорог.

Павел насухо вытер голову и долго стоял, бездумно глядя под ноги. По двору беспризорно бродили гуси, обиженный Павлом гусак теребил валявшееся на земле сито — все добывал какую-то прилипшую корку. В сарае тихонько замычали непоенные коровы.

На улице Павел увидел разноголосую толчею баб и ребятшек; пронзительный голос покрывал все:

— А какой цель хотел ероплан? План. Да. Зачем? Чтобы зато... — что? — затоплять. Верно.

От этой группы, едва только Павел показался из ворот, отделилась неузнаваемая в сумерках фигура и направилась к нему. Когда она подошла поближе, Павел узнал Стешку.

— Слушай, — робко коснулась она его локтя, — ты чего сегодня рассерчал? Ведь честное слово...

— Ничего я не серчал, с чего ты взяла? — Павел недовольно дернул плечами. Стешка пошла рядом.

— Ты подожди, Павлик...

Он фыркнул:

— Вот Пелагея тебя увидит. Она тебе...

— Боялась я ее! — заносчиво вскинула голову Стешка.

— Смотри...

— Ну это ладно. Ты-то что — обиделся?

Павел усмехнулся. Спросил:

— Ты сестру там не видела? Хоть бы домой ее отпустили на денек.

— А кто ее держит? Сама старается. Анна у тебя правильный стала человек.

— Пусть хоть проститься придет. Теперь когда еще удастся.

Стешка насторожилась:

— Проститься? С кем? Павел, ты чего?

— Ладно, ладно, это я так.

— Да постой, куда ты? — Павел остановился. Стешка пыталась заглянуть ему в глаза. — Ну, перестань. Приходи сегодня в клуб. Танцы будут.

— Вот, вот, — издевался Павел. — Мне сейчас как раз только танцев не хватает.

Стешка опять придержала его за руку, заторопилась:

— Ну, не хочешь, давай где-нибудь...

— Чудной ты человек! — только и нашелся что сказать Павел. Гордая, неприступная Стешка, сникнув, недоуменно смотрела ему вслед. А он, не думая о жестоком равнодушии своих слов, шел прямо по улице, за деревню, — сам не зная куда.

...Домой он вернулся поздно — пропели вторые петухи. Ущербная луна заливала сонную деревню малокровным неживым светом. Блестела наезженная дорога, копнами чернели избы. Во дворе он заметил по-прежнему валявшееся сито. Вдыхали в сарае коровы.

Павел осторожно вошел в избу. Через не закрытое ставнями окно падал мутный лоскут света, маленьким половичком стлался у кровати. Пелагея спала нераздетой — видимо, ждала. Лицо ее было спокойно, только красивые густые брови нет-нет да дернет измученная, беспокойная гримаса. Наверно, и во сне она переживала свою неудавшуюся вдовью жизнь.

Под ногу Павла попал какой-то твердый предмет. Он нагнулся и поднял. Это был маленький флакон из-под духов. Собственно, духов в нем не было давно, и Пелагея наливала в него кипятку, чтобы настоялся он прилипчивым дорогим запахом. Только теперь Павел ощутил слабый нездешний аромат. «Ждала...» Он постоял, подумал — что же у него осталось в душе напоследок? Была только жалость. И сделал единственное, что мог, — достал из кармана и положил на стул деньги. Все, до копейки...

После этого, зажав в руке пустой флакон, он вышел из избы.

Остаток ночи Павел шел широким, легким и вольным шагом. А когда совсем рассвело и густым заревом полыхнул восток, он добрался наконец до реки. Широкая, могучая, она несла в себе радостную неудержимую силу. Розовое небо опрокинулось в ней возле далекого берега, и разгуливавшийся, набравший силу ветерок уносил застойную дымку утра и пятнил зеркальную гладь темными заливами.

Начинался день.

От тальниковых зарослей другого берега отчалила лодка бакенщика; черные весла разбивали золотое зеркало реки. «Проспал старик», — подумал Павел, наблюдая, как торопливо машут весла.

И, чувствуя, как холодит речная свежесть щеки, как вливается в грудь упругая гудящая радость, он закричал с обрыва неожиданно зычным, озорным голосом:

— Э-ге-ге-ей!..

Над рекой вставало солнце, щедро неся людям свет и заботы нового дня.

1957 г.



ДЕНЬ АНГЕЛА

Со света в сарае показалось темно, однако Марья не стала дожидаться, пока привыкнут глаза, и оцупью пробралась в угол, где гнездились куры. Сухой, продутый ветром сарай давно стоял без надобности, потому что корову пришлось продать сразу после смерти матери, и теперь в хозяйстве оставались одни курицы, всего три, но хорошие — неслись исправно и всегда дома. Марья звала их по именам и особенно выделяла Барыню, самую любимую, степенную и важную. Другие курицы были гулены, таскались по чужим дворам и вечером зови не дозовешься, а Барыня ковырялась дома, — походит, поскребет лапкой, склюнет. Хозяйку она тоже любила и не боялась, ловить ее не приходилось, сама доверчиво давалась в руки.

Пошарив в умятых, насиженных гнездах, Марья нашла два яичка и очень удивилась, что в гнезде Барыни ничего не оказалось.

— Ты что же это, матушка? — озабоченно проговорила она и, нагнувшись, подняла с земли Барыню, которая, по обыкновению, неторопливо паслась возле ног хозяйки.

— Маш, а Маш, — позвали в это время с улицы, и Марья,

не отпуская курицы, выглянула на свет и узнала соседку, разведенку Настеньку. Соседка быстро поманила ее рукой:— Подь-ка сюда.

С двумя яичками в руке Марья, щурясь, показалась из сарая и, пока подходила, спрашивала глазами, что могло случиться, какая надобность. Настенька, бабенка бедовая, часто прибегала за какой-нибудь пустяковой выручкой: то луку или соли, то оставить на часок ребенка, а раза два пустить просила,— это когда неожиданно наезжал Петруша, немолодой уж заготовитель, а у Настенькиной матери дежурство было в день.

— Слушай, Маш,— засекретничала соседка и все оглядывалась по сторонам, хоть подслушивать их было некому,— мы к тебе сегодня поздравлять придем. Ты будешь дома?

— Поздравлять?— не сразу догадалась Марья.— А кого поздравлять-то, с чем?

— Тебя, кого же еще?— настойчиво шептала Настенька.— С днем ангела.

— Хватилась, матушка! У меня уж когда прошло.

— Прошло?— И Настенька сильно расстроилась.— А я-то думала... Вот дура я, дура! Что же теперь делать?.. Ну, мы все равно придем, ладно? Я уж и дома сказала.

«Опять, наверное, Петрушу принесло,— улыбнулась Марья.— Так бы сразу и говорила».

И по глазам, по придыханию соседки она поняла, что так оно и есть.

— Да господи!..— как всегда, согласилась Марья.

Настенька и не ожидала отказа. Она засмеялась и, снова оглянувшись, поманила товарку поближе.

— Только ты это...— зашептала она в самое лицо и не могла унять, все блестела глазами, оглядывалась.— Мы, слышь, не одни придем. Ты окна заповесь, чтоб не пялились.

— Да кто будет-то?

— Тут видишь что получилось... Да подойди ты, чего я на всю улицу! У Петруши какой-то начальник приехал, новый человек, только в дело вхдит. Ну, мы и подумали его со Степанидой познакомить. А что ей? Я уж говорила, она согласная. У Нюрки конторской хотели, да у нее бабка заболела, дома лежит. Остаешься ты... Мы и тебе приведем,— они трое приехали.

— Да ой!— Марья покраснела и прикрылась рукой.— Меня-то вам зачем?

— Вот дура-то! Третьего-то мы куда денем?

Но все равно Марье было приятно и радостно, что не за-

были ее старые товарки, хоть и обходить стали последнее время, давно уж обходили,— Настенька еще ничего, приветливая баба, а вот Степанида как чужая, встретится и не посмотрит. И в радости, в предчувствии хорошего компанейского вечера Марья хоть сейчас готова была захлопотать, чтоб к назначенному времени у нее все было в самом лучшем виде. Она еще не забыла, как принять гостей, и уж постарается, примет.

Убегая, Настенька наказала напоследок:

— Как подоишь — домой иди. Стемнеет, я и приведу.

Когда-то они собирались так вот часто... ну, как часто? Раз, а то и в два месяца раз. Горькое это было, но желанное вдовье веселье: один короткий угарный вечер. И хоть погано бывало по утрам, да и маменька жива была еще, ругалась, а все равно тянуло, и сначала Марья обижалась, что забывают ее подруги, только потом смирилась и затихла: они-то еще ничего, в теле, а ее работа вымогала до жил, особенно четырехразовая дойка,— провалиться бы тому, кто ее выдумал!— когда не только день напролет, а и ночью не выбраться было с фермы. Мужик и тот с такой работы падсадится.

Не забывала ее одна Настенька,— утром обязательно прибежит и, прыска, о многом недосказывая, поделится: где, кто, с кем. Но тоже что-то редко стали собираться бабы, обходили их заезжие кавалеры. Одна Степанида еще держалась, хоть и она неузнаваемо заматерела и телом и лицом. Или помогло ей, что в лавке работала, всегда на виду и на работу наряжалась, как городская? Степанида, и Марья знала об этом с девчонок, никогда себя деревенской не считала и ничего деревенского не любила. Большой уж девкой она вдруг исчезла из деревни и объявилась в городе, подавальщицей в чайной. Старик Милованов проклял ее и матери запретил даже помянуть о беспутной дочери. Но вот дошли слухи, что со Степанидой нехорошо, что осудили ее по какому-то делу, а года через полтора она появилась и осела здесь навечно. Отец хоть и не прогнал ее из дому, однако до сих пор не заговаривал, не замечал, будто и нет ее на свете. Матери одно переживание!

Наблюдая, как урывает свое беспутное бабье счастье Настенька, Марья много переживала и жалела всех: и себя, и Настеньку, даже Степаниду. Разве повернулось бы все так, вся их нелегкая, беспросветная жизнь, если бы не проклятая война, погубившая и искалечившая столько здравых мужиков?

Было еще одно терзанье у нее, собственное, и она делилась им с соседкой всякий раз, когда у той хватало времени посидеть и посочувствовать. Лет шесть назад Настенька свела ее с одним заезжим, свела вот на такой же вечеринке, и тот

остался жить, будто и в самом деле нашел, чего искал. Но по-жил недолго, с неделю, если не меньше, а через несколько дней Марья узнала о нем из повестки в милицию. Получив повестку, она забеспокоилась, зарубила курицу, яиц собрала и потащила по осенней грязи на станцию, где он сидел в линейном отделении. Потом таскалась не раз и не два, сильно жалела его, а он не всегда хотел даже видеть ее и лишь торопился с передачами. «Да брось ты, на черта он тебе такой сдался?» — ругалась Настенька, но она все равно таскалась бы, если бы не суд и — всему конец. И до сих пор она нет-нет да и вспомнит: хоть и плохой был, а все-таки муж... мужняя жена, не огрызок, от которого всяк откусит и сплюнет. Сами же они, Степанида та же, называли себя огрызками и начинали понимать, что не от хорошей, видно, жизни придумано кем-то хмельное залихватское присловье, что в сорок пять баба ягодка опять...

Вечером Марья управилась на ферме скоро, половину дел оставила назавтра. Бидоны, например, и утром можно перемыть, если заявиться пораньше. Она торопилась домой и убежала рано, однако Настенька, уже наряженная и чистая, встретив ее, удивилась:

— О, ты еще не дома! А я к тебе.

— Ладно, ладно, я сейчас. Ты иди, я вперед побегу.

Успеть надо было много, и Марья, оглядываясь на вырившуюся Настеньку, которая остановилась с кем-то возле клуба, соображала и никак не могла решить, за что же сначала приняться.

Стукнула косая разболтанная калижка, Марья вбежала, скрылась в избе и тут же показалась обратно, но уже без платка, простоволосая, захлопотавшаяся вконец. Барыня, как всегда, паслась дома, деловито и сосредоточенно разгребала у плетня. Пробежав в сарай, Марья посмотрела и не нашла других куриц: «Опять где-то шлепдают, язвы!» А некогда было, так некогда! Она сузнулась в один угол, в другой, затем вспомнила, где забыла топор, и сбегала в сенцы. С топором она все той же торопливой пробежкой подскочила к Барыне и неловко подхватила ее под мышку одной рукой. Сначала Барыня запротестовала, захлопала крыльями, но скоро успокоилась и, наклоня голову, пыталась взглянуть на хозяйку, понять, что это с ней. В самой глубине студенистого немигающего глаза курицы светилась и любопытствовала какая-то крохотная неуловимая точка.

В сарае, у самых дверей, стояла древняя изрубленная колода. Марья вдруг больно вывернула Барыне крылья, стисну-

ла в руке и стала пристраивать ее на выщербленной колоде пушистой взъерошенной шейкой. Глаз курицы налился кровью и яростно, протестующе завзирал снизу. Коротко, по-мужски замахнувшись, Марья ударила топором и тут же почувствовала, как напряглась в последнем усилии Барыня.

— Ну, ну, ну...— ласково проговорила она, отбрасывая топор и не давая курице вырваться, пока не выпецилась кровь.

С окровавленной, трепыхающейся курицей в руке, держа ее на отлете, чтоб не испачкаться, она вышла из сарая, когда во двор вступила Настенька.

— О!— удивилась наряженная соседка.— А тебе не жалко?

— Господи!..— хлопотливо молвила Марья, бросая державшийся, весь встопорщившийся комок перьев у крыльца.

— И консервами бы обошлись,— сказала Настенька, медленно поднимаясь по ступенькам. Она несколько раз посмотрела, как билась, загребая коченеющими лапками, Барыня.

Марья позвала товарку и попросила слить на руки. Плещалась она экономно, но ловко, быстро, по-молодому, омывая длинные голые руки, шею и под мышками. Чтобы утереться, она достала старинное расшитое полотенце, но попользовалась лишь самым кончиком, оставив остальное для гостей.

Во что нарядиться, она знала еще утром, когда договори-лась и ушла Настенька. Как-то в городе, на воскресной толкучке, ей попала застенчивая девчущка, предлагавшая завернутую в газету совсем еще новую юбку со множеством отглаженных складок. Марья хоть и сразу польстилась, но выторговала у девчущки несколько рублей и осталась очень довольна покупкой. Хорошая попалась юбка и для нее подходящая. На прошлый праздник надевала,— была как все: и не скажешь, что тела совсем не осталось.

Раздетая, с тонкими плечами и худыми длинными руками, на которых совсем неожиданными казались огромные темные ладони, она застыдилась перед Настенькой и быстро нырнула в сундук. У ней и белье было приготовлено: все как у людей. И, суетливо просовывая голову, одергивая, расправляя, она, как и всякая женщина, празднично возбуждалась от давно не пробованного запаха обнов.

— Сзади не погладить?— спросила она, поворачиваясь так и эдак, осматривая себя.

Настенька изучала ее придирчиво, но с каким-то непроходящим затаенным сомнением.

— Ты бы, Маш, хоть молока побольше пила, что ли...

— Так ведь пью! Не пью разве?

И все так же бойко крутилась, поправляла, — прихорашивалась.

— Губы тебе, что ли, подкрасить?.. На-ка вот. Или дай — я сама. Вот так... И тут еще. Во, во! Ну что ж, ты у нас девка еще хоть куда! Только не скалься пибко Мужик-то твой, оп знаешь, что говорил? «Как, говорит, увижу ее, так ударить охота. Все десны выставит!»

Это Марья знала, это маменька ее наградила улыбкой. У других только зубы блестят, и они знай себе скалятся во весь рот, а маменька, а от нее и Марья сызмальства научились поджимать губы, а если уж приходилось, так прикрывались рукой... Однако о муже Марьином соседка раньше ничего не говорила, — вдруг сейчас что-то проболталась. Значит, было у них, раз делился он с ней. То-то Марья выведывать пробовала у него. «Что это, — спросит, — ты у нее опять сидел?» — «Да так, — скажет, — поговорить заходил». А в глаза и не посмотрит... Ладно, чего уж теперь?

Неловко Марье было в туфлях, — тоже новые и на каблуке, но от каблуков-то и мука. Ног не выпрямить, коленки торчат. Как они там в городе только ног не переломают? «Ладно, — успокоила она себя, — сяду за стол, и не видно будет».

Занавески соседка задернула сама и проверила, надежно ли. Когда вспыхнул под потолком свет, Настя сказала:

— Ну, пошла я. Жди.

И Марья осталась, не зная, сесть ли за дело какое приняться, выйти ли навстречу. Она садилась, как гостья, и разглаживала на коленях юбку, перебирала твердые складки. К лицу то и дело подкатывал жар, щеки ее смуглели и молодели, и синими тогда, таинственными становились тени от ресниц.

Пришли, кажется!.. Ова вскочила. И точно: в сенях затопали шаги, много ног, в дверь деликатно постучали. «Господи, стучат еще!..»

Приоткрылась дверь, и в избу заглянул знакомый глаз, смешливый и лукавый, — Петруша, Настин хахаль. Немолодой уж, волос лезет, а все Петруша. В деревне его так и звали: хахаль.

— Позвольте?

И мигнул, сощурился, настраиваясь на веселость, как свой человек в доме.

Видно, его толкнули сзади, он вошел, оставил дверь откры-

той. И у Марьи опустела голова, поплыло в глазах. Она стояла и подавала дочечкой руку: Петруше сначала, — тот с какой-то обязательной прибауткой и подмигиванием, потом неторопливому и важному, в костюме и галстуке, Семен Семенычу, самому главному, и наконец третьему, низенькому, совсем без шеи, который еще издали, из сеней, так и стриг ее глазами, не отрываясь. «Этот!» — еще больше растерялась Марья и не знала, как ступить, что сказать. В голове у ней сложилось сразу, что Петруша, конечно, с Настенькой, — вон они уж и хозяйничают в избе, как свои люди, — важный и солидный, с галстуком, ясное дело, для Степаниды — он и не отходит от нее, то за руку, то за талию придержит, усаживая на скрипучий ненадежный стул, а Степанида, умело затянута где надо, пышная и совсем городская, только усмехается накрашенным ртом, а если что и скажет, так вбок, через капризную губу. «Ну, это пока не выпила», — хорошо знала Марья. Из головы у ней не выходил наказ товарки, и, подавая своему у руку, она на всякий случай прикрыла рот. А он, как только ступил через порог, потух почему-то, суксился и ямя свое буркнул так, что она и не разобрала.

В избе все вроде бы пошло, как и положено. Петруша с Настенькой мельтешились, собирая на стол; Семен Семеныч, доверительно наклоняясь, ворковал над ухом вадменной Степаниды. И только сама хозяйка сидела, как была, прикрывая счастливый рот рукою.

— Курицу-то когда варить? — как по секрету спросила Настенька и незаметно пощекотала ее, чтобы была поразговорчивей, не давала низенькому киснуть в одиночестве.

— Ставить надо, — откликнулась Марья и стала успокаиваться.

Несмело, но все чаще она поглядывала на своего и находила, что он хоть и не Семен Семеныч, а все же хороший, надежный человек. Сразу видно... На душе у ней потеплело, совсем стало тепло, она уже любила его, и жалела, и по-своему понимала все, что другие обязательно обратили бы в насмешку. Что ж из того, что коротковат, — рост, он от бога, от отца с матерью. А что в теле и посаживает, так это, полагать надо, от сердца. Годы-то немолодые, сердце надсажено, да ко всему и продуло где-нибудь в дороге. Погода, хоть и лето, гнилая, у Настеньки яон ребенка едва отходили, а всей и простуды было, что искупали в корыте у колодца. И молчаливость его понимала, — не всем же как Петруше-балабону. Человек основательный, серьезный...

Настенька, часто обращаясь к ней то за тем, то за другим,

начинала сердиться и больно толкала ее, чтоб не сидела букой, веселилась бы. А Марье и было весело, но, чтобы не торчать, не мозолить всем глаза, она догадалась помогать соседке и скоро забегала, залетала из избы в погреб, доставая, что надо, и совсем не боясь запацкаться. Постепенно она даже оттеснила Настеньку, собираясь все сделать сама. Не надо ей помогать, маменька, бывало, никакой помощи не терпела, и все у ней в руках горело, любая работа. А бегая, она нет-нет да и посмотрит на низенького: замечает ли он, какая она в хозяйстве? Это не Степанида, у которой с ногтей краска не сходит. Мать, рассказывают, замучилась с ней. И что только мужики в таких находят? Ну, мяса нарастила, а еще что? Вон у Семен Семеныча, хоть он и при галстуке, а рубаха, видать, неделю не стирана. Думаешь, постирает Степанида? Как бы не так! Не из таких. На другой день она и не посмотрит,— мимо пройдет, не узнает. Было уж как-то: полюбозничала вот так же с заезжим циркачом, а наутро нос в сторсну. Серчать принялся циркач, насилу успокоили бугая. А отцу с матерью лишний позор,—скандал-то на улице, на всю деревню...

Когда все было готово: начищено, царезано и только на огне еще кипело и булькало, она спохватилась. Все определились парами, и только низенький сидел неприкаянно, хмуро разглядывал собственные ладони. Она даже задохнулась от жалости и умиления: да родной ты мой! Подсела, бросила все и стала смотреть на него, ломать голову, о чем бы заговорить. О маменьке разве рассказать, которая была мастерица на любую работу,—только, бывало, подумает, а уж раз — и все готово? Но в это время спачала Петруша, а затем Семен Семеныч обратили наконец внимание на всю компанию и стали рассказывать такие дивные вещи, что Марье и говорить не пришлось.

Петруша выдумал какую-то байку,—а может, и не байку, кто его разберет?—рассказал он о каком-то профессоре, который пришел своей собаке вторую голову. Еайка получилась занятная, и даже Степанида обратила на него свой мрачный взор, в котором навсегда застыла осатанелость от настырных покупателей.

— Ну и что?—спросила счастливая своим ухажером Настенька, помогая ему развлекать компанию.

— А что? Пошел, дурак, с собакой гулять, а башки и загрызли одна другую!—И Петруша захохотал, залился, будто удачно придумал разгадку. Пустой все-таки человек.

Затем вниманием с достоинством овладел Семен Семеныч,

однако слушать его Марье пришлось вволю, потому что она не столько слушала, сколько радовалась тому, что вот как все счастливо получилось, что сидят в ее тесной, неприглядной избе чистые, нешумные люди, ведут хорошие разговоры, все по-городскому, без деревенского гама, и надо будет ей все же одолеть проклятую маменькину робость и, когда сядут за стол, поднять рюмку и что-нибудь сказать. Ну, поздравить кого или сказать спасибо. Она видела, что Настенька и Петруша о чем-то сердито шушукуются, он что-то выговаривает ей и трясет негустой своей завитой прической, она оправдывается, и оба почему-то напряженно избегают взглядыwać на нее,— но это их дело; видно, что-то ему не нравилось, за столом помирятся, а самой Марье не терпелось дожидаться, когда наконец сварится курица, чтобы позвать всех за стол и сесть рядом с низеньким. Они еще разговаривают, она найдет что сказать,— не дура же набитая, не Монька-пастух, деревенский дурачок!

Тем временем Семен Семеныч с поднятым пальцем и задумчивыми глазами в потолок припоминал что-то певучее и сладкое: стихи. Всем понравилось, и теперь слушали только его, а Степанида, устав жеманничать, нетерпеливо поглядывала на булькающую кастрюлю, торопясь за стол, к первой рюмке. Полновесное ее кслено давно примирилось с нахальной ногой Семен Семеныча.

— Маяковского надо читать,— с какой-то утомленной мудростью проговорил Семен Семеныч и пальцами побарабанил по коленке.— Читать надо Маяковского. Его сам Сталин любил... И вообще на свете много интересных книжек.

— Вы Есенина любите?— спросила Степанида, устремляя на него черный взор сильно подведенных глаз.

Семен Семеныч, как бы удивляясь наивности вопроса, снисходительно прикрыл веки и неуловимо повел бровями: дескать, о чем вопрос?

— Но между прочим, интересно заметить,— вдруг оживился он, как бы мимоходом, но плотно взглядывая на могучую светлую брошь Степаниды,— интересно заметить, товарищи, что тот же Маяковский застрелился от одной ин-те-ресной болезни! Да, да!

— Ой, расскажите!— вырвалось у Настеньки, и она, едва не забывшись, снова поймала шкодливую руку Петруши, чтобы до времени не давать ей воли.

— Затравили, я слышала...— неуверенно произнесла Степанида, и в глазах ее пропала привычная осатанелость.— В школе же проходили...

— В школе!— тонко усмехнулся всезнающий Семен Семеныч.— В школе этого не проходят, девушки... Порешил он себя от болезни... хе-хе!.. чтоб носик, носик у него не провалился.

— Фу, какие вы кошмары рассказываете, Семен Семеныч!— всплеснула сдобными руками Степанида.— Фу!

Как котенок лапкой, она игриво шлепнула кавалера по неугомонной коленке. Семен Семеныч оживился еще больше и проворно оглянулся на долго булькающую кастрюлю.

— В литературе, Стеша, вообще много загадочного. Очень много. В литературе и искусстве... А вы думаете, Петр Первый от чего умер?— Он подождал и не дождался ответа и покивал умудренной головой, удовлетворяя всеобщее любопытство:— От того же самого. Точно!

— Кошмарно! А Есенин? Семен Семеныч, скажите, ради бога,— а Есенин?

— Есенин вас интересует? Гм... Тут, знаете ли... наверняка утверждать не берусь. Он ведь был за границей. Был! А за-граница эта, знаете ли...— и пальцами пошевелил весьма многозначительно.

— Тогда им так и надо!— неожиданно озлобилась Степанида, раздувая дородную шею.— Ума не приложу, и чего люди рвутся в эту за границу?

Стала она сейчас такой, как в лавке, и в гнев даже колено убрала от присмирившей ноги Семен Семеныча. С рассерженной Степанидой, если ее не успокоить, сладу обычно не было, она могла и по-лагерному брякнуть. Но хорошо еще, что не выпито нисколько! И Марья поспешила замять невзначай возникшую размолвку.

— Так ведь там, чай, тоже люди живут!— примиряюще сказала она и с детской своей, бесхитростной улыбкой, не закрываясь, обвела глазами всех, кто сидел вокруг.

Но Степанида, видать, не поняла ее или не так поняла,— чуть поворотив надменную голову, взглянула на нее, как из-за прилавка. И Марья спохватилась, кинула на губы пальцы: кажется, не то она сгорила! Семен Семеныч осуждающе пожевал губами,— он тоже не одобрил непродуманного высказывания хозяйки.

— Борются с этим,— скупое сообщил он тоном человека, близкого к большим секретам.— Недостаточно пока, но борются.

Из уважения к значительности недосказанного все помолчали, затем Степанида переборола себя и первой сделала покаянное движение коленом.

— Писатели эти — фу! И за что им голько такие деньги платят? У меня в городе подруга в сберкассе работала, так она порассказывала!

И все могло пойти как прежде, все наладилось бы, не встрень Марья снова в разговор.

— А я так отродясь в сберкассе не была,— сказала она, изо всех сил желая загладить свою неожиданную вину.— Не знаю даже, как там. И маменька, хоть жизнь прожила...

Но нет, опять она не в лад! Это она поняла сразу, потому что все умолкли и с досадой переглянулись. Ничего хорошего сегодня от нее, одна помеха! И хоть понимала Марья, что молчать ей теперь надо и уж конечно не улыбаться, но улыбалось как в наказание само собой, и она лишь прикрывалась своей большой, измученной работой и щелоком ладошкой и лепетала из-за пальцев в оправдание:

— Это Степанида у нас... Она у нас в городе...

Одна Настенька, добрая душа, смотрела на нее с жалостью.

Ах, молчать, молчать ей следовало,— и без нее говорунья хватает. Молчание давило ее,— хоть Петруша бы затрещал! Перебирая на коленях твердые, навечно отглаженные складки, она заметила, что низенький брезгливо рассматривает ее руки, которые, к давнишней ее досаде, совсем незаметно почернели и вымахали черт те как,— будто одни только и росли во всем теле. Она застыдилась вконец, хотела спрятать и руки, но спрятать было некуда.

Низенький вдруг решительно потянул носом и поднялся. Она испуганно вскинулась, но он не посмотрел на нее.

— Ты куда?— метнулся к нему Петруша. Низенький оттолкнул его и сердито вышел в сени. Петруша выскочил за ним.

Сил не было поднять от стыда голову!

— Ох-хо-хо-о...— притворно зевнула Степанида, хотела встать и уж грузно оперлась на колено кавалера, но передумала и осталась сидеть.— Семен Семеныч, рассказали бы что-нибудь еще, что ли.

Однако скис и Семен Семеныч, томясь в предчувствии скандала.

Скоро Петруша, приоткрыв дверь, пальцем поманил Настеньку, и она опрометью выскочила к нему, а когда вернулась, то сразу подошла к убито сидевшей Марье, наклонилась и негромко сказала:

— Пойдем-ка на минутку.

Горше всего было Марье ковылять за товаркой в своих новых неудобных туфлях, чувствуя, что все смотрят вслед и замечают, как торчат у нее колени.

На дворе была ночь, ничего не видно, и после избы, после табачного дыма и куриного наваристого духу очень свежо. Марья стояла и не поднимала лица. Настенька, жалея ее, не стала таиться и сказала все как есть:

— Я за Нюркой сбегая. Ты иди в клуб, там, говорят, кино хорошее: сплошь про любовь. Или еще куда... Не выгонять же их теперь!

— Да нет, чего ты... Я схожу.— Марья различила возле крыльца светлые куриные перья и подумала, не убрать ли, пока нечего делать? Или потом уж?

— Ты не обиделась, Маш?

— Что ты, господь с тобой!..

— Так я побежала!

Оставшись одна, Марья постояла, потрогала плетень, затем аккуратно притворила за собой калитку. В окнах избы было светло, но ничего не видно. Потихоньку, сторонкой, она пошла по темной улице. Ее напугала собака, выскочившая вдруг откуда-то из лопухов. Собака тоже испугалась, визгнула и, поджавшись, подвывая, закатилась, сгинула в темноту.

Возле клуба — далеко слышно — играла музыка. Несколько пар танцевало, и Марья слышала, как сильно измененный динамиком голос комсомольского секретаря объявлял очередной танец. Многие пришли в клуб семьями и в ожидании сеанса лузгали семечки. Гонялись и мешали всем ребяташки. Вокруг лампочки на столбе, с которого гремел динамик, густо роилась мошкар.

Марья остановилась, не приближаясь. Она издали узнала Нюрку, нарядную, веселую, с кулечком семечек в руках. «Сказать ей, чтоб шла? Да нет, без меня найдут и скажут». Она представила, как, должно быть, оживится низенький, когда увидит Нюрку. Конечно, баба молодая и в сельсовете работает, жилы из себя не тянет. Грамотная, училась. И смеется хорошо,— ей только дай зубы поскалить.

На низенького у ней не было никакой обиды. На Степаниду разве,— да и то...

Ее увидел Монька, пастух-дурачок, и остановился, стал нутужно зевать большим уродливым ртом. Он всегда с минуту зевает, если не больше, когда хочет что-то сказать,— болезнь такая. А тут увидел ее во всем нарядном: и юбка, и туфли, и

даже губы накрашены. Она сердобольно смотрела, как он ту-жился, показывая мелкие зубы по самому краю толстых десен,— больше десен во рту, чем зубов,— и подумала, что это в самом деле некрасиво. В маленьких глубоких глазах дурачка светилось нетерпеливое озорство. Рванный картуз без козырька едва держался на его мелких бараньих кудряшках.

Сказал наконец Монька, насилу выдавил:

— Ну... к-ка... день... а... а... ангела?.. С днем... а... а... ангела, матка!— и загикал, закатился, выставя мокрые голые десны.

Она не обиделась, только сморщилась и рукой махнула:

— Иди, иди ты, господь с тобой!

Монька, отсмеявшись, побежал к освещенному клубу, крепко шлепая по земле босыми черствыми ногами и волоча за собой длинный веревочный кнут.

«Дурак-то откуда все узнал?» — подумала она. Ничего-то в деревне не скроешь, все на виду. Теперь ей и вовсе не следовало подходить к клубу, показываться людям на глаза. О них, которые безмужние, все годы шла в народе беспутная, позорная слава. Особенно лютовали бабы,— Марью в каком-то году даже на выставку отказались послать. Да бог с ними, с бабами,— Марья сознавала, что, будь у ней самый мужик, она так же злобилась бы, если не пуще, остерегаясь несемейных стареющих соседок.

Она обошла клуб стороной, и правильно сделала, потому что Монька уже зевал и тыкал кнутовищем в ту сторону, где она только что стояла.

Идти в туфлях было по-прежнему неловко, и она не переставала жалеть тех, кому в погоне за красотой приходится терпеть такие муки.

Скоро в лицо пахнуло прохладой, она всмотрелась: речка, и где-то тут должен быть мостик. Прямо впереди стояла большая светлая звезда, и она же переливалась в речке, то размываясь в бегучих струйках, то остро постреливая игольчатыми лучиками. В черном поле, далеко, одиноко шевелился огонек,— видать, старики угнали коней в ночное.

Ступать по бревнышкам мостика стало совсем неважно, заподворачивались ноги, и Марья, сказав в сердцах нехорошее слово, догадалась наконец разуться и сразу выпрямилась, разогнула уставшие колени. В ручье было темно, и, если бы не звезда, купавшаяся в струйках, можно было подумать, что и ручей уснул, остановился в темноте. Что-то взбулькивало внизу, и Марья, прислушавшись сверху, поняла, что это те-

кучая вода не унимается у коряжины, давно прибитой к зеленым, в длинной плесени, сваям.

Днем у ручья звон стоял от ребятни, и когда-то сама Марья, да и только ли она, а та же Степанида, Настенька, потом уже Нюрка и еще девчонки, все тогда, пока не выросли, пропадали тут целыми днями. Прикрывшись ладошкой и не считая песка, они вбегали в воду и плескались, ныряли до синевы. А как-то по весне Марью чуть родимчик не хватил,— донырялась до того, что еле вытащили. Ну, мать, конечно, тут же прибежала, и, хоть первый испуг уже прошел, она от радости ли, что жива девчонка, от страха ли, что могла и не застать в живых, а только схватила ее за волосы, и, как была та голой, так она и протащила ее через всю деревню до дому. Тот день запомнила Марья, потому что был день ангела — самый ее праздничный в году день. Сначала мать постегала ее прутом, потом уложила и напоила малиной, а к вечеру, когда Марья проснулась под тяжелыми и жаркими овчинами, у маменьки был готов пирог. И тоже запомнился тот пирог, потому что слаще его Марья никогда больше не едала. Это было еще до войны, когда из деревенских печек в общем-то не выводился домовитый сдобный дух... Но и потом, в тяжелые годы, маменька чем-нибудь да обрадует,— если не полакомит, так хоть по голове погладит, но только плачет потом, все глаза повывлакала. При маменьке Марья еще знала хорошие дни, то-то и кричала потом, убивалась, когда понесли навсегда из избы материну домовину. И плакала она — не обряд блюла, чтоб люди похвалили, а будто чувствовала, что кончилось девичье житье, начинается бабья мука, и выла, причитала, надсаживала сердце. Даже после отцовской похоронной не кричала так Марья, как по маменьке,— все, кто шли за гробом, слезами умывались. Тоже понимал народ, что гиблое совсем житье подошло бабенке: одной, без мужика — ни пожалеть, ни заступиться...

Утихла музыка в деревне, потухать стали в окошках огни, а Марья все стояла на холодных бревнышках над ручьем и, зажмуриваясь, стряхивала слезы вниз, в небыструю воркующую воду. Тихо было, ничего не слышно, и без помех лежала на сердце Марьи протяжная унылая боль. Будь посветлей маленько, прошла бы она сейчас на могилки, села бы, пожаловалась,— выговорила бы изболевшимся сердцем. Слова у ней давно уж заготовлены были, тогдашние еще, вечные сиротские слова: «Родимая ты моя маменька, да на кого ты меня покинула...» Не одно поколение русских, дорогих душе людей проводилось под этот старинный исплаканный напев.

Позднела, замирала ночь, и влажными становились остывшие бревнышки под ногами. В ручье уж откупалась веселая звезда, теперь она стояла низко над темным, непроглядным полем, но горела еще ярче. Сейчас бы в избу воротиться и, не зажигая огня, на стол не собирая, брякнуться на постель, лицом в подушку. Но в избе сейчас не до нее, она уж не хозяйка там, — освинели мужики, да и бабы не лучше... Она почувствовала, что озябла, и, разогнувшись, медленно и крепко утерла лицо. В поле шевелился, упорно не умирал одинокий огонек стариков, уехавших в ночное. Старики были суровые и когда-то тоже осуждали ее, как и бабы, но тогда было за дело, а вообще-то народ они справедливый, не пересмешники, как все, и примут ее, дадут пересидеть, сколько надо.

В каждой руке по туфле, она привычным скорым шагом направилась прямо на костер, без дороги, по траве, и сколько шла, столько смотрела на его невеликое, но живучее пламя, и глаза ее постепенно согревались, забывали о слезах и начинали тосковать по дремоте. «Приду сейчас, попрошу постелить, да и лягу...»

Стариков было двое, и, сколько помнила их Марья, столько они ругались, попрекая друг друга давними обоюдными грехами. Когда-то, того времени Марья еще не знала, старик Скороходов был крепким, вошедшим в большую силу хозяином, и Милованов нанимался к нему батраком. Потом подошла другая пора, и Милованов с полным правом разорил своего хозяина. Однако и в колхозе бывшие враги не могли один без другого и все эти годы только и знали, что бранились. В последнее время злой, ядовитый старик Милованов беспощадно наседали на Скороходова за то, что тот не откликнулся на просьбу правления помочь колхозу в уборке сена и спрятался за пенсионную книжку. А заставить пенсионера силой правление не могло — не имело права.

Утлый стариковский огонек плясал на умело сложенных чурбашках и совсем не требовал ухода, — гореть его невеликому пламени было до самой поздноты. За бранью старики не заметили подошедшей Марьи, не откликнулись на голос. Она постояла, при свете разглядела, что запылились на дороге туфли, и вытерла их руками. Опять заблестел на туфлях глянец.

Сидя у огня на коленках, сухонький костистый Милованов все порывался вперед и, сверкая непримиримыми глазами, едва не протыкал своего многолетнего недруга худым неистовым пальцем.

— Ты почему это лаешься бесперечь?— выходил он из себя.— Ты почему такие слова? Пес ты после этого, вот ты кто! Пес!— и пальцем, пальцем в него, будто обвинения прикалывал.

Скороходов, старик в теле и ровного здоровья, лежал у огня враспяжку и мусолил во рту пресную травинку.

— А это мое ружье,— отвечал он как бы с неохотой.— И я кому хошь скажу.

— Вот гад!— задохнулся от ярости Милованов, заозирался, как бы в поисках подмоги, и тут увидел стоявшую рядом Марью.

Светлые ястребиные глаза старика остановились на ней, как на досадной помехе. В провалах его щек лежали черные недобрые тени.

— Ну?— спросил он с рыву.— Чего тебе?.. А свадьба?

— Какая свадьба, дядь Вань? Господь с тобой,— нисколько не обиделась Марья, привыкшая к вечным насмешкам.

— Ну.. или ангела день? Девка дома сказала, что к тебе идет. Праздновать.

— А-а,— сообразила Марья.— Так это не у меня. Это у Насти, у соседки моей.

— Черт вас разберет!— выругался Милованов, отворачиваясь.

Скороходов перестал жевать и, не меняя вольной позы, скосил на нее равнодушные глаза:

— А вырядилась-то чего?

— Так... как же? Тоже хотела пойти.

И о ней забыли.

— Дядь Вань, а дядь Вань,— попросила она,— я возьму постелить?

Милованов с раздражением повернул к ней сухую свою птичью головку, глянул на кучу тряпья, взятого в ночное, хотел выбрать, что поплоче, но пожалел и времени, и неостывшего запала в душе.

— А!— махнул он рукой.— Бери!

Но она помешала ему еще раз, вспомнив, как хорошо начался сегодняшний вечер с гостями.

— В мире-то что делается,— стала она рассказывать, расстилая на земле старый овчинный полушубок.— Один профессор, говорят, взял да и пришил собаке вторую голову.

Милованов раздосадованно осекся.

— Ну?— выжидающе насупился он, наставляя большое стариковское ухо.

Заинтересовался и Скороходов, выпростав из-под усов изжеванную травинку.

— И пришел, говорят, и жить стала, голова-то,— охотно рассказывала Марья и, пока говорила, положила в сторонку туфли, разобрала и аккуратно расстелила под собой юбку, чтобы не помять нарядных складок.

— Ну?— еще злей, еще нетерпеливей поторопил ее Милованов, раздражаясь все больше.

— А что — ну? Загрызли, говорят, одна другую. Нешто могут две собаки вместе?

— А, болтаешь тут!— яростно озлобился Милованов и глазами, казалось, убил бы ее.

— Так ведь люди говорят, дядь Вань!..

— Ляжь!— рывкнул старик и на весь вечер отгородился от нее узкой колючей спиной.

— Ох, господи!— вздохнула без всякой обиды Марья и затихла, пригласившись на ласковой мягкой овчине.

Задремывая и не переставая ощущать сквозь уставшие веки присутствие неутомимого уютного огонька, Марья плохо понимала, о чем там грызутся старики, без конца припоминая все, что не забылось и не забывалось. Ей хотелось подняться утром рано, раньше всех, и первой прибежать на ферму. Она не думала, что бабы не выручили бы ее, загуляй она сегодня и опоздай завтра к утренней дойке. Выручили бы — не ее, так коров пожалеют... Ну, а она завтра еще лучше сделает, всех удивит: бабы-то замужние прибегут как угорелые, а у нее уж нате вам — все готово. И своих и ихних — всех подоит. «Ну Марья,— скажут,— маменька родимая, вся в нее. Той тоже покою не было...»

— Нет, ты скажи,— неожиданно проник до нее настойчивый голос Скороходова,— ты скажи лучше, кто меня тогда разграбил?

— Не разграбил, а раскулачил. В мильённый раз тебе говорю!

— Ну ладно, раскулачил. Кто?

— Ну, я...

— Ты и твоя власть!— уточнил Скороходов, тоже, когда нужно, умевший быть ядовитым.

— А пенсию, пенсию кто тебе, дураку, дал? — взвился Милованов.— Кто?

— Согласный,— тоже власть.

— Так почему ты, враг, той же власти подсобить не хочешь? Тебя ж как человека просили!

— А вот так и не хочу,— спокойно отвечал Скороходов

и, судя по голосу, опять заправил под усы травинку.— Я не-сознательный теперь.

— Брось к чертовой матери изо рта, когда со мной разговариваешь!— завизжал Милованов и даже, кажется, кулачком застучал.

Боясь, как бы не вышло великого лаю, Марья уперлась руками и приподнялась, но увидела, что старик Милованов уже не сидит, подскакивая на коленках, а лежит, лежит неловко на боку, маленькой своей седой головкой на земле, скребет ногтями грудь и жутко зевает побелевшим ртом. Как ветром сдунуло тут рассудительного Скороходова! «Подержи его!» — крикнул он Марье, сунулся на коленях к куче тряпья, порыл-ся, достал откуда-то пузырек и, плеснув из чайника в кружку, стал важно, насупленно капать.

Голова старика перекатывалась на Марьиных коленях, твердая и тяжелая, как сорванная тыква. Марья со страхом чувствовала, что голова совсем не держится на стариковской шее, и ей хотелось крикнуть Скороходову, чтобы он быстрее считал и капал.

— Вот!— сказал он наконец и краем кружки, как покойнику, раздвинул Милованову помертвевшие губы.

Больной задвигал горлом, почувствовалось, что оживает, напрягается у него шея. Неловко придерживая его, чтоб ловчее было пить, Марья по запаху от стариковской неряшливой головы поняла, что не знает бывший батрак заботливого домашнего ухода. У Степаниды, у той одной гулянки на уме, а старуха... Что ж, при такой дочери и у старухи ни до чего руки не доходят.

— Пей, пей, нечего!— негромко строжился Скороходов, круче наклоняя кружку. Но Милованов отвалился и, не раскрывая глаз, слабым движением отвел кружку от губ.

— И чего, скажи, кажились без надобности?— ворчливо выговаривал Скороходов, заглядывая, много ли осталось в кружке.— Раз твоя власть, так ты должен быть как генерал. А то лопнет у тебя когда-нибудь нутро, так грязью и потекет. Ну, полегшало?— он допил из кружки.

— Так ведь сил нету совладать с тобой!— измученным голосом пожаловался Милованов.

— А ты и не совладай! Зачем это тебе?

— Фу-у!..— помолчав, с облегчением вздохнул старик и медленно посмотрел, кто это над ним, у кого он на коленях.

— Лежи, лежи,— сказал Скороходов, убирая пузырек.— Я сейчас настелю тебе.

И вот что было интересно, и об этом знали все в деревне: как бы ни ругались старики, сколь ни попрекали друг друга, однако еще не было случая, чтобы Скороходов уязвил своего противника бесстыжей непутевой дочерью. О Степаниде он не поминал ни при какой обиде,— слишком больным было это место в душе несчастного отца.

После припадков, и это тоже было всем известно, старики затихали и жили мирно день или два. В эти дни Милованов отходил сердцем и жаловался своему другу ли, врагу ли на Степаниду. Скороходов был единственным человеком, перед которым открывался убитый позором старик, и Скороходов терпеливо выслушивал, сочувствовал и всякий раз давал дельные, продуманные советы.

Под журчанье мирного стариковского разговора Марья все ловчилась устроиться получше на стареньком коротком полушубке, сумела, кажется, пригрелась и, задремывая, стала думать о том, что и у них, у нынешних нестарых, не за горами закатное время. Она уже сейчас хорошо представляла, какие из них получатся старухи. Ну, о Нюрке конторской говорить пока рано, а вот Настенька, как и сама Марья, выйдет сухотелой и беспокойной, работницей до самой гробовой доски. Так и умрет где-нибудь за делом. Хуже и труднее всех придется Степаниде. Рыхлая и пустомяса, она станет в тягость и себе и родственникам и доживать будет в вечных жалобах на болезни и болячки, которых не выгонишь ни березовым вееником на банном полке, ни сушеной, заваренной на ночь малиной,— первеющие средства от всего! И запах от нее пойдет совсем даже не отцовский,— хуже. Ведь старики, разобравшись если, извечно пахнут по-крестьянски: конями... сеном... дегтем...

Ночью Марья часто просыпалась,— мерзли голые ноги. Она поджимала колени и зябко заворачивалась вся, с головой и ногами, однако пропекало снова, она с холодным измученным лицом приподнималась, чтобы нащарить что-нибудь на ноги, и, пока возилась, успевала заметить затухающий костер, стариков, уснувших близко один возле другого, слышала лошадиный храп и звяк небрежных пут. А ближе к утру, когда совсем заволодела ночь и луга обдались тяжелой, обильной росой, когда низко над деревней взопла багровая краюшка позднего месяца, обозначив колодезные журавли и крыши, Марья различила и самих коней,— в сером медленном рас свете они собрались вокруг, будто пришли стоять и караулить своих сторожей.

Боясь лишиться сладкого неверного забытья, она не раз-

жимала больше глаз и быстро шарила, шарила вокруг, пока не сунулась рукой в остывающую круговину мягкой теплой золы. Счастливая догадка осенила ее зажмуренное лицо, она подвинулась, пристроилась изыбшими ногами и — сон не сон ли ей почудился внезапно, но она запомнила тот миг надолго, потому что кто-то нежный и заботливый склонился вдруг над ней по-матерински, согрел, склонившись, и растаял зыбко — словно проплыл, провеял поверху крылами большой и грустный ангел.

Сон на этот раз сморил ее надолго, — давно она не просыпалась так поздно. «Ладно это я!» — удивилась Марья, вскакивая на ноги. К утренней дойке она, конечно, опоздала.

Она стала собираться, искала и нашла туфли и только теперь поняла, отчего это она так разоспалась: Скороходов, поднявшись первым, пожалел ее и укрыл своей телогрейкой. От тепла и сон свалился такой дурной, — обо всем забыла. «Это надо же! — попрекала себя Марья. — Ну, не выручат если бабы — быть скандалу!» Но даже если и подоили они за нее, все равно пересудов теперь на полгода: о дне-то вчерашнем все уже знают...

Милованов спал один, свернувшись как мальчишка, с закутанной головой. От ручья напалз туман, и в тумане раздавались отдаленные петушиные вскрики, звон ботала на тележьей шее и голос Скороходова, густой и добрый, окликавший где-то рядом лошадей.

Ручей дымился, и Марья, медленно войдя в воду, почувствовала скользкие теплые камушки. Занемевшие от росы ноги млели, как в парном молоке. Склонившись, Марья с недоверием увидела в темной разбуженной воде собственные ноги. От границы света и воды и вниз они были словно чужие: толстые, уродливо раздутые — почти как у Степаниды.

Чье-то несмелое торопливое прикосновение к пальцам заставило ее подобрать юбку и наклониться к самой воде. Внизу, взблескивая серебристо, бойко сновала вокруг ног стайка мальков. Прикосновения мальков были приятны, и Марья подумала, что так или примерно так, должно быть, тербит мать неперпеливый изголодавшийся ребенок.

Туман вокруг теплел и становился оранжевым, но солнце еще не пробилось. Запрокинув лицо, Марья стояла и наслаждалась шаловливой щекоткой мальков. Но вот совсем близко, у кромки ручья, громко и низко замычал теленок, забрякал колокольцем, и Марья спохватилась, быстро пошла из воды. «Ах, бить-ругать меня надо, гулену! Заработала я сегодня «медаль».

Домой она почти бежала, торопилась миновать улицу. Ей было неловко, что никому не объяснишь, откуда вдруг она в такое время и в нарядах.

В избе разведенки Настеньки закатывался больной, надсидившийся от плача ребенок.

— Да цыть ты, чертово дите!— ругалась злая, измученная Настенька и принималась ожесточенно укачивать:— А-а-а!.. А-а-а! Цыть! Я кому сказала?

В конце улицы, выгоняя стадо, Монька-пастух оглушительно хлопал кнугом.

1966 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Короткий миг удачи	5
На земле отцов	52
Пыль далеких дорог	116

РАССКАЗЫ

При любой погоде	171
Ездовой Зюзин ,	210
Последний грех солдата	234
Река	270
День ангела	312

Кузьмин Н. П.

К89 Короткий миг удачи: Повести, рассказы/Худож.
Ю. Баранов.— М.: Сов. Россия, 1982.— 336 с., 1 л.
портр.

В сборник «Короткий миг удачи» вошли лучшие произведения Н. Кузьмина, созданные им в разные годы. И хотя все эти произведения повествуют об очень разных человеческих судьбах и характерах, их объединяет не только авторский интерес к героям, но и присущая большинству из них любовь к своей профессии, доброта к окружающим их людям.

К 4702010200—150 121—82
М-105(03)82

Р2

Николай Павлович Кузьмин

КОРОТКИЙ МИГ УДАЧИ

Редактор В. Ю. Попова
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор В. А. Преображенская
Корректор Т. Б. Лысенко

ИБ № 2310

Сдано в наб. 03.08.81. Подп. в печать 24.02.82. А09515. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,75 (в т. ч. вкл. 0,11). Усл. кр.-отт. 18,11. Уч.-изд. л. 19,43 (в т. ч. вкл. 0,06). Тираж 75 000 экз. Заказ 369. Цена 1 р. 30 к. Изд. инд. ЛХ-273.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

**Издательство просит отзывы об этой книге
и пожелания присылать по адресу:
103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15,
издательство «Советская Россия»**

1 р. 30 к.

· СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ·